

Туманова Алла Евгеньевна

Шаг вправо, шаг влево...

НАС БЫЛО ШЕСТНАДЦАТЬ

Нас было шестнадцать, а лет нам было от шестнадцати до девятнадцати. В последние недели 50-го и в начале 51-го года в Москве, Ленинграде и Рязани МГБ арестовало шестнадцать школьников и студентов, членов подпольной организации. Но если посчитать всех сверстников, которые разделяли наши взгляды и просто не успели оформить свое членство в новорожденной молодежной группе, набралось бы значительно больше. Почему так спешили власти затянуть петлю на цыплячьих наших шеях? Могли бы и не торопиться: мы ведь давно были у них на ниточке. И тогда бы открылась перед ними устрашающая картина растущего недовольства питомцев пионерской и комсомольской организаций. Но, видимо, власти не нуждались в сведениях о численности, как теперь говорят, инакомыслящей молодежи. Они хорошо знали настроение всех слоев общества — сексоты несли неусыпную вахту.

Как и полагается, в инакомыслии не было единства. В силу своего возраста, опыта, интеллекта или просто ума люди воспринимали действительность по-разному. Одни могли увидеть несправедливость и ложь не дальше своего жизненного круга: работы, коммунальной квартиры, соседей по дому. Другие понимали несправедливость сегодняшней власти, но только сегодняшней, вчерашнее прошлое было лучезарно. Немногие понимали истоки всего происходящего. Едины люди были в одном — в жутком, все подавляющем страхе. Страх управлял обществом, устанавливал свои законы, создавал мораль, лепил линию поведения. Чтобы выжить, надо было следовать новым правилам. Но и это не спасало. Чем старше и мудрее были прозревшие или усомнившиеся, тем осторожнее и незаметнее они старались просуществовать, переждать в вечной надежде на что-то лучшее.

— Ведь не может все это сооружение на глиняных ногах держаться вечно, — говорили шепотом, а чаще думали про себя мудрецы.

Рухнет рано или поздно, и тогда все станет хорошо — надо же было во что-то верить. Как хорошо станет, никто толком не знал. Одни ответили бы — как при Ленине, другие — как до революции. Старая актриса Яблочкина на вопрос, какую жизнь она представляет себе при коммунизме, ответила: «Все будет так хорошо, как при царе Николае».

Анекдот ли это был или правда — трудно сказать. Но анекдоты четко отражают правду жизни на протяжении всего существования советской власти. Не было в истории ни одного государства, где люди столько пострадали за эти острые шутки, куда вкладывались злость, горечь и бессилие что-то изменить в своей жизни. И конечно, нет ни одной страны, где сочиняют анекдоты с такой страстью, откликаясь на все события невеселой своей жизни шуткой, грозящей далеко не шуточной карой

или гибелью. Могу твердо сказать, что на формирование моего мировоззрения колоссальное влияние оказали сотни слышанных мною анекдотов. От смешного до великого один шаг, и то, что могло поначалу рассмешить, наталкивало на серьезные раздумья.

Во многих семьях старались, чтобы дети, не дай Бог, не узнали о разочарованиях и сомнениях старших. При детях не рассказывали о происходящих арестах, о страхах по ночам при стуке лифта. Не обсуждали отсутствие товаров в магазинах и всю скудность жизни. Дети должны были впитывать в себя советскую пропаганду, любить Сталина больше родителей, ненавидеть все, что полагалось ненавидеть, с энтузиазмом вступать в пионерскую и комсомольскую организации и, веря в то, во что уже давно не верили родители, строить эфемерное светлое будущее. Парадокс, возможный только в таком лживом обществе, — родители растили детей не как друзей и единомышленников, а как своих врагов. Растили чужих, оглупленных людей. Одни мечтали, что у детей не будет раздвоенного сознания, двойной жизни, не будет разлада с обществом, от которого некуда деться.

Другие, махнув рукой, думали - вырастут, сами поймут, но только не с нашей помощью будет посеяно в их душах сомнение, недовольство. На глазах родителей происходило непоправимое растление их детей. Вырастали пав-лики Морозовы, чтобы мстить своим легкомысленным, трусливым родителям, полагавшимся на... авось сами поймут! Некоторые дети отрекались от арестованных родственников, кто искренне, а кто — спасая себя, проклинали их во всеуслышание.

И только небольшая часть детских голов по каким-то, часто необъяснимым причинам оставалась неподвластна пропаганде. В редких семьях родители делились своими мыслями с детьми. Тогда наступала иная трагедия — раздвоение детского сознания, двойная жизнь. Постоянные наставления: что можно говорить посторонним, что нельзя. И опять все оборачивалось ложью, от нее некуда было деться! Скрывать мысли с детских лет — это ли не надругательство над детской душой.

Был еще и другой путь прозрения детей, страшный крестный путь, непосильный для маленького человека крах только что начавшейся жизни — арест родителей. Если посчастливилось и исчезает только один из родителей, жизнь не ломается так непоправимо. Как будто бы все идет по-прежнему. Первые дни. Но очень скоро почва под ногами начинает колебаться. Косые взгляды, шепот за спиной, кто-то перестал разговаривать, здороваться. А потом детский коллектив, подбадриваемый старшими, обрушивает на несчастного ребенка всю чистую, благородную, без тени сомнения ненависть. Ребенок получает звание — сын, дочь врага народа. Отметина эта навсегда. Наступает отчужденность от коллектива, взгляд на него со стороны. Гипнотизирующая сила толпы исчезает, и юная душа сквозь свое несчастье прозревает.

Но часто бывало и совсем не так. Попадал ребенок после разгрома семьи в детский дом, забывал родителей и... вырастал «честным советским человеком», со всем полагающимся комплексом неполноценности и мучительными потугами быть как все. Каких судеб было больше — кто знает!

Ну а если родителей не посадили и они, слава Богу, жили с детьми не в одной комнате, а в двух, и могли за закрытой дверью обсуждать то, что не полагалось слышать их любимым, оберегаемым чадам, то и в этом, самом благополучном жизненном варианте они были бессильны оградить детей от еще одной заразы тоталитарного государства: от национальной ненависти. Испытав с детства антисемитизм, я могу говорить о его влиянии на формирование моей личности. Но не сомневаюсь, что такое же значение имел русский шовинизм во всех республиках. Не случайно в лагерях были люди всех национальностей, населяющих Советский Союз, и все они обвинялись в национализме.

Какое уродливое, длинное слово — антисемитизм! Как трудно его выговорить ребенку. Еще труднее понять, что оно значит. А уж раз поняв, испытав на собственной шкуре злую связь слова с твоей жизнью, становишься совсем другим человеком. Формируется особый, легко ранимый, болезненно чуткий характер. Как у горбатого, хромого: вечное чувство своей обособленности.

Поколение людей, живших в 30-е, 40-е, 50-е годы. Что выпало ему на долю? Отголоски мрачных процессов, расстрелов, арестов. Передраги и лишения войны — похороны, бомбежки, эвакуация, голод. Послевоенная расправа над интеллигенцией. Это все одна сторона медали. А другая — бравурные марши, знамена, революционные песни у костров, гром пятилеток, взлет патриотизма. Из этого был соткан наш мир. Мы свято верили в вечные идеалы человека: в свободу, равенство, братство. За них мы хотели бороться. Был только один путь, который мы знали, — путь отцов. Он не был в наших глазах дискредитирован, несмотря на окружающую нас реальность, к которой он привел. Мы готовы были начать все сначала. Так была создана организация «Союз борьбы за дело революции». Нас было шестнадцать, наивных и честных, и мы жаждали справедливости.

АРЕСТ

«Утверждаю»

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МГБ МО

ПОЛКОВНИК (Салынский)

« 6 » февраля 195 1 года

Печать: Управление МГБ СССР по Московской области.

АРЕСТ САНКЦИОНИрую

ПРОКУРОР города МОСКВЫ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ 2-го

КЛАССА (Васильев)

« 6 » февраля 1951 года

Печать: Прокуратура СССР

Прокурор тор. Москвы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (на арест)

Город Москва, 195_1_года февраля месяца «6» дня

Я — зам. начальника отделения Отдела Управления МГБ МО — майор МУЖЕСКИЙ, рассмотрев поступившие в УМГБ МО материалы в отношении РЕЙФ Аллы Евгеньевны, 1931 г.р. уроженки гор. Киева, еврейки, гражданки СССР, беспартийной, студентки заочного отделения естественного факультета Государственного педагогического института имени Ленина, проживающей по ул. Качалова, д. № 16, кв. 140,

НАШЕЛ:

РЕЙФ Алла Евгеньевна является участницей антисоветской группы молодежи. Преступная деятельность РЕЙФ подтверждается показаниями арестованных участников группы ГУРЕВИЧА Е.З. от 29 января 1951 года и МЕЛЬНИКОВА В.З. от 30 января 1951 года.

На основании изложенного, —

ПОСТАНОВИЛ:

РЕЙФ Аллу Евгеньевну, проживающую в городе Москва, по ул. Качалова, д. № 16, кв. 140, подвергнуть АРЕСТУ и ОБЫСКУ.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА отделения
ОТДЕЛА УМГБ МО
Майор (МУЖЕСКИЙ)
«СОГЛАСЕН» ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ МГБ МО
Полковник (БАКЛАНОВ)

Арест — как ожог: неожиданная отчаянная боль — и шрам навсегда. Пришли ночью, честь по чести, как заведено. Который был час? Где-то около двенадцати, точно не помню. Звонок. Голоса в передней. Открыла дверь мама. Были мы дома только вдвоем, отец уехал в командировку. Одиннадцатилетний брат крепко спал на тахте напротив моей кровати в нашей общей спальне. Он продолжал спать, когда на пороге комнаты появилась растерянная мама в длинном халате, а за нею несколько мужчин в штатском. Спросонья мне показалось, что в комнате целая толпа чужих людей. Я поднялась на локте — что им надо? Никакой мысли, что это пришли за мной, я ведь уже давно не встречаюсь с мальчиками. Они исчезли с моего горизонта, чему я была очень рада. Я решила порвать с ними, понимая всю бесполезность нашей опасной игры. Прошел долгий месяц, заполненный экзаменационной сессией,

каникулами, — Женя и Владик не звонили. Ну и слава Богу, все похоронено, забыто. Нет надобности объясняться, признаваться в собственной трусости. Моих мыслей о безнадежности нашего дела они не поймут и будут презирать меня.

Это ночное вторжение — обычная проверка документов, рейд в поисках непрописанных, в нашем особом районе ночные обходы милиции случаются часто. — Предъявите документы всех членов семьи! — резко командует один из пришедших. Он вплотную подходит к моей кровати. — Ваше имя, фамилия? Одевайтесь! — он остается около постели, и я не двигаюсь. — Пожалуйста, выйдите из комнаты, — каким-то нетвердым голосом просит мама. — Нет, пусть одевается в моем присутствии, я отвернусь, — он поворачивается спиной, и я быстро одеваюсь.

Как-то особенно холодно сегодня дома. Так не хочется оставлять мою теплую постель, еще бы поспать! Зачем я им понадобилась?

— Я готова, — сообщаю в черную спину.

— Пройдите в другую комнату, — говорит как рубит, от его тона холодок пробегает по спине, со мной никто так не разговаривал.

Мы входим в столовую. Мама уже переоделась в свою обычную юбку с блузкой. В столовой на стуле почему-то сидит дворничиха Фима. Ее широкое татарское лицо особенно красно — наверное, от мороза, Я сажусь на стул у круглого обеденного стола.

В комнате много народа — я никак не могу сосчитать, сколько людей толчется в нашей квартире. Поминутно хлопает входная дверь, кто-то уходит, кто-то появляется. Лиц не разберу — все на одно. Этот — лающий, видно, главный, он всеми командует. Мне он протягивает маленький листок бумаги:

— Прочтите и распишитесь.

Черные печатные буквы: «Ордер на арест», дальше моя фамилия. Мама расписывается на другом листе — «Ордере на обыск». Глаза мамы устремлены на меня, в них ужас и накипающие слезы.

— Мамочка, пожалуйста, не плачь. Умоляю! Все выяснится, все будет хорошо, — я пытаюсь ее обнять, но окрик останавливает меня:

— Не подходите друг к другу! Вы арестованы, сидите здесь! — злые бесцветные глаза впиваются в меня, и я безвольно опускаюсь на стул.

К столу подходит дворничиха и тоже расписывается на бумажках. «Понятая», — всплывает в памяти редко употребляемое слово.

Сколько бы я ни старалась вспомнить последовательность событий этой ночи — вытащить миллиметр за миллиметром нить воспоминаний из постоянно живого болезненного клубка в глубине моего мозга, — я не в состоянии этого сделать!

Звуки, мелькание лиц, ералаш перевернутого вверх дном моего дома — моего мира. Я сижу в оцепенении, одна мысль владеет мною, сейчас доберутся до рукописей в моем письменном столе — моей рукой переписанный «манифест» организации и два

протокола наших «сходок», где присутствовали только мы трое, Женя, Владик и я. Если бы незаметно проскользнуть в мою комнату! Но что я с ними буду делать?! Разорвать, съесть? Никто на меня не смотрит, все копаются в разных углах нашей маленькой трехкомнатной квартиры. Главный углубился в изучение книг. На полу перед ним уже книжная гора.

Он стоит перед полками и скрупулезно осматривает каждую книгу — листает, вытряхивает, подрезает некоторые переплеты. Сейчас у него в руках том Ленина. Находка! Он подзывает напарника и тычет пальцем в заметки на полях, которые я делала, читая по совету Жени Гуревича статью «Государство и революция». За этой книгой последовала следующая удача — «Вопросы ленинизма» Сталина, испещренные моими пометками. Там были подчеркнуты целые абзацы, на полях стояли вопросительные и восклицательные знаки.

Особенно досталось статье «Ленин и национальный вопрос» — все в ней показалось мне лживым, и я разукрасила ее вдоль и поперек. Лицо главного оживилось, он уже не выглядел таким мрачным, как вначале. Я с ужасом ждала его следующих находок. Начался обыск моей с братом комнаты. Подняли с постели сонного мальчика, он хлопал глазами, озираясь по сторонам. Мама увела его из комнаты.

Меня усадили на стул между постелями. Двое тут же взялись за дело, один, подручный, ворошил матрасы, белье, перетряхивал платья, вещи в шкафу, другой, главный, копался в ящиках письменного стола. — Сейчас, сейчас найдет! Вся беда в этих бумажках, если бы их не было, если бы я их вовремя уничтожила, ничего бы не случилось! — лихорадочно думала я. Сердце колотилось где-то в горле.

На столе горкой лежат мои школьные сочинения — «Люблю отчизну я, но странною любовью!..», «Пушкин — солнце русской поэзии», «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет!». Каждое из них главный внимательно перелистывает и откладывает в сторону. Иногда искоса поглядывает на меня. Вдруг за моей спиной раздался тяжелый стук и треск разбившейся вещи. Я оглянулась — на полу, раскинув керамические ноги и руки, лежала моя любимая кукла, голова ее с настоящими золотыми волосами была расколота надвое.

Даже в ту минуту меня поразил этот символ разлетевшейся вдребезги моей жизни. Затянувшееся детство кончилось.

— Это вы писали? — передо мной те самые злополучные листы. Свершилось! Стало как-то легче — больше не будет у них сюрпризов.

— Да, переписала текст я, хотела сохранить на память.

— Меня не интересует, зачем вы писали, об этом вы расскажете в другом месте, — обрывает меня главный.

Он, видно, доволен уловом, даже на меня смотрит веселым взглядом. Небольшой мой «архив» изучен, отобранные бумага складываются в чемодан, где уже лежат классики марксизма — том Ленина и Сталина. Тогда я не знала, что в качестве улики

были изъяты и мои дневники, и стихи об антисемитизме, тоже переписанные мною, и блокнот, куда я записывала понравившиеся анекдоты. Все представляло ценность — дело обростало плотью уже во время обыска.

Когда мы вышли из комнаты, то оказалось, что и у других сыщиков тоже есть успехи. Главному показали несколько золотых монет, дореволюционных пятирублевок, оставшихся еще от маминых родителей и хранимых на случай зубных коронок. Эта находка вызвала взрыв негодования.

— Вы почему храните запрещенные вещи?! Разве вам неизвестно, что царские деньги надо было давно сдать? Будете отвечать по закону за укрытие золота! — кричал главный, грозя указательным пальцем.

Едва слышно мама говорила что-то о зубных врачах. Никто никогда не повышал голос на мою мать в моем присутствии. Это было унижительно и невыносимо.

Неожиданно для себя я вдруг услышала свой собственный крик:

— Не смейте так разговаривать с моей матерью! Арестована я, а не она!

Мой протест возымел действие. Своим сотрудникам главный полусшепотом приказал:

— Ищите ценности! Здесь они должны быть.

Время остановилось. Сколько часов уже длится обыск? На маме нет лица, она постарела сразу на несколько лет. Ведь она-то знает, что все происходящее не случайно. Не так давно состоялся разговор между мной и старым другом нашей семьи. Он приезжал по делам службы из Ленинграда, навещал нас и всегда отпускал критические замечания в адрес власти, чего родители в моем присутствии обычно не делали.

В ответ на его слова я рассказала о настроениях двух моих приятелей (не упомянув, конечно, об организации). Мама и гость изменились в лице и, не вступая в объяснения, взяли с меня слово, что я не буду встречаться с такими опасными юношами. Разговор этот мама, конечно, помнила. И вот грянула беда, всю серьезность которой она понимала. Как удивительно, что ни я, ни она не пролили ни одной слезинки!

Начали сереть окна, в комнате смешался свет ламп со светом зимнего утра. Казалось, обыск никогда не кончится. Измученная и отупевшая, я сидела в столовой, переводя взгляд с предмета на предмет, с одной движущейся фигуры на другую. Почти ничего не могу вспомнить — что происходило в эти последние предутренние часы? Наверное, было приказано маме собрать для меня вещи, потому что появился небольшой чемодан, с которым я часто ездила в пионерские лагеря (его лагерная жизнь должна была еще продлиться на долгие годы).

Помню, как повели меня первый раз в жизни в уборную под конвоем у меня же дома — дверь запретили закрыть, а только прикрыли, были начеку, чтобы ничего с собой не сделала.

Но вот я уже в передней. Надеваю свое старое зимнее пальто, из которого уже давно выросла, еще более древние, подшитые черные валенки (какую добрую службу сослужили они мне в холодной одиночке!).

— Можете проститься, — разрешает мой сопровождающий.

Я обнимаю маму и брата. Запомнила прощальные мамины слова, сказанные скорее самой себе:

— Бедная девочка, еще никуда без мамы не ездила.

Последний взгляд на оставляемый отчий дом — две двери из трех выходящих в переднюю комнат закрыты, на них большие черные печати. Боже, еще и этой напастью оборачивается мой арест для бедных моих домочадцев.

Прошли долгие годы со времени этой ужасной ночи — я никогда ее не забывала. Даже слова «забывать», «помнить» не подходят в этом случае, просто все пережитое остается со мной, во мне, как больная часть моего тела, как напоминающая о себе тупая боль. Мне часто снится один и тот же кошмар — арест. Он не всегда соответствует тому, что действительно было, что-то в нем видоизменяется. Иногда во сне забирают не меня, а моих близких. Но просыпаюсь я всегда измученная, опустошенная, и весь день гнетет меня что-то, чему нет названия.

Почему, как правило, все аресты происходят ночью? Легче задержать, захватить врасплох? Но и днем нетрудно увезти намеченную жертву! Легче обойтись без посторонних глаз, не напугать окружающих, не вызвать соболезнований?! Но и это не так: посеять страх — одна из важнейших задач такого ареста. Может быть, страшней, когда не видишь, а потом поползут, как мурашки по коже, слухи, один другого ужаснее? Мне кажется, что главным в этом хорошо отрепетированном, миллионы раз сыгранном спектакле было нанести такую психическую травму особенно беззащитному ночью, спящему в своей постели, раздетому, укрытому своим домом от постороннего мира человеку, чтобы он никогда от нее не оправился. Подготовка к следствию начиналась с этой ночи.

Блестящая черная машина ждала у подъезда. Когда я последний раз ездила в машине? Уж и не помню - не частое это было удовольствие. Вот теперь прокачусь по безлюдным утренним улицам. Взгляд мой скользит по заснеженному двору, по стенам дома, по окнам. До свидания, я скоро вернусь сюда.

НАШ ДОМ

Мы переселились из коммунальной квартиры на Никитском бульваре в новенькую отдельную квартиру в только что отстроенном доме на Малой Никитской. Это было необыкновенно радостное событие. Самого переезда я не помню, меня отправили на пару дней погостить к кузине, чтобы не путалась под ногами. Мне было шесть лет, и

никакие сентиментальные чувства по поводу прощания со старой квартирой, где прошло мое раннее детство, не омрачали радости. Тем более, что новый дом был недалеко от старого и я снова могла гулять на моих любимых бульварах — Никитском и Тверском. Квартира была огромной, по крайней мере такой она мне казалась. Я ходила из комнаты в комнату и считала — одна, две, три, а если прибавить и кухню, то все четыре комнаты, ведь кухня только наша, без соседей. Стены пахли свежей краской, блеснул паркет, и пустые комнаты выглядели очень нарядно. То и дело по лестнице с шумом втаскивали мебель в соседние квартиры. Раздавались возгласы, стучала дверь лифта, сновавшего вниз и вверх. Новый дом наполнялся жизнью. Он был отстроен совсем недавно и заселялся счастливыми обладателями квартир почти одновременно. Пока что строители сдали в эксплуатацию первые два корпуса, третий достраивался.

Это был 1937 год. Твердой поступью страна шла к коммунизму. Из репродукторов раздавалась бравурная музыка, патриотические песни Дунаевского, Блантера, братьев Покрасс. Распевались песни и детьми и взрослыми — от мала до велика. «Жить стало лучше, жить стало веселей!» — неслось из черных бумажных тарелок громкоговорителей. Я твердо знала, кого мне надо благодарить за прекрасную жизнь: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!» И хотя Сталина я любила не больше мамы и папы, я очень его любила! Добрые глаза Сталина сияли с портретов, его лицо было так же привычно, как лица моих близких.

Мой отец работал в Госплане, и наша семья принадлежала к средней прослойке бюрократической элиты. Отец был беспартийный, но все же пост занимал довольно ответственный. В целом, обласканная властью, семья ее вполне поддерживала. Вот и на этот раз отцу посчастливилось попасть в члены строительного кооператива «Кремлевский работник». Жилищные кооперативы в те времена были необыкновенной редкостью. Большинство людей жило в коммунальных квартирах, и это считалось нормой. Об отдельной квартире мало кто мог мечтать. Мы оказались среди избранных и воспринимали это как должное.

Изучив основательно свое новое жилище, я начала обследовать окрестности. Двор не был еще очищен от строительного мусора, но уже намечались места для посадки деревьев, разбивки газонов. Даже песочница для детей была заботливо приготовлена. Весеннее солнце освещало необжитую еще площадь, на старом дереве раскрывались первые листочки, и все вокруг было удивительно веселым. Очень мне понравилась новенькая будка-сторожка у входа во двор. Там сидел старый бородатый сторож, точно такой, каких я видела на картинках в сказках. Он отпирал ворота для машин и по-хозяйски запирали их снова. Он даже спрашивал у незнакомых людей, к кому они идут, а свои проходили, не глядя на сторожа, изредка с ним здороваясь. Было очень приятно чувствовать себя «своей», по праву принадлежащей к этому обособленному, охраняемому, благоустроенному миру. Наш дом! Наш сторож!

Уже через несколько дней я знала всех ребят во дворе. Некоторые дети гуляли с нянями. Меня выпускали во двор одну, а с домработницей я гуляла на бульваре. Быть одной без присмотра было приятней, можно бегать на стройку, куда взрослые

не пускали, можно потолковать с добренькими лифтершами, сидящими у подъездов и лужающими семечки. Лифтерши, еще не разобравшись, кто из жильцов в каком ранге, поначалу были заискивающе любезны со всеми.

— Папаша-то твой еще не приехал с работы? Он у тебя на машине, что ли, ездит али пешком ходит? До Кремля-то недалеко.

Уверенность лифтерши, что отец мой работает в Кремле, не позволяла разочаровать ее. Да и другие дети постоянно хвастались своими родителями. Подтвердив, что папа и в Кремле работает, и на машине ездит и что мне скоро овчарку купят, я протягивала руку с ладонью лодочкой, прося у растроганной лифтерши семечек: лужать семечки «классическим» способом было особенно вкусно, так как делать это на улице мне строго возбранялось.

Дети в нашем доме, как и сам дом, были необыкновенные! У моей подружки и соседки по подъезду все было заграничное — и шикарный велосипед, и замысловатый самокат — предмет моей зависти. Мне тоже купили самокат, но у Люки был лучше, с тормозом и низким седлом. Я уже знала, что все красивые и необычные вещи семья привезла из Германии, где несколько лет работал отец Люки. Толстенькая рыжеволосая Люка бегала по двору в ярких заморских купальниках, вызывая восхищение окружающих. У другой девочки, Инны Гариной, тоже был необычный велосипед, и он тоже был заграничный. Из Англии!

— Дай прокатиться! — кланчили ребята.

— Становись в очередь, — деловито предлагала Инна, моргая белесыми ресницами.
— И только по одному кругу! Тормозом пользоваться нельзя, испортите! — напутствовала она каждого сажающегося на велосипед.

Ее власть над нами казалась законной, и каждый мечтал добиться ее расположения.

— Мама, у меня теперь есть две самые лучшие подруги, Люка и Инна. Люка из Германии приехала, у нее столько заграничных игрушек! А у Инны папа — директор автомобильного завода. — Я была в полном восторге от моих новых подруг.

Маленькие дворовые сплетницы, мы знали все, что происходило в доме, и рассказывали на ушко друг другу секреты. Весть, что в нашем подъезде на восьмом этаже поселился сын Сталина, облетела весь двор. Яков Джугашвили, старший сын Сталина, почему-то носил старую фамилию отца. И почему он живет не в Кремле? Все вожди и их дети, конечно, должны жить в Кремле, за высокой стеной, и охраняться не сторожем в тулупе и валенках, а красноармейцами с винтовками — это всем ясно! А этот забрался на восьмой этаж, и всего у него три комнаты, как у нас. Все это было очень странно... И хоть мы с подружками знали все, тайна отношений старшего сына Сталина с отцом нам была неизвестна.

В наш подъезд на четвертый этаж въехал с семьей сын Калинина. Дедушка Калинин иногда навещал сына, и тогда на лестничных площадках стояли одинаково одетые,

безмолвные и Сезликие дяди в шляпах. По их присутствию мы точно знали, какой высокий гость пожаловал к соседям. В другом подъезде обосновалась семья родственников Молотова. В течение первых двух лет наш дом наполнялся знаменитостями. Почти так же знамениты, как и родственники вождей, были артисты. На первом этаже в седьмом подъезде жила народная артистка Половнкова.

Неподалеку получила квартиру ее дочь, артистка кино Валентина Серова, слава которой была связана со многими обстоятельствами — и с гибелью ее первого мужа, летчика, героя Испании Серова, и с посвященными ей стихами поэта Симонова, ее второго мужа, и с известными всем запоями, рано сведшими ее в могилу. Об этом я узнала позже. Во время войны, когда все было по карточкам, мы не раз видели грузовики, разгружавшиеся у подъезда, где жила Серова. Во дворе все знали, что это ящики с вином и продуктами. Знаменитый военный корреспондент Симонов руководил разгрузкой. Лифтерши вели счет ящикам, а прохожие проходили мимо и ничему не удивлялись. Много было вокруг необыкновенных людей, мы старались узнать побольше о каждом.

В пролетарском государстве, где все принадлежало простому человеку — рабочему, колхознику, — самое главное было быть вне этих категорий. Важно было забраться на любую высоту, хоть на холмик, чтобы чувствовать себя счастливым. Шофер какого-нибудь начальника лучше, чем шофер грузовика, лифтерша нашего дома смотрела свысока, со своего холмика, на лифтершу соседнего дома. Любой маленький начальник задирает нос перед подчиненным. Но всех объединяли два чувства — подбострастие и зависть. С вожделением смотрели на каждого, кто стоял на более высокой ступени нашего «равноправного» общества.

Кумушки во дворе провожали оценивающими взглядами сановных жен, разглядывая их туалеты. Иногда было трудно разобраться, кто важнее, бывшая домработница Ленина, жившая в первом подъезде, или какой-нибудь начальник хозяйственного управления Кремля. У последнего, конечно, большая власть, но бабушка Симы ведь самому Ленину прислуживала! И была она почетной гостьей на всех собраниях в избирательном участке нашего дома, где рассказывала с умилением, каким был Ильич в последние годы жизни, как прост он был с прислугой. Кто же главней — сразу не скажешь!

Не все, что происходило в доме, было мне понятно. Некоторые квартиры долго пустовали. Говорили, что тех, кому предназначалось в них жить, уже нет. А где же они? «Уехали», — отвечали мои родители. На нашей лестничной площадке наконец заселили такую квартиру. Мы познакомились с семьей архитектора Доброхотова. Узнала я, что эту квартиру по особому заказу строили; для большого начальника, отрезали дополнительную четвертую комнату от примыкавшей другой квартиры, сделали специальную нишу в коридоре для кровати домработницы. Когда все было готово, начальник бесследно исчез. У Доброхотовых от прежней роскоши осталась заколоченная дверь в одной из комнат, стыдливо заставленная шкафом. Наличие этой нефункционирующей двери напоминало о какой-то тайне. Глядя на нее, я вспоминала сказку Перро «Синяя Борода», тайник с убитыми женами, и мне становилось жутко.

Много было и других странностей в доме. На первом этаже в трехкомнатной квартире жила девочка Светлана с мамой, но занимали они только одну комнату. Две другие пустовали несколько месяцев, пока в них не въехала другая семья. У Светланы не было папы, его забрали. Куда? Ответы взрослых ничего не разъясняли. Так постепенно в нашем «элитном» доме тоже стали возникать коммунальные квартиры, поначалу никак не предусмотренные его создателями.

Одна из таких квартир находилась как раз над нами, где в маленькой десятиметровой комнате ютилась тихая, незаметная женщина — скромный инженер-экономист с автозавода «ЗИС» — со своим взрослым племянником Юрой (Георгием) Зегрже. Как оказались тетка с племянником в этой комнате, я, конечно, не знала, да и не очень интересовалась. Жизнь взрослых вообще проходила для меня как бы в другом пространственном измерении. И только позднее, когда Юры уже не стало, узнала я о трагической и, в общем, типичной истории этой семьи.

Его отец, Бернард Зегрже, был чех и приехал в Советскую Россию сразу же после революции, чтобы принять участие в созидании первого в мире «государства рабочих и крестьян». В еще не достроенный дом они въехали за год или за два до нас, въехали, конечно, в прекрасную отдельную квартиру, в которой нашлось место и для младшей сестры Юриной мамы. Когда в 37-м обоих родителей арестовали, тогда-то и предложили тетке с племянником перебраться в эту комнату, чтобы освободить квартиру для других, более подходящих для нее жильцов.

Юра к тому времени учился на 1-м курсе биофака МГУ и был, конечно, немедленно отчислен как сын врагов народа. Но, видно, такой это был волевой и талантливый юноша, что сумел, совмещая свои занятия с работой шпалоукладчика в железнодорожном цехе «Трехгорной мануфактуры», не отстать от своих сверстников, самостоятельно пройти весь учебный материал и сдать экстерном за два курса университета. После этого даже грозный ректорат вынужден был признать выдающиеся успехи своего отчисленного студента и восстановить его на том же самом курсе, где он учился до ареста родителей, — случай, надо сказать, удивительный для того времени. Однако доучиться ему было не суждено: в самом начале войны Юра добровольцем ушел на фронт, «искупать», как тогда говорили, «вину» родителей. Закончив военное училище, он стал полковым разведчиком и погиб в 42-м году под Смоленском.

А в 43-м (в те годы редко выпускали из лагерей) вышла на свободу его мать, врач по специальности, Мирра Марковна. Приехав в Москву и убедившись, что нет у нее больше ни дома, ни мужа, ни сына, она предпочла «101-му километру» и иллюзорной близости к Москве свой привычный островок Гулага и вернулась в поселок Вожаель, затерявшийся среди глухих лесов Вычегды, откуда со временем перебралась в Сыктывкар. Там она и проработала вольнонаемной санитаркой до самого 55-го года, когда бывших заключенных стали отпускать уже на все четыре стороны. Но свободной жизни выпало ей всего два года. Страшная болезнь — саркома бедра — подстерегала ее у этого порога. Она умерла в 57-м году во время операции, прямо на операционном столе, — не выдержало сердце.

Во дворе с нами бегал мальчик Женя по прозвищу Пискаля — он без конца плакал по любому поводу. Мы знали, что у него нет ни папы, ни мамы и живет он у родственников.

— Родители Пискли арестованы. Они — враги! — по секрету сказала мне Люка.

— Что же они сделали плохого? — спросила я.

— Я не знаю точно, но что-то вражеское, — с уверенностью прошипела Люка в мое ухо.

Так же непонятно было, почему в семье сына Калинина жила племянница его жены, у которой мама и папа тоже враги, и они тоже арестованы. Натуся, тихая девочка с голубыми глазами и льняными волосами, гуляла во дворе всегда одна, никогда не принимая участия в наших играх. Раз в неделю ее навещала старшая сестра и они вдвоем куда-то уходили. Я очень жалела детей, у которых не было родителей. Слово «сирота» звучало так тоскливо! Все мои попытки завязать дружбу с этими бедными детьми наталкивались на их отчужденность.

Моя лучшая подруга Люка тоже почему-то жила только с мамой. Ее папа поехал работать далеко на север, в город Магадан. Говорили, что он вот-вот приедет. Но проходил год за годом, а он все не приезжал. Роза Яковлевна, мама Люки, однажды ездила к нему в гости и вернулась одна, очень грустная. Появился Модест Ильич Рыжов только в середине войны, в году 43—44-м. Как мы потом узнали, этот мудрый человек избежал неминуемого ареста, а может быть, и гибели, завербовавшись в качестве вольнонаемного инженера туда, куда отправляли в лагеря, на каторгу сотни тысяч заключенных.

Он знал, что его ждет как специалиста, работавшего долго за границей, как старого революционера и просто как интеллигента. Свою еврейскую национальность и фамилию он давно в документах переделал на русскую, но в те годы дальновидность эта его бы не спасла. Моя мать знала Модеста Ильича во времена их юности в Киеве. Тогда он был Мотей Столярским и принимал активное участие в революционном движении. Я слышала разговоры взрослых о нем и удивлялась, зачем понадобилось папе Люки менять фамилию и национальность? Почему он живет не дома? Но слишком много я обо всем этом не думала, мне самой жилось хорошо, мир был устроен просто и справедливо.

Детство мое не было омрачено ни одной бедой. Особую обстановку тепла и уюта создавала в нашей семье мама. Она всю себя посвятила семье — отцу, мне и брату, родившемуся в августе 38-го года. Похоронив все свои таланты — художницы, поэтессы, — она жила только для нас, самоотверженно, терпеливо, иногда героически. Я была баловнем всех моих многочисленных родственников. Меня захваливали, восхищались талантами (я пела, танцевала, декламировала стихи), забрасывали подарками, водили в театры, в цирк, на елки. Мама шила мне наряды, переделывая свои и теткинны платья. Я могла часами крутиться перед зеркалом,

зачарованная своим отражением. Говорят, что детство формирует человека — маленький «нарцисс», кем же я должна была вырасти?!

Летом мама вывозила детей на дачу под Москву. Для нас там была райская жизнь, для нее — тяжелые сумки с провизией, переполненные электрички, керосинки и примусы. Но из года в год она взваливала на себя бремя наперекор отцу, считавшему, что без дачи вполне можно обойтись. Отца я видела в основном по воскресеньям. В будние дни он работал до поздней ночи — ночной стиль работы любил Сталин. Все начальство во всех ведомствах засиживалось на работе до полуночи из опасения, что вдруг он вызовет кого-то наверх, тогда по цепочке вниз и самый маленький начальник может понадобиться.

Я не знала, о чем говорят взрослые, от меня скрывали все опасения, разочарования. Мои родители, как и большинство в то время, боялись ареста, как и все, прислушивались вечерами к звукам на лестнице: не остановится ли лифт в неурочный час на нашем третьем этаже. Многие сослуживцы отца были арестованы. По поводу одного из них, бывшего белого офицера, отца допрашивали в районном отделении госбезопасности. Ни жив ни мертв он вернулся домой после допроса. Сослуживец пропал навсегда.

По чистой случайности моя семья не оказалась среди людей, так или иначе связанных со страшным именем наркома Ежова. Подруга моей матери была женой Ежова. Мама знала Геню Фейгенберг еще в юности в Киеве. Переехав в Москву, Геня стала «вращаться в высших сферах», и мама, следуя своему твердому правилу держаться подальше от сильных мира сего, перестала поддерживать с ней отношения. Несколько лет они не встречались, но знали друг о друге через кузена Гени, старого маминого друга. Из этого источника было известно, что Геня двигалась по иерархической лестнице вверх с помощью смены мужей. Последним оказался всесильный Ежов.

Однажды в поисках работы мама изменила своему принципу и обратилась за помощью к старой подруге, Геня в это время работала редактором одного из журналов и могла составить протекцию. Мама позвонила ей, и та предложила зайти в редакцию, чтобы решить, куда Геня напишет рекомендацию. На другой день мама твердо решила не использовать такую соблазнительную возможность и не пошла на условленную встречу. Не прошло и недели, как вся страна узнала, что нарком «в ежовых рукавицах» — враг народа. Судьба нашей семьи сложилась бы иначе, если бы нам покровительствовала жена врага народа, — об этом свидетельствует множество подобных историй. Интуиция моей мудрой матери на этот раз нас спасла.

Жизнь Гени Фейгенберг закончилась трагически. После ареста мужа ее поместили в Кремлевскую больницу и там отравили. Об этом через много лет узнала ее приемная дочь-испанка, когда пыталась в период массовой реабилитации узнать о судьбе своих приемных родителей.

— Ваш приемный отец был врагом народа и расстрелян за преступления. А ваша мать — прекрасный, честный человек. Храните память о ней.

Таковыми или почти таковыми словами ответили в справочной КГБ. Было это уже во времена знаменитой и недолгой хрущевской «оттепели». Вся эта история стала мне известна значительно позже, долгое время взрослые ограждали меня от всех теневых сторон жизни. Даже опасные анекдоты в моем присутствии не рассказывали. Я покорно выходила из комнаты по первому требованию. «Это не для детей!» — слышала я. Детство у советских детей должно быть счастливым, об этом написано во всех книжках, на всех плакатах, об этом поется в песнях. «Эх, хорошо в стране Советской жить! Эх, хорошо страной любимым быть! Эх, хорошо стране полезным быть, красный галстук с гордостью носить!» — пела я в детском саду, уже тогда сознавая избранность своей судьбы: мы живем в самой лучшей стране на свете.

В 1939 году я пошла в первый класс. Школа располагалась в великолепном старинном особняке рядом с домом. Это была типичная барская усадьба восемнадцатого века. По скрипучим деревянным лестницам мы поднимались в классные комнаты, где сохранились кафельные печи. На переменах мы ходили парами по узким коридорам, не предназначенным для массовых «гуляний». Особым был и актовый зал — огромный, с высокими узкими окнами, с натертым блестящим паркетом и лепными потемневшими потолками. В этом зале танцевал Пушкин с Натальей Гончаровой на своем свадебном балу. Венчание было в церкви на нашей же улице, тогда — Малой Никитской, позже — улице Качалова. И усадьба Гончаровых тоже примыкала к этой улице. Мало кто из школьников знал эти факты — венчание, церковь, бал по поводу свадьбы, барские хоромы — все это было из сказок.

Дворянское происхождение Пушкина было незначительным и досадным обстоятельством, куда важнее — крепостная няня поэта. Старинная церковь стояла заброшенная, облупившаяся, там была, по новой советской традиции, высоковольтная лаборатория. Усадьба, отданная под школу, тоже имела плачевный вид, давно не отремонтированное здание разрушалось. Пара сотен детских ног, галопировавших по шатким лестницам, ускоряли работу времени.

В эти годы пятилеток никто не был озабочен сохранением исторических ценностей. Старое надо снести, чтобы и памяти о нем не осталось! Прогремел взрыв, уничтоживший самый больше» храм Москвы, храм Христа Спасителя. Лишь у небольшой части москвичей отозвался этот взрыв болью в сердце. Наводненная пришлыми людьми, Москва не хранила своего прошлого.

Переименовывались улицы, районы — старые, добротные названия, несшие глубокий смысл, отражавшие историю города, исчезали, замененные новыми, революционными. Люди покорно привыкали к непривычным именам, сокращениям. Некоторое время произносили новое название с прибавлением старого: улица Горького, бывшая Тверская, улица Качалова, бывшая Малая Никитская. Немногие старожилы-упрямцы еще долго пользовались такими длинными названиями, не желая расставаться с прошлым. Но и они смирялись. Толпы командированных ускоряли этот процесс. Проспект Маркса для них никогда не был Охотным рядом, площадь Свердлова — Театральной площадью.

Улицы города украшались всевозможными лозунгами, они должны были настраивать граждан на бодрый, боевой лад: «Даешь пятилетку в четыре года!» или «Партия большевиков — ум, честь и совесть нашей эпохи!» и т. д. Кое-где еще встречались броские плакаты главного поэта строящегося социализма Владимира Маяковского: «Оставим от старого мира только папиросы "Ира"!» Прошло всего несколько лет с тех пор, как «горлан революции» покончил с собой. Об этом старались не вспоминать.

И я,
как весну человечества,
Рожденную
в трудах и в бою,
Пою
мое отечество,
Республику мою!
— читала я, захлебываясь от переполнявшего меня восторга, стихи моего любимого поэта.

Лет до ста
расти
нам
без староста.
Год от года
расти
нашей бодрости.

Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

Мне бурно аплодировали. Вся школа отмечала праздник Великой Октябрьской революции, у детей и взрослых был один общий праздник. Солнце освещало нарядный школьный зал. Я стояла на высокой эстраде, и Сталин улыбался мне с портрета на стене. На руках он держал девочку из Узбекистана, знаменитую героиню хлопковых полей Мамлакат. Сталин очень любил детей. Гордая собой, я сошла со сцены.

Я мечтала стать актрисой или балериной. У меня имелись все основания надеяться на осуществление моей мечты: во-первых, я с выражением умела декламировать стихи, во-вторых, я грациозно танцевала в районной балетной школе, и все родные восхищались моими талантами. А самое главное, мой дядя, Любимов-Ланской, народный артист РСФСР, был директором театра МГСПС, а значит, у меня был блат, открывавший дорогу в искусство. «Блат — выше Совнаркома», — гласила новая поговорка.

В общих чертах я правильно предвидела свою судьбу. Я действительно стала артисткой, правда, на короткий период. И была я очень знаменита, хотя не на весь Советский Союз, а только на все лагпункты Инты — одного из многочисленных островов архипелага Гулаг. Правда, блат тут был ни при чем, и дядя «народный» тоже, просто вывела «великая кривая» — на короткое время спасла от тяжелых общих работ благодаря тем небольшим способностям, которые лелеяли мою гордыню в детстве.

ДЕРЕВНЯ

Лето 1948 года я провела в деревне близ города Кашина Калининской области. Бабушка моей подруги Гали Чирковой жила в деревне, и вся семья ее когда-то тоже жила в деревне. Гадя немного стеснялась своего происхождения из крестьян. Но об этом мало кто знал из наших сверстников. Зато все знали, что ее отец — шофер. И этого факта Галя тоже стеснялась. Правда, смягчающим обстоятельством было то, что работал отец Гали на автобазе Совета Министров. Он был личным шофером какого-то большого начальника. Поэтому Галя и оказалась моей соседкой по дому, а потом и соседкой по парте в школе. Наша дружба была странной: я жалела Галю, потому что она сильно хромала — врожденный вывих бедра — и потому что у нее не было мамы. Психически больная мать выбросилась с балкона пятого этажа на глазах мужа и двух маленьких дочерей. Отец остался вдовцом совсем молодым и очень долго не женился. Это был симпатичный молодой мужчина, с трудом верилось, что он обременен семьей.

Галя не внушала мне особой симпатии, я постоянно чувствовала ее зависть ко всему, что меня окружало. Она завидовала отдельной квартире, в которой мы жили, интеллигентной среде, в которой я росла, моим лучшим оценкам в школе — в общем, абсолютно всему. Наверное, и меня она не очень любила. И все же мы дружили, то есть ходили вместе в школу, возвращались вместе домой, иногда делали вместе уроки. Мои родители были недовольны нашей дружбой, считая, что общаться я

должна только с детьми из интеллигентных семей. Слово «интеллигентный» всегда подчеркивалось и несло в себе особый, глубокий смысл. Но что подразумевали родители под этим понятием?

«Я встретила женщину, такую интеллигентную на вид» или: этот человек очень интеллигентный — так вежливо разговаривает». Люди, погрязшие в быте, ничего не читавшие, без намека на какую-либо духовную жизнь, назывались так почетно только потому, что опрятно одевались, вежливо разговаривали и не занимались физическим трудом. Во всем этом сказывалось укоренившееся чувство превосходства, обособленности, элитарности — иными словами, классовое чувство. В нашем советском обществе было только два признанных класса — рабочих и крестьян. Интеллигенция считалась прослойкой между этими двумя классами. И как эта прослойка надрывалась, прославляя героический труд хозяев страны — рабочих и колхозников! Но не дай Бог детям прославлявших перейти в класс прославляемых! Родители прилагали все усилия, чтобы этого не случилось. Моя семья не была исключением. И все же, несмотря на неудачную дружбу, меня отпустили в деревню к Галиным родственникам.

Деревня, колхоз были для меня книжными понятиями. Образы из книг дополнялись красочными картинками из веселых, натертых до блеска фильмов. «Заиграли, загудели провода, мы такого не видали никогда!» — пели счастливые колхозники. Не менее счастливо мычали коровы и тарахтели новенькие, чистенькие трактора. Жизнь колхозников была так привлекательна на экране и в книгах, что порой окружающая нас городская действительность казалась куда менее радостной и интересной. С большим любопытством я ожидала встречи с настоящей деревней.

Мы ехали по проселочным дорогам на легковой машине (с автобазы Совмина), которую вел Галин папа Михаил Емельянович. Клубы пыли из-под колес не давали разглядеть пронесившийся мимо пейзаж. Нас трясло и подбрасывало на ухабах так, что можно было откусить собственный язык. На зубах скрипел песок, а глаза слезились от пыли. Я не чаяла, когда же наконец доберемся до места. Уже смеркалось, когда мы въехали в деревню. Дома вдоль улицы стояли темные.

— Неужели так рано все спят? — с удивлением спросила я.

— Да нет, спать не спят, а так, сумерничают. Электричества-то в деревне нет, вот и сидят в полутьме, экономят керосин. А когда совсем стемнеет, зажгут керосиновые лампы. Но ненадолго: спать здесь ложатся с курами, встают с петухами. Вот подожди немного, узнаешь, что такое настоящая деревенская жизнь, — многозначительно заключил Галин папа.

Мы остановились у большой, добротной избы, сложенной, как говорят, на века из толстых шероховатых бревен. На крыльце нас поджидала маленькая сгорбленная старушка в белом платке и длинном переднике.

— Чтой-то долго ехали, заждалась ужo, — строго сказала Галина бабушка. Потом она трижды расцеловалась с зятем и с внучкой. На мне остановила вопросительный взгляд.

— Это моя подруга Алла, — представила меня Галя, и бабушка протянула сухую темную руку. В каком качестве я приехала, поначалу не уточнили. Переговорить с бабушкой о моем пребывании в ее доме и, конечно, о плате за это предоставлялось Михаилу Емельяновичу. С вещами мы вошли в дом. Нас встретил дядя Гали, живший с матерью. Был он глухонемой, но очень веселый и активный человек. Разговаривал со всеми на пальцах, а кто не знал языка глухонемых — мог понять и по губам.

Нас пригласили войти в «залу» — большую комнату, вход в которую шел через кухню. В кухне мой взгляд задержался на темной иконе в углу над столом, под ней горела лампадка. Большая часть кухни была занята огромной русской печью. Вся жизнь в такой избе связана с печью — она и кормит, она и греет, в ней и помыться можно, на ней спят наверху на полатах. А какие эта печь пироги печет, хлеб необыкновенный! Щи в ней варятся, а потом томятся в теплом печном брюхе. И еще каши с коричневой корочкой в черных закопченных чугунах — более вкусных я никогда не ела. Все эти открытия я сделала позднее. А пока мы чинно сидели в зале. Пахло чистотой, свежeweмытыми полами с отдраенными до белизны досками. Домотканые дорожки покрывали пол, делая комнату нарядной, хоть она была почти пустой. На стене висело множество фотографий: часть из них — под стеклом, часть приколата просто кнопками. От времени они пожелтели, углы обтрепались, изображение выгорело. Я подошла к стене, чтобы разглядеть лица.

Из рассказов Гали я знала, что у бабушки было шестнадцать детей. Кто-то умер в детстве, но большинство она вырастила. Когда началась война, десять сыновей ушли на фронт. Домой вернулся только один. С фотографий на меня смотрели молодые и средних лет мужчины в солдатской форме. У кого-то из них остались жены, дети, кто-то еще не успел обзавестись семьей. Я стояла и думала, какое горе свалилось на эту женщину, надо было пережить девять похоронок, девять раз умирать с каждым сыном. А потом и дочь так трагически ушла из жизни. И вот мать все вынесла и продолжает жить дальше. Сколько надо иметь сил для этого!

Галя повела меня в огород. Небольшой участок простирался от дома вниз к полю. Весь он был занят ухоженными грядками. Только в одном месте земля не была возделана — там стояли ульи, которыми занимался дядя Шура. Совсем стемнело, трава стала мокрая от росы, а в небе повис яркий серп луны. Мне стало вдруг ужасно тоскливо, захотелось домой. Я даже решила утром вернуться с Михаилом Емельяновичем в Москву. В это время он вышел в сад и радостно сообщил:

— Бабка согласилась тебя оставить. Денег больших не просит, хочет, чтобы привезли про запас крупы да муки, когда я вас буду забирать. Я пообещал. На том и порешили. Ну а теперь идемте вечерять. На стол уже собрали.

Мы вернулись в избу. После темноты в кухне показалось светло и уютно. Но уже скоро глаз привык к свету керосиновой лампы, стоящей на столе, и стало

непривычно темно и мрачно. Углы комнаты скрывались во мраке, освещены были только лица сидящих за столом, да с иконы глядели на нас грустные глаза Богородицы. Взгляд казался живым от мерцающего огонька лампы, и я не могла оторвать глаз от настоящей иконы, на которую молились, висящей в красном углу дома, а не на стене музея.

Мы расселись на лавках вокруг длинного деревянного стола. Папа Гали занял почетное место в красном углу под образом. Напротив него сидела хозяйка — Ефросинья Семеновна. Вид у бабушки был очень торжественный. Ясно, что наш приезд для нее большое событие. Посередине стола стояла обливная миска с горячей кашей. Над ней поднимался пар. Ни у кого из нас не было тарелок, но перед каждым лежала большая деревянная ложка. Каша вкусно пахла, и я сразу почувствовала, как проголодалась после дороги. Но как же есть кашу без тарелки? Мои размышления были недолгими — первой к миске потянула ложку бабушка. Она зачерпнула полную ложку и понесла ее ко рту, другой рукой подставив под ложку ломоть хлеба. Затем Михаил Емельянович проделал то же самое, а за ним и дядя Шура. Галя посмотрела на меня несколько виновато, но последовала примеру взрослых. Я очень хотела есть, но чувство брезгливости, внушенное с детства, останавливало меня от еды из общей миски.

— Что же ты? Аль не голодна или каши не любишь? У нас в деревне ваших городских разносолов нет, — строго сказала бабушка.

— Дай нам, пожалуйста, тарелки, — пришла мне на помощь Галя.

Хозяйка была явно недовольна такой просьбой — нарушались семейные традиции, но все же перед нами двумя появились тарелки. Каша оказалась необыкновенно вкусной — пшенная, рассыпчатая, с коричневой запекшейся корочкой. Я с трудом справлялась с большой ложкой, не влезавшей в рот. У взрослых не было никаких трудностей, они облизывали ложку и внутри и снаружи, закусывая кашу темным домашним хлебом. А потом мы пили морковный чай с медом, по-особому ароматным, с кусочками сот. И хоть был он из собственных ульев, на столе появлялся редко — весь шел на продажу, это была основная статья дохода семьи. Об этом я узнала уже на другой день, неосторожно попросив к чаю немного меда.

Осоловевшие после ужина, разморенные горячим чаем, сидели мы с Галей за столом, прислушиваясь к разговору взрослых. Бабушка все жаловалась — трудно ей справляться с хозяйством, а подмоги никакой. Сын не хочет в земле копаться, вот стал фотографией подрабатывать. Все больше на свадьбы да на похороны ездит по соседним деревням. А как уедет, то и след простыл — по неделе пропадает.

— Я все одна да одна — л корову покорми, и за поросенком ходи, и в огороде работай. Сил моих больше нет! Хоть бы Бог прибрал поскорей, — она утирала глаза кончиком платка, но слез в глазах вовсе и не было. Причитания велись скорее для порядка, чтоб посочувствовал зять и помог, конечно, чем-нибудь. Ведь он важный теперь стал, городской! На машине разъезжает, одет по-городскому. Конечно, и ему несладко, один с двумя дочками. А сам-то еще совсем молодой и уже вдовец.

Время от времени голоса смолкали, но разговор продолжался — это на пальцах начинал объясняться дядя Шура. Ему отвечали на пальцах, но это быстро надоедало, снова текла обычная беседа, а дядя Шура улавливал смысл по движению губ.

Я с удивлением поняла, что в деревне живется тяжело. На трудодни получают очень мало, а кормятся все с маленьких приусадебных участков. Скот держать накладно — так велики налоги.

— Красавку нашу я бы давно продала, — говорила бабушка, — да жалею ее больно, ведь с теленка выросла у нас. А ведь молока-то почти и не видим — таскаем и таскаем на сборочный пункт. Себе-то самая малость остается. Сено косить негде. Все самые дрянные закуточки — и те колхозные. Вот Ваньку Еремина засудили, скосил малость травки.

Михаил Емельянович, видно, устал от старухиных жалоб — ерзал на лавке и все успокаивал ее одними и теми же словами:

— Погодите, мама, потерпите немного. Только три года после войны прошло. Должны ж вы понимать это! Скоро, скоро полегче станет.

А она, не дослушав его обнадеживающих слов, спешила рассказать о всех своих тяготах.

Наконец Галин папа встал, и мы поняли, что нудный разговор окончен, можно идти спать. Бабушка провела нас в маленькую комнату, выходившую в залу. Там стояла железная кровать с витым изголовником, покрашенным белой краской. Горка вышитых белых подушек возвышалась в строгом порядке — большая, на ней средняя, потом маленькая, и самая последняя, «думка», завершала композицию. Окаймлял постель кружевной подзор, спускавшийся до самого пола. В общем, кровать производила торжественное впечатление. Она предназначалась для гостей. Само собой разумелось, что на ней будет спать Галя. Мне почти вплотную поставили привычную по дачной жизни раскладушку. Усталые от всех впечатлений, мы уснули мгновенно.

Когда стук в дверь разбудил меня утром, несколько секунд я не могла понять, где нахожусь. Рядом крепко спала Галя. Легким стуком в дверь здесь было не обойтись, и я стала ее расталкивать.

— Эй, московские сони, подымайтесь, уж полдня проспали, — добродушно шумела бабушка за дверью. Действительно, было десять часов, а бабушка, как мне сказала Галя, встает в пять. Мне было немного стыдно, что она уже наработалась, а мы валяемся, как барыни. Быстро умывшись во дворе над тазом, мы вошли в кухню. Стол был накрыт для нас двоих. На этот раз нам были поставлены тарелки. Завтрак был очень странный, но показался мне вкусным — похлебка из сыворотки от кислого молока, в которой плавал мелко накрошенный зеленый лук. Блюдо это мы ели с пахучим черным хлебом.

Пока мы завтракали, бабушка месила руками тесто для хлеба. Работа была для нее тяжелая, мелкие капельки пота блестели на лбу, в такт движениям она покряхтывала, иногда останавливалась и переводила дыхание. Никогда еще не приходилось мне видеть рождения хлеба, он всегда был готовенький на полках булочных. Закончив месить, она покрыла бадью белым полотном и принялась переставлять в печи горшки, освобождая теплое место для теста. Тяжелый ухват на длинной палке в ее руках казался легкой тросточкой. Я любовалась гибкими и точными движениями старой женщины, в них было столько ловкости и еще сохранившейся силы. Мне казалось, я наблюдаю ожившую картину передвижников или сцену из спектакля о старине, где все так реально в мельчайших деталях и бесконечно далеко от сегодняшней жизни.

Бабушка сообщила нам, что завтра в их деревне престольный праздник. Каждая деревня в округе имеет своего святого, и день его торжественно празднуется.

— Завтра уж не поспите допоздна, рано гулянье начнется, с песнями, с гармошкой. Со всех деревень придут к нам гулять, — объясняла бабушка местные обычаи, конечно, мне. Галя тут была своя. Я поинтересовалась, пойдет ли она в церковь. Ответ меня поразил. Зло посмотрев на меня, она сказала:

— Аль не говорила тебе Галя, как комсомолки-балаболки вроде вас спалили нашу церковь перед войной.

Теперь пню молиться нам надоть иль двадцать пять верст пешим ходом до ближайшей церкви топать. Окаянные! Чтоб вам всем пусто было!

Последние слова она бормотала, уже отвернувшись к печке и громыхая ухватом. Разговор явно повернулся в неудачную сторону, нам было неловко, и, поблагодарив за завтрак, мы поспешили уйти из дома.

Деревня казалась совершенно безлюдной. Мы шли мимо старых изб с покосившимися крылечками и выступающими завалинками вокруг домов. Маленькие палисадники с редкими цветами — мальвами и золотыми шарами — обрамляли избы с улицы. Эти неухоженные садики выглядели жалкими и не украшали улицу. Улица выглядела серой, беднячкой. Деревня была небольшая, всего домов тридцать по обеим сторонам улицы. За последними домами начиналось огромное поле колосившегося овса.

Мы с Галей подошли к околице и взобрались на тонкие бревна, лежавшие на рогатках, вбитых в землю, — граница, отмечающая конец деревни.

— Где же люди? — недоумевала я. Галя помолчала, а потом как бы нехотя заговорила.

— Тебе все здесь странно, а я привыкла, каждый год сюда приезжаю, и всегда одно и то же. Ты спрашиваешь, где люди, — а их-то в деревне раз-два да и обчелся. Кто с фронта не вернулся, многие деревенские погибли, кто еще в армии служит, а кто в

город сбежал — таких больше всего. Кому охота здесь жить! Ни электричества, ни радио, кино в сарае показывают, сельмаг пустой, войти туда тошно. Со скуки тут умереть можно. А что в деревне едят! У моей бабки еще ничего. Их двое, и дядя Шура подрабатывает то медом, то фотографией. Семья когда-то была зажиточная, их раскулачили. А знаешь, что значит кулаки? Просто хозяйство хорошо вели, работали с утра до ночи. Легко ли прокормить шестнадцать душ детей! Дети подрастали, тоже помогали родителям. В общем, хозяйство у них было крепкое. Даже когда землю отобрали и в колхоз заставили идти, семья бабки лучше многих жила — закваска у них была добротная. Ты еще увидишь, в какой бедности тут все живут, так и до войны было. Недаром мои родители, как только поженились, в Москву подались. Вы, городские, ничего-то о деревне не знаете, — заключила Галя свой рассказ.

Я слушала с удивлением и недоверием — никогда раньше моя подруга не говорила мне ничего подобного. Впервые я почувствовала, что она переживает за деревню и не стыдится своей кровной связи с ней. Где же эти счастливые колхозники, о которых мы постоянно слышали в Москве? Может быть, Галя преувеличивает, и все не так мрачно. Все-таки ее бабушка вроде бы раскулаченная — обижена на советскую власть. Разговор наш оборвался. Мы молча пошли вдоль поля к реке.

На другой день мы сами проснулись ни свет ни заря в ожидании праздника. Праздники ассоциировались для меня с нарядными улицами, с иллюминацией, флагами, плакатами, портретами вождей. Даже мой любимый Новый год не обходился без красных полотнищ с лозунгами: «Новому году — новые успехи в труде!», «Завершим пятилетку в наступающем Новом году!». Повод для каждого праздника был понятен, и я радовалась вместе со всеми.

Теперь мне предстояло нечто совсем другое — деревенский праздник. Все было непонятно и странно, праздник в честь святого. Почему у каждой деревни собственный святой? И почему празднует вся деревня и соседние тоже? Я могла понять стариков — темных, отсталых, малограмотных. Только они остались верующими в нашей атеистической стране. Никаких сомнений в отношении религии у меня не было. Бог выдуман невежественными людьми. «Религия — опиум для народа» — это знал каждый школьник. Нас учили презирать все, что связано с верой: церковь, служителей церкви, церковные обряды, религиозные книги.

В голову не приходило читать Библию, Евангелие — все сказки, басни, да еще и вредные. Оболваненные таким образом, мы не могли понять библейские сюжеты в живописи, проходили равнодушные мимо картин в галереях, не знали духовной музыки. Христианская культура мира, как и другие религиозные культуры, была закрыта для нас. Ущербности своей мы не понимали, а потому и не тяготились ею. Все было ясно в нашем лубочном, выхолощенном мире — черное и белое, хорошее и плохое, просто как дважды два.

С нетерпением мы с Галей то и дело выбегали на крыльцо, чтобы не пропустить начало праздника. Но, как и накануне, улица была пуста, никаких украшений я не видела. Буднично бродили рябые куры в сопровождении бурого петуха, такое же безлюдье и тишина. Когда же начнется праздник? В доме все же что-то

переменилось — свежесвыбеленная печь сияла голубизной и чистотой, на окнах висели накрахмаленные новые занавески, а деревянный стол покрыт был белой вышитой скатертью.

Бабушка выглядела сегодня иначе: длинное темное платье и косынка на голове — все было нарядное. Даже лицо ее, обычно хмурое, было разглаженным и довольным. Дядя Шура тоже оделся во все свежее. На столе стоял поднос с только что испеченной ватрушкой. Нас пригласили к праздничному столу. Перекрестившись, бабушка начала резать ватрушку. Мы пили из больших эмалированных кружек парное молоко, еще теплое, заедая ватрушкой из темного теста.

После завтрака на столе расставили еще несколько подносов с другими бабушкиными пирогами. Между ними возвышалась большая бутылка самогона, заткнутая тряпичной пробкой и окруженная гранеными стаканами. Все это было приготовлено для гостей.

Вдруг с улицы донеслись до нас звуки гармошки, и мы выбежали на крыльцо. Из домов выходили люди, многие уже сидели на завалинках. Посреди улицы стайкой шли молодые парни в рубашках навыпуск, в сапогах гармошкой и девушки в накиннутых на плечи ярких платках. Гармонист в красной рубашке и черной кепке широко разводил меха, оглашая деревню громкими переливами. Девушки, забегая вперед и повернувшись лицом к гармонисту, отбивали чечетку и выкрикивали задорные, часто язвительные частушки.

— Сидит милый на крыльце с выраженьем на лице. Выражает то лицо — чем садятся на крыльцо! — кричала одна плясунья, другая же подхватывала:

— А сидит милый у ворот, широко разинув рот,

И никто не разберет, где ворота, а где рот!

После такой «разминки» девушки пускались в пляс вокруг гармониста. На смену им вступали басистые ребята, стараясь переплюнуть девушек в остроумии. Слушатели у изб громко смеялись, отпускали шутки, подзадоривая молодежь.

Повеселившись так некоторое время, хозяева деревни стали приглашать гостей в свои дома. Все разбрелись кто куда. А в это время уже подходили гости из других деревень. Они тоже шли вдоль улицы, распевая частушки, и тоже заходили в дома угощаться. Потом и пришьлые собрались в кучку, показывая хозяевам свое умение. Сначала это выглядело как соревнование разных деревень, но потом все перемешались и стали плясать и петь вместе. Очень чинно танцевали танец кадриль, мне ее раньше не приходилось видеть. Вокруг было очень весело и совсем не похоже на наши школьные вечера, где мы в последние годы пыжились, пытались создать обстановку дореволюционных балов.

В неподходящей обуви и платьях мы торжественно выделяли фигуры мазурки, тарантеллы, падеграса и других «старорежимных» танцев. Введены были

гимназические формы, школы разделили на мужские и женские. Исчезла простота послереволюционных школ и рабфаков. Взрыв патриотизма военных лет возродил сентиментальную тоску по атрибутам старины. В армии Сталин ввел форму царских офицеров — погоны, золото на погонах, кокардах. Сам он воссиял на портретах в шитом золотом мундире генералиссимуса.

Устойчивый комплекс неполноценности управлял всеми чувствами маленького, рябого, рыжевато-го человека. Он принадлежал к национальному меньшинству и мечтал, чтобы об этом забыли, поощряя великодержавный русский шовинизм. Он вышел из низов общества и всей душой тяготился своей средой. Его амбициозная натура рвалась туда, куда были закрыты для него двери. Он хотел бы учиться в частной гимназии, носить нарядную форму гимназиста, вместо этого он учился в духовной семинарии и носил ненавистное платье семинариста.

Он хотел бы танцевать на аристократических балах, вращаться в высшем свете, обладать чинами, почетом, властью. Он мечтал жить в Зимнем дворце... Все самые невероятные мечты маленького грузина осуществились — власть. Кремль, чин генералиссимуса. И счастливые подданные, то есть те, кто еще остался жив после уничтожения чистками, голодом и войной, плясали на балах и в жизни под его страшную дудку. Полунищая, полуголодная деревня танцевала иначе. Да что говорить, деревня, которую я увидела, была словно вынесена мне на ладони из другого времени.

Деревенские бабки вспоминали рассказы своих бабок о крепостном праве и говорили, что жизнь тогда была лучше и сытнее: «Вот у моей родни и надел был куда больше и детей аж двенадцать душ! А теперь двоих-троих еле прокормишь». Такие разговоры я слышала не раз. Я не верила своим ушам — у колхозников не было паспортов, значит, они крепостные души у государства! Они не могли по своему желанию покинуть колхоз, переехать в город. Работа в колхозе была ненавистна, все валилось из рук, поля зарастали сорняками, картошка гнила или в земле, или на складах. Поразительно отличались коровы домашние от колхозных — как мамыны дети от детдомовских. Весь уклад жизни ничем фактически не отличался от дореволюционного.

Животные и люди, как правило, жили под одной крышей, в жилую часть проникал тяжелый запах хлева. За стеной слышно было мычание коров, повизгивание свиней. Как на картинах старых мастеров, в избах с потолка свешивались деревянные люльки. Мать раскачивала младенца ногой за веревку, привязанную к люльке. Я видела, как при этом она крутит рукой каменный жернов, дробящий зерно, — мельница одна на много деревень и далеко. В избах обычно полутемно, на полу играют неумытые дети, одетые в тряпье.

Все эти впечатления буквально обрушились на меня. Я была угнетена увиденным и услышанным, но анализировать тогда еще не могла. Мне просто ужасно не понравилось в деревне, и, сговорившись с Галей и запасшись провизией на дорогу, мы ранним утром сбежали, оставив бабушке записку. И хотя мы были совсем не приспособлены к самостоятельной жизни, бегство наше увенчалось успехом — мы

добрались до города Кашина, сели в поезд и через ночь были дома, к удивлению и огорчению родителей.

Так окончилось мое знакомство с «богатой и счастливой» советской деревней. Этот, казалось бы, незначительный эпизод в моей жизни оставил глубокий след — передо мной начала открываться многоликая, многоплановая лживость общества, провозгласившего себя лучшим в мире.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Десятый класс тянулся бесконечно долго и нудно, хотя приближался торжественный момент — окончание школы. Без малейшего сожаления я готовилась распрощаться с ней навсегда. Более скучного года за все десять лет школьной жизни у меня не было. Любимым моим предметом всегда была литература, только она доставляла мне настоящее удовольствие. Но в десятом классе даже литература нагоняла скуку. Позади остались XVIII — XIX века, мы перекочевали в XX. В этом веке самой главной оказалась послереволюционная советская литература.

Ее-то мы и мусолили целый год. В предыдущих классах мы изучали прекрасную русскую литературу и было не так важно, как нам ее преподавали. Думаю, что плохо, уж очень все было подчинено схеме, идеологии. Не допускалось собственное мнение, все думали как учитель, а он — как предписано. Учителя сменяли один другого, были они в меру серыми, ординарными. Я не запомнила ни одного яркого урока, оригинального подхода — чего-то, что отразило бы личность преподавателя.

Один только раз я слышала блестящую лекцию о «Слове о полку Игореве». Станный мужик в валенках шагал из угла в угол по классу и рассказывал нам о далеких временах, будто сам был в войске русского князя. Этот необыкновенный учитель был у нас совсем недолго, заменял нашего заболевшего. Он преподавал где-то в техникуме, а потому считался второсортным. Вот этого 4 второсортного» я и запомнила.

В десятом классе литературу вела Наталья Алексеевна — высокая, седая, с тонким лицом, как говорят, со следами былой красоты. У нее были необыкновенно красивые руки с длинными пальцами и всегда с маникюром.

С детства я обращала особое внимание на руки человека и часто незаслуженно недолюбливала людей с некрасивыми руками. Наталья Алексеевна мне нравилась. Она была спокойная, величественная, никогда не повышала голоса. Нас она не бранила, не взывала к нашей совести или к нашему патриотизму, как делали другие учителя. Но уроки ее были унылы и однообразны. Казалось, что ей самой невероятно скучно рассказывать нам о героях Горького, о поэмах Маяковского. Она даже не очень скрывала, что безразлична к поэзии акынов — Джембула или Сулеймана Стальского. Тема «"Железный поток" Серафимовича» вместо трех уроков по плану заняла у нее один. И я не запомнила ни строчки!

Зато когда по тому же учебному плану подошла тема «Поэзия начала XX века», Наталья Алексеевна оживилась. Блок разбудил и учительницу, и учениц. Но особенно я запомнила один урок. Нас в этот день не вызывали к доске — был урок-лекция, различные поэтические течения начала века. Наталья Алексеевна преобразилась, она помолодела лет на десять. Разрумянившаяся, совсем иным голосом она читала наизусть стихи Бальмонта, Северянина, Брюсова, Надсона. Это была ее молодость! Стало ясно, почему она пришла в школу, хотела учить детей совсем по другим эталонам. Наверное, если бы можно было, она в первую очередь читала бы нам Ахматову, Гумилева, Цветаеву, Мандельштама.

Но это было невозможно, таких поэтов в эти годы не существовало. Разрешалось рассказать о второстепенных звездах того времени, да и то в заключение предать их анафеме — оторвались от народа, не отражали действительности — и прилепять ярлык «декаденты». Тема факультативная, то есть не обязательная, послушали, а теперь забудьте, что большинство и сделало. А я почему-то не могла забыть этого единственного интересного урока и открывшуюся мне тайну старой учительницы.

Обычно учителя не вызывали во мне особых чувств — ни любви, ни антипатии. Они выдавались мне на год, как предписанные гороно — городским отделом народного образования — учебники. Через год появлялись другие книги и другие учителя, и я забывала прежних. Но были и исключения. Историю в девятом классе преподавала юркая, черноволосая Сарра Зиновьевна Бакс. Одновременно она была в нашем классе и классным руководителем. Так что приходилось общаться с ней часто и много. Я терпеть не могла ее пронзительного голоса, ее сверкающих энтузиазмом глаз и пафоса, с которым она вела уроки. От нас она требовала того же пафоса, того же треска напыщенных фраз. И ученицы старались наперебой потрафить ей, проклятия в адрес царя, казенные дифирамбы в адрес декабристов, непрерываемый ореол жертвенности вокруг подвигов террористов-народников — весь набор штампов выкладывался у доски усердными школьницами. После чего в журнале появлялась очередная пятерка.

Конечно, я не могла тогда разобраться в существе предмета, который нам преподносили под видом истории. То, что это идеологическая пропаганда, часто до неузнаваемости извращающая факты, мне не приходило в голову. Тогда мне неприятен был сам стиль уроков истории. Интуитивно я чувствовала фальшь. Все учителя были ответственны за идеологическое воспитание своих учеников, и все делали свое дело в меру своих сил. Сарра Зиновьевна лезла в своих стараниях вон из кожи. Это бросалось в глаза.

В одном классе со мной училась дочь исторички — Галя Гласман. Это была милая тихая девочка, с косами и симметричными кудряшками, обрамлявшими ее лицо. Она никогда ни в чем не выделялась, и, к чести учительницы, мы не чувствовали, что в классе ее дочь. Думаю, что такой своей беспристрастностью и объективностью Сарра Зиновьевна даже гордилась. Но благодаря дочери нам была известна маленькая деталь из жизни учительницы. Дядя Гали, видимо брат отца, известный джазовый пианист Владимир Гласман, был жестоко изруган и приобщен к числу «безродных

космополитов» в самый разгар бушевавшей кампании 48—49-го годов. Наверное, поэтому в поведении учительницы улавливалось какое-то беспокойство. Как я поняла позже, причин для волнения у Сарры Зиновьевны было тогда предостаточно.

Осуждение «безродных космополитов» приняло в эти годы, как и все кампании подобного рода, всенародный характер. По радио, в газетах, на концертах на все лады подвергались травле и осмеянию деятели культуры. В шуме разыгравшейся вакханалии больше всего звучали еврейские фамилии. Писатели, артисты, музыканты обвинялись в «преклонении перед западом», в «протаскивании буржуазных идей», в «низкопоклонстве». У большинства эти штампы навязли в зубах. Ни у кого не было сомнения в антисемитском характере всего происходящего.

По Москве ходили слухи об аресте членов Еврейского антифашистского комитета. Поэты Маркиш, Квитко в чем-то провинились. Квитко был мне знаком с детства, все дети читали простенькие стишки: «Климу Ворошилову письмо я написал. Товарищ Ворошилов, народный комиссар...». В январе 1948 года в газетах сообщили, что при автомобильной катастрофе погиб руководитель Московского государственного еврейского театра Соломон Михоэлс. Он тоже был в Антифашистском комитете. И скоро поползли слухи, что Михоэлс был убит намеренно.

Еврейский театр находился рядом с моей школой, на Малой Бронной. Я никогда не была в нем, еврейская культура меня не интересовала. Помнила, что туда когда-то водили бабушку, именно водили, так как шли ради нее, никто в семье не знал еврейского языка. Стыдно вспоминать, но, проходя каждый день мимо театра, я не замечала, какие пьесы там идут. В тот январский день 48-го года по дороге в школу я наткнулась на непреодолимое препятствие — улица была запружена огромной толпой. Пройти было невозможно. Я спросила у какого-то человека, что случилось.

— Погиб великий еврейский артист Михоэлс! — с пафосом ответил он. — Сегодня мы прощаемся с ним.

На меня это сообщение не произвело особого впечатления. Недолго постояв в толпе, я пошла в школу другой дорогой. А вскоре стали передавать из уст в уста страшное опровержение официальной версии. Трудно было в это поверить, но вся обстановка того времени подтверждала вероятность невероятного.

Моя принадлежность к еврейской нации стала восприниматься мною иначе, чем раньше. Я чувствовала свою причастность к гонимым, я сочувствовала им, не видя их вины. С другой стороны, появилось ощущение отчужденности, обособленности. Моя фамилия тоже была «иностранная» — звучала она на немецкий лад, и во время войны я ее ненавидела. Когда в школе меня вызывали к доске по фамилии, один звук этих слов: «Рейф, к доске!» — угнетал меня. Я завидовала простым, привычным русским фамилиям. В старших классах зависть к русским фамилиям прошла, но нелюбовь к своей осталась.

В многочисленных еврейских анекдотах всегда фигурировали распространенные еврейские имена и фамилии. Со временем эти имена стали казаться уродливыми, неблагозвучными. Обладатели их стеснялись своих имен и часто меняли их. Запомнился один эпизод: обсуждался в моей семье вопрос об «ужасных страданиях» нашего приятеля, которого во время защиты его докторской диссертации должны были назвать во всеуслышание настоящим именем, согласно метрике. В «миру» он давно назывался Павлом Михайловичем, и вот вдруг такой позор, все услышат его истинное древнееврейское имя — Пейсах Мордухович.

Унижение было двойное: во-первых, надо признаться, что ты скрывал свое имя, а значит, стыдился его, а во-вторых, само имя казалось отталкивающе неблагозвучным даже для его обладателя, ну и, конечно, для всех окружающих. Павел Михайлович готов был отказаться от защиты, но все же преодолел свою позорную слабость и стал доктором медицины.

Еврейские имена и фамилии всеми правдами и неправдами старались поменять на русские. Это было общеизвестно и никого не удивляло — от того, как звучит фамилия, часто зависела карьера, вся жизнь. Но не только еврейские фамилии и имена были неприятны для «советского уха». Любое явно иностранное имя настораживало. Мой брат не мог простить родителям, что они по совету тетки наградили его именем Эдгар, в честь Эдгара По. В детстве его дразнили из-за этого, и позже он стал Игорем. Очень многие еврейские деятели искусств, писатели были известны под своими псевдонимами — всегда русскими фамилиями. Во время кампании против «космополитов» псевдонимы, как правило, раскрывались, снимая всякие сомнения, с кем расправляются на этот раз.

Ужасное впечатление произвел на меня один из номеров популярного концерта кукол в театре Образцова. Представление называлось «Обыкновенный концерт». Сатирические персонажи в веселом калейдоскопе сменяли друг друга. В очередном номере на сцене появились четыре куклы с карикатурно подчеркнутыми еврейскими чертами лиц, в вызывающих клетчатых, то есть иностранного образца, костюмах. Под музыку, пародирующую джаз, который в то время подвергался гонению, куклы начали отплясывать чечетку, издавая при этом набор звуков, характерных для английской речи. Номер назывался «Хор космополитов». Публика приняла его с таким же восторгом, как и все остальное. Я ушла из театра удрученная.

Однажды в какой-то случайной компании на вечеринке у моей кузины из рук в руки передавали написанные от руки два стихотворения. Одно приписывалось Маргарите Алигер, другое называлось «Ответ Эренбурга». Оба автора были знамениты, но никто не знал, действительно ли стихи принадлежат им. И тот и другой — евреи, так что вполне вероятно, что именно они и написали эти стихи. На меня оба стихотворения произвели огромное впечатление. Я тут же переписала их, в спешке перепутав какие-то строфы. Эти стихи позже фигурировали на следствии, подтверждая «националистические» настроения всей нашей организации. Я не видела в содержании стихов ничего крамольного, просто вечная горькая обида евреев на несправедливую к ним ненависть. И у нас, и во всем мире.

Я спрошу у Маркса и Эйнштейна,
Что великой мудрости полны,
Может, им открылась тайна
Нашей перед вечностью вины.

Мне казалось, что поэты замечательно выразили мои собственные мысли. В моей школе зеркально отражалось все, что происходило в стране. Мы выслушивали проклятия в адрес «безродных космополитов» и бездумно произносили все штампованные эпитеты. Сарра Зиновьевна неистовствовала! На уроках истории, на классных собраниях она повторяла все, что звучало каждый день по радио, печаталось в газетах. Меня не покидало ощущение фальши в словах учительницы, мне было противно ее слушать.

На этом фоне разворачивалась подготовка к всенародному ликованию — празднованию семидесятилетнего юбилея Сталина. Заподозрить самого Сталина в поощрении начавшейся вакханалии мне не приходило в голову. Никаких сомнений, что народ обожает своего вождя, у меня не было. Откуда иначе мог быть такой бесконечный поток поздравительных телеграмм в центральных газетах! А грандиозные залы, полные подарков Сталину: какие чудеса искусства дарили люди, выражая этим свою любовь и благодарность. Мы всем классом ходили на экскурсию в Музей Революции и разглядывали под лупами рисунки, на которых виртуозы писали письма, полные преданности своему вождю и учителю. Люди всех стран мира посылали подарки Сталину.

Мне запомнился подарок французской женщины, она прислала детскую вязаную шапочку — единственную вещь, оставшуюся у нее после гибели дочери во время фашистской оккупации. Об этой матери я написала в своем сочинении на аттестат зрелости. Я выбрала свободную тему: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет!» Получила я за него четверку, вместо ожидаемой отличной отметки. Я сделала одну-единственную ошибку — Виссарионович написала с одним «с»! Как сказала Наталья Николаевна, это была непростительная ошибка, и, несмотря на блестящее сочинение, комиссия с большим огорчением поставила четверку».

— Как тебя угораздило?! — сокрушалась учительница. Действительно угораздило — слово это я видела бесконечное количество раз, почти два десятка лет! Не было ли это началом крамолы, заведшей меня так далеко?

Двадцатого декабря 1949 года вся страна праздновала день рождения Сталина, вождя всех народов, мудрого, гениального, великого. Славословие не имело границ. В поздравительных телеграммах его называли первым другом шахтеров, железнодорожников, колхозников, хлеборобов и так далее, без конца. За несколько дней до юбилея в нашей школе началась подготовка к празднику. Историчка готовилась... истерически. На уроках репетировались лозунги, которые будут

выкрикиваться на торжественном вечере в школе. Как на грех, у меня был громкий голос и хорошая дикция — вот где понадобились мои декламаторские способности, которым на этот раз я была не рада. На доске Сарра Зиновьевна написала несколько лозунгов, а я громко, с пафосом повторяла их перед всем классом.

«Твой голос должен быть полным радости, в нем должна звучать любовь к нашему вождю», — убеждала меня учительница, заставляя еще и еще раз повторять здравицы. Мне было стыдно, неприятно, но отказаться я не решалась.

Наконец наступил торжественный день. После занятий вся школа собралась в актовом зале. Стоя, мы слушали трансляцию по радио торжественного заседания из Колонного зала Дома союзов. Сталина встретили нескончаемые овации, зал долго не утихал. Мы тоже по знаку руководившей всем исторички аплодировали невидимому вождю. Потом начались приветственные речи. Не помню, кто выступал и о чем говорили, — это был сплошной поток слов, полных обожания и восхваления.

После каждой здравицы в честь Сталина зал взрывался громовыми аплодисментами, прерываемыми новыми лозунгами: «Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин!», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед к победе коммунизма во всем мире!». Все это выкрикивалось резкими, надрывными голосами, в них слышалась не радость, а истерика. И снова шквал овации. На этом фоне «морского приboя» по знаку Сарры Зиновьевны мы, подготовленные крикуны, орали изо всех сил заученные слова: «Пусть вечно живет родной Сталин! Сталин — наше знамя, Сталин — наша гордость!» и т. д.

Странный это был спектакль... Казалось мне, что и в далеком нарядном зале такая же маленькая круглая учительница указательным пальцем и взмахом руки дирижирует всем, что там происходит. Помнится, что не мне одной было не по себе на этом вечере, девочки застенчиво улыбались, переглядывались. Хотелось, чтобы все поскорее кончилось.

Не помню, когда у меня возникла твердая уверенность, что поклонение Сталину носит уродливый характер. Тогда я думала, что какие-то глупцы и подхалимы вроде нашей учительницы истории не в меру стараются, что Сталину это должно быть неприятно, но он не в силах притушить их пыл.

Окончание школы — всегда важный рубеж. В моем случае рубеж оказался переломным моментом, изменившим всю мою жизнь. Я не была готова к ожидавшему меня, да и кто мог быть к этому готов? Но все, что я видела вокруг, неодолимо вело меня к тому, что вскоре со мной случилось. Я встретила своих единомышленников, более зрелых, чем я, готовых не только к разговорам, но и к действиям. Все дальнейшее было логическим продолжением каждого моего предыдущего шага. Это была судьба.

ОДИН ДЕНЬ В ЛЕФОРТОВСКОЙ ОДИНОЧКЕ

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА арестованной РЕЙФ Аллы Евгеньевны

от 20 февраля 1951 года Рейф А.Е., 1931 года рождения, уроженка гор. Киева, еврейка, гражданка СССР, чл. ВЛКСМ. До ареста — студентка заочного отделения Государственного педагогического института им. Ленина. Проживала в гор. Москве.

Допрос начат в 23 час.

ВОПРОС: Вам предъявлено обвинение по ст. 58-1 «а», 19-58-8, 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР, т.е. в том, что вы являлись участницей троцкистской террористической организации и по ее заданию проводили активную враждебную работу против Советского правительства. Вам понятно обвинение?

ОТВЕТ: Да, понятно. Я обвиняюсь в принадлежности к молодежной троцкистской организации и в проведении активной антисоветской работы,

ВОПРОС: Признаете себя виновной в этом?

ОТВЕТ: Да, признаю. Я виновна в том, что, будучи антисоветски настроенной, до дня ареста состояла в молодежной троцкистской организации, именовавшейся «Союзом борьбы за дело революции», и по ее заданию проводила активную вражескую работу против Советского государства.

ВОПРОС: Какую преступную работу вели вы в троцкистской организации?

ОТВЕТ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я переписала «манифест» организации, в котором возводилась злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы против существующего государственного строя. Другой работы в «СДР» я не проводила.

ВОПРОС: Когда вы примкнули к троцкистской организации?

ОТВЕТ: В сентябре 1950 года,

ВОПРОС: Под влиянием кого?

ОТВЕТ: В троцкистскую организацию меня вовлек ГУРЕВИЧ.

ВОПРОС: Покажите подробнее, кто такой ГУРЕВИЧ?

ОТВЕТ: ГУРЕВИЧ Евгений Зиновьевич являлся студентом Московского института пищевой промышленности, познакомилась с ним осенью 1949 года через одну девочку по имени Мила (фамилии не знаю). Из бесед с ГУРЕВИЧЕМ я узнала, что он так же, как и я, увлекается гуманитарными науками, и это обстоятельство нас сближало. Впоследствии между нами установились хорошие, дружеские взаимоотношения. Он заходил ко мне на квартиру, где мы часто беседовали о

литературе, искусстве и естествознании. Кроме того, ГУРЕВИЧ особенно увлекался философией и много мне рассказывал о предмете и что изучает эта наука.

В дальнейшем, встречаясь с ГУРЕВИЧЕМ, мне почему-то бросилась в глаза резкая перемена в его взглядах на окружающую жизнь.

ВОПРОС: А именно?

ОТВЕТ: В беседах со мной он стал касаться главным образом вопросов внутренней и внешней политики Советского Союза и высказывал мне антисоветские троцкистские настроения.

Вначале я к этому относилась безразлично, а затем спросила, почему он быстро изменился в своих взглядах. На это он ответил, что я его мало знаю, и рассказал, что антисоветские взгляды у него появились еще в 1947 — 1948 гг., когда он учился в 9-м классе, но тогда эти нездоровые настроения своего развития не получили. За последнее же время, продолжал ГУРЕВИЧ, когда он познакомился с неким Борисом (как я узнала впоследствии, это был СЛУЦКИЙ), у него вновь ожили антисоветские настроения.

ВОПРОС: Вы были знакомы с Борисом СЛУЦКИМ?

ОТВЕТ: Нет, лично со СЛУЦКИМ я знакома не была, о нем мне рассказывал ГУРЕВИЧ.

ВОПРОС: Что вам говорил о нем ГУРЕВИЧ?

ОТВЕТ: Летом 1950 г. я вместе с ГУРЕВИЧЕМ ходила в кино. В фойе кинотеатра ГУРЕВИЧ рассказал, что с Борисом СЛУЦКИМ он познакомился на консультации в университете, куда они оба хотели поступить учиться. Слуцкого он охарактеризовал как антисоветски настроенную личность и сообщил, что его отец в прошлом являлся убежденным троцкистом, а в период войны якобы погиб на фронте.

Вскоре после этого ГУРЕВИЧ позвонил мне на квартиру, и мы по телефону договорились встретиться на улице. Прогуливаясь по Москве, ГУРЕВИЧ мне сообщил, что он продолжает со СЛУЦКИМ встречаться и что в результате неоднократных бесед с ним на антисоветские темы он, ГУРЕВИЧ, окончательно попал под влияние СЛУЦКОГО и полностью разделяет его антисоветские взгляды.

По словам ГУРЕВИЧА, СЛУЦКИЙ якобы ему «доказал», что Троцкий будто бы был выдающейся личностью в истории и что он много делал полезного для победы революции в России. В процессе дальнейшей беседы ГУРЕВИЧ, изливая гнусную клевету на советскую действительность и руководителей ВКП(б), прямо заявил, что свою жизнь он теперь посвятит борьбе с существующим в СССР государственным строем и восстановлению исторической правды о Троцком, пострадавшем якобы за дело «мировой революции».

В заключение нашей беседы ГУРЕВИЧ мне заявил: «Ты должна быть или со мной, или мы больше никогда не увидимся».

ВОПРОС: И вы, конечно, согласились с предложением ГУРЕВИЧА А о проведении вражеской работы?

ОТВЕТ: Хотя я и разделяла антисоветские взгляды ГУРЕВИЧА, но его предложением о проведении организованной антисоветской работы я была ошеломлена и просто растерялась. Поэтому я тогда положительного ответа ему не дала, а заявила, что этот вопрос нужно сначала изучить, а затем уже высказать по нему свое мнение. За такой ответ ГУРЕВИЧ меня похвалил и сказал, что я правильно поступила, не дав ему сразу положительного ответа, так как этот вопрос очень серьезный и сразу его решать нельзя. После этого ГУРЕВИЧ посоветовал мне как следует продумать его предложение, а затем свое решение сообщить ему.

Через некоторое время я вновь встретила с ГУРЕВИЧЕМ и сообщила ему о своем согласии вести борьбу с советской властью. ГУРЕВИЧ, одобрив мой поступок, заявил, что антисоветская организация уже создана и с этого момента я являюсь ее членом.

ВОПРОС: Что вам сообщил ГУРЕВИЧ об антисоветской организации, в которую вы вступили?

ОТВЕТ: Я интересовалась у него, много ли участников состоит в организации, на это ГУРЕВИЧ ответил, что о личном составе антисоветской организации он говорить не имеет права, но в ней, по его словам, состоит несколько десятков человек и что они уже создали так называемый «организационный комитет» («ОК»), в который вошли СЛУЦКИЙ, он - ГУРЕВИЧ и МЕЛЬНИКОВ.

Впоследствии антисоветская организация была названа «Союзом борьбы за дело революции» («СДР»).

ВОПРОС: Какую преступную работу вы вели в троцкистской организации?

ОТВЕТ: Являясь членом троцкистской организации «СДР», я переписала «манифест» организации, в котором возводилась злобная клевета на советскую власть и излагались методы борьбы против существующего в СССР государственного строя. Другой работы в «СДР» я не проводила.

ВОПРОС: Вы неоткровенны. Показывайте правду до конца!

ОТВЕТ: О своем участии в троцкистской организации «СДР» я показываю правду. В ноябре 1950 года в нашей организации произошли разногласия, и из нее я вместе с ГУРЕВИЧЕМ и МЕЛЬНИКОВЫМ вышла.

ВОПРОС: Почему?

ОТВЕТ; В организации возникли разногласия между членами «ОК» СЛУЦКИМ и ГУРЕВИЧЕМ. В частности, СЛУЦКИЙ предлагал вражескую работу организации строить путем проведения антисоветской агитации, а ГУРЕВИЧ отстаивал метод пропаганды. В результате произошел раскол в «СДР».

В ноябре 1950 года на нелегальном сборище у меня в квартире, где присутствовали ГУРЕВИЧ, МЕЛЬНИКОВ и я, мы создали другую молодежную троцкистскую организацию, именовавшуюся «Группа освобождения рабочего класса», в которой я и состояла до дня ареста.

Допрос окончен в 3 ч. 30 мин.

Протокол допроса мною прочитан.

Записано с моих слов правильно

(Рейф)

ДОПРОСИЛ: СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ МГБ СССР

Подполковник (ЕВДОКИМОВ)

Утро в тюрьме начинается ночью. Стук открываемой кормушки, резкий окрик: «Подъем!»

— Не может быть! Мне почудилось, ведь я совсем не успела поспать. Кажется, что только что привели от следователя.

Сознание снова погружается в сон, но не полностью. Где-то вдали грохочут кормушки в других камерах, глухо раздается повторяемое монотонно: «Подъем», «Подъем», «Подъем». — Я не шевелюсь, но меня гложет страх, что снова прозвучит ненавистный окрик — окрик, как удар. Лучше встать, не дожидаясь приказа. Удивительно, как сразу начинаешь покоряться чужой воле — своя сломлена. Ни тени протеста, по крайней мере, видимого. Так было со мной и с большинством. Огрызались единицы. Я убеждалась в этом снова и снова все пять лет заключения.

В окне ночь, подсвеченная тюремными прожекторами. Сейчас особенно уныло и холодно в камере. Движения мои замедлены, скованы неотпускающим сном. Надо умыться, надо заправить койку, надо сделать зарядку. Механически подчиняюсь этому «надо». Несколько вялых упражнений не освобождают от сонливости. Бесплезная борьба: я измучена многими ночными допросами. Подобное утро — это еще один вид пытки. Кутаясь в пальто, я сажусь на койку — хоть немного подремать сидя. Но это можно делать только с открытыми глазами, лицо должно быть повернуто так, чтобы надзорка всегда видела глаза, и глаза должны быть открыты.

Любой поворот головы в сторону от глазка, и снова окрик в кормушку: «Поверните голову! Не спать!» Ну что ж, можно спать и с открытыми глазами. Можно спать сидя, можно — стоя, можно спать, бредя в колонне заключенных, механически передвигая ноги. Есть много способов обмануть стерегущих. Этой наукой я овладела не сразу. Пока что я научилась спать в крошечном промежутке между равномерными заглядываниями надзирателя в глазок двери.

Вязкая дремота разливается по телу, а слух напряженно ловит приближающиеся тихие шаги по коридору. Остановка у соседней камеры, сейчас я услышу слабый скрип у моей двери. Усилием воли открываю глаза и одновременно слышу звук падающей заслонки глазка. Шаги удаляются, и я снова сплю три-пять минут до следующего шороха и скрипа за дверью. Мучительно и сладко! Эти два чувства, перемежая друг друга, усиливаются невероятно.

Но вот я улавливаю новые звуки, по коридору движется тележка с завтраком. Снова открывается кормушка: «Завтрак!» Я не вижу раздающего еду. Руки ставят на откинутую кормушку пайку черного хлеба, сверху на нее высыпается маленький холмик сахарного песка. Я протягиваю свою зеленую металлическую кружку. Рука берет кружку и возвращает ее назад, полную бурой пахучей жидкости. Это кофе, пахнущий чем угодно, но только не кофе. Напиток приятен хотя бы тем, что он горячий. Сон наконец слетел.

Прихлебывая кофе, с наслаждением жую клеклый хлеб, посыпанный сахаром. Жизнь возвращается! Уже не так мрачно вокруг, сереет окно, и сквозь матовое стекло даже можно угадать отблеск восходящего зимнего солнца. Тушится утомительный электрический свет, который горит в камере всю ночь. Полумрак камеры и пробивающийся дневной свет в окне каким-то образом успокаивают. Самое трудное — начать день, каждое утро наново осознать случившееся. Ну а потом день ползет сам по себе, почти без твоего участия, без усилий.

Можно ли полюбить место своего заключения, одиночку, холодную каменную каморку?! Возвращаясь от следователя, из страшного мира обвинений, угроз, унижений, я оказывалась как бы под защитой стен моей камеры. Это было мое убежище, хоть на короткий срок, на несколько часов, на день. Я потом не раз слышала от заключенных, что и они переживали такое же странное, противоречивое чувство привязанности к месту своего заточения, к месту своего страдания.

Цвет стен моей одиночки был удивительный! Я никогда не думала, что какой-либо цвет может так угнетать. Цвет трудно передаваемый, темно-зеленый с примесью коричневого. Этой отвратительной краской было окрашено все вокруг — и раковина, и унитаз в углу, и миска с кружкой. Высоко под потолком маленькое окно. В матовое стекло впаяна металлическая сетка. Такое стекло трудно разбить, и оно еле-еле пропускает дневной свет. Узкий кусочек неба я могу видеть, когда дежурный открывает длинным крюком форточку-фрамугу. Иногда в эту форточку заглядывает луна.

Прошло шесть бесконечных месяцев с момента моего вселения в эту одиночную камеру. Первые дни я почти не вставала с койки, сидела в неподвижной позе с подъема до отбоя. Всякое активное движение приносило мучительную боль. Больному органу — покой, оцепенеть, не шевелиться, не думать. Последнее оказалось невозможным. Зато я научилась направлять свои мысли туда, куда мне хотелось. Увлекательные путешествия сменялись встречами с друзьями, веселыми вечеринками. Я играла в любимый мною волейбол, каталась на коньках, наряжалась в красивые платья. Я даже заводила романы и ссорилась с кем хотела. Времена года сменяли друг друга по моему желанию. В моем сознании проносились яркие картины обычной жизни, полные красок, запахов, звуков. Я сознательно не разрешала себе думать о случившемся.

Так проходили часы. Грохот открываемой кормушки или скрежет замка в двери током пронизывали тело, возвращая к действительности. Эта жизнь в мечтах, наверное, была защитной реакцией, чтобы не сойти с ума, выжить. Вначале я не притрагивалась к еде, возвращала ее назад. Спала не раздеваясь. Даже пыталась лечь в валенках, но надзорка, заметив, потребовала, чтобы я их сняла. Сырой холод мучил и днем и ночью. На мне было старое зимнее пальто, из которого я уже выросла, и подшитые черные валенки времен моего детства. Эта одежда не согревала, да и грубое солдатское одеяло мало чем могло помочь.

Пытка холодом была первой тюремной пыткой. Чувство голода еще не наступило. Оно подобралось неожиданно. Вдруг не стало хватать пайки хлеба. Четыреста граммов клеклого черного хлеба я с трудом растягивала на полдня. На вечер оставалось самое вкусное — корочка, которую я сосала как можно дольше. Но даже голод не помогал побороть отвращения к рыбному супу, запах которого, разносившийся по всей тюрьме, возвещал о времени ужина. В серой жиже плавали безглазые рыбы головы. Один вид и запах этого кушанья вызывал тошноту и гасил голод. Наверное, ко всему можно привыкнуть, привыкла бы я и к этому гадкому супу. Видно, был еще не настоящий голод, который превратил бы и этот суп в лакомство.

Проходили как во сне самые тяжелые первые дни моего заключения. Сжатое в комок сердце, местоположение которого я впервые стала чувствовать, постепенно начало как бы освобождаться. Мне легче было вдыхать и выдыхать из легких воздух. Мудрое время лечило душу. Однажды в бане я с удивлением увидела свои отекавшие ноги и поняла, что должна двигаться. Сначала приходилось заставлять себя ходить по камере. Считала шаги, давала задание пройти сто шагов от двери к окну и обратно.

Но скоро это стало привычкой, я даже не замечала, сколько времени шагала из угла в угол, пока не чувствовала головокружения и ноги не подкашивались от усталости. По утрам я делала зарядку, перестала отказываться от двадцатиминутной прогулки. Появился определенный ежедневный ритм — жизнь входила в свою новую колею. Не раздавив меня поначалу, ужас одиночки смягчался, растворялся в мелочах тюремных будней.

Я совсем не знаю настоящего времени — отмечаю часы по своей догадке. Подъем в шесть, завтрак в восемь. Между двенадцатью и двумя выводят на пятнадцатидвадцатиминутную прогулку. Можно от нее отказаться, не пойти, что я и делала сперва. Но теперь я с нетерпением жду прогулки — несколько минут видеть небо над головой! Я уже слышу, как выводят из соседних камер. Вот и моя очередь. В отверстие кормушки заглядывает надзорка, одна из немногих, лицо которой мне приятно.

- На прогулку пойдете? - Мне кажется, в глубине ее глаз прячется сочувствие. У нее доброе лицо простой русской женщины, и это выражение доброты отличает ее от других — мрачных, злых, безликих.

Однажды ночью мне приснился сон, собственно, это была скорее галлюцинация: к моей железной койке подошел отец, и я почувствовала его теплую руку на своей голове. Это ощущение было так явственно, что я вскочила и, поняв, что мне все почудилось, разрыдалась. Вдруг открылась кормушка. Я ожидала обычного окрика, но надзирательница, глубоко просунув голову, тихо сказала: «Не плачь, чего убиваться-то? Ты здесь не одна. Посмотри, какая она большая, тюрьма-то! И вся-то она полная!»

На слове « полная» она сделала ударение, и в голосе ее была такая успокаивающая покорность — не ты одна, много таких... Никогда не забуду, каким бальзамом были для меня ее слова! Сам факт, что она со мной заговорила по-человечески — впервые за долгие месяцы, в течение которых я слышала только грубые приказы, - был необыкновенный! Потом при встрече с ней в коридоре после допросов мне казалось, что глаза ее улыбаются. Даже прикосновение ее рук при обыске не было так противно. Я радовалась, когда она дежурила в моем отсеке.

— Да, да, я иду гулять! — Одеваться не надо, и в камере я сижу в накинутом пальто. Дневной свет на секунду ослепляет, морозный воздух спирает дыхание. Я оказываюсь в маленьком квадратном дворике, обнесенном высоким деревянным забором. Доски пригнаны так, что даже щелочки нет, чтобы увидеть свет из соседнего дворика. Иногда слышу шаги гуляющего соседа. Остановиться, прислушаться, полюбоваться небом над головой нельзя, тут же окрик: «Не останавливаться!» Неусыпное око солдата с автоматом над всем комплексом прогулочных дворов.

Он шагает по настилу досок высоко над нами. Ни перекинуться словом, ни бросить записку — такая же одиночная камера, только светло. Летом я выискивала травинки, пробивавшиеся в трещины асфальта. Но когда я попыталась пронести в камеру букет из трех желтых одуванчиков, надзирательница отобрала цветы. «Не нарушайте режим!» — сказала она зло. А не нарушить тюремный режим было трудно, так как все запрещалось.

Многие правила на первых порах казались странными. Перед сном чулки и полотенце надо было повесить на спинку кровати, кружку поставить на тумбочку ручкой к двери, рядом должна лежать алюминиевая ложка, чтобы все это хозяйство

хорошо видел в глазок надзиратель. По прошествии некоторого времени начинаешь понимать механику, особо изощренную, — здесь все должно наталкивать на мысль о самоубийстве и все должно быть направлено на предотвращение его. Полотенцем и, чулками, оказывается, можно удавиться, ручкой от кружки (если удастся оторвать ее) можно зарезаться.

А вот что можно сделать мягкой алюминиевой ложкой? Я бы никогда не догадалась, если бы однажды дежурный по этажу, «старшой», как его называли надзорки, не допытывался строго, зачем я точу ручку от ложки. Я категорически отрицала это, а он тыкал пальцем в тонкие царапины на металле и угрожал доложить о моем проступке следователю. И только когда он ушел, я догадалась, почему появились царапины: этой злополучной ручкой от ложки я резала хлеб. Вот тут стало понятно, что, изловчившись и наточив это «страшное оружие», можно перерезать себе вены. В коридорах тюрьмы лестничный колодец, забранный провисающей сеткой, напоминал и о таком способе самоубийства... если бы не было сеток.

Однажды я услышала звон разбитого стекла в одной из соседних камер. Потом начался переполох в коридорах, раздались крики и отчетливые слова: «Доктора, быстрее!» Шум некоторое время продолжался, были слышны быстрые шаги, встревоженные голоса, потом все стихло. Я сидела в камере, вся обратившись в слух, сердце сжимала боль — моя фантазия рисовала мне все, что произошло в соседней камере. В окно была брошена кружка. И хотя я думала, что стекло с впаянной проволокой нельзя разбить, какой-то несчастный, видимо, попытался это сделать и успешно воспользовался осколком... Целый вечер я не могла успокоиться — все мерещились крики, стоны. Камера казалась особенно мрачной, а моя судьба — особенно безнадежной.

Еще одна трагедия разыгралась в тюрьме (хотела было сказать «на моих глазах», но все происходило «на моих ушах»). В течение долгого времени, может быть нескольких недель, я слышала, как человек постепенно сходил с ума. Из одной и той же камеры мужской голос сначала спокойно, но громко и настойчиво чего-то требовал. Первые дни я не разбирала слов. К нему вызывали старшего по этажу, и все стихало. Через несколько дней тот же голос настаивал, чтобы его отвели к следователю.

Потом я слышала этот голос сквозь рыдания и смогла разобрать слова: «Почему мне не предъявляют обвинения? Почему меня держат здесь без предъявления обвинения?!» Несколько дней из камеры раздавался сдавленный плач. А еще через некоторое время этот голос уже кричал как в припадке. В камеру вошли, и было слышно, как ему затыкают рот и, наверное, связывают. Потом мычащего его протащили мимо моей двери. Больше я никогда не слышала голоса этого человека.

С тех пор прошло больше тридцати лет, но память сохранила этот тяжкий груз: все звуки, все запахи, все краски — все ужасы тюрьмы.

Но порой слух приносил и радостные известия: приближается вкусный обед, вернее, вкусным был неизменный борщ, где были все овощи и даже клюква, единственно

уберегавшие нас от цинги. Или едет тяжелая тележка ларька — это развлечение было раз в две недели (разрешили мне пользоваться этим сказочным для тюрьмы заведением только через полгода после ареста). Чувство неотступного голода наконец прошло. На тумбочке появились диковинные вещи: белый хлеб, кусковой сахар, печенье и даже леденцы!

Но самое замечательное, что вместе с ларьком разрешено было получать книги из тюремной библиотеки. Каждые одиннадцать дней уже с утра я вся обращалась в слух, ловила за дверью каждый шорох. Книжная повозка подъезжала с особым, ни с чем не сравнимым звуком. Схватив свои три книжки, прочитанные уже по нескольку раз, я кидалась к открывающейся кормушке:

«Книги!» Я слышала это слово еще у соседних камер. Отдаю три старых, и взамен на кормушку кладут три новых. Опять я вижу только руки — что эти руки выберут мне на этот раз? Даже сердце замирает, хорошие ли будут книги, ведь от этого зависит моя жизнь в следующие одиннадцать дней! Сначала оцениваю толщину книг — толстые как правило, лучше, дольше можно читать. Но еще лучик поэзия, с детства я любила учить стихи и декламировать. А здесь в тюрьме память особенно обострена — все так и укладывается в голове без всякого усилия. «Евгения Онегина» я уже знаю почти наизусть, запоминаю с легкостью куски прозы.

Иногда попадались книги, на первый взгляд совершенно неподходящие. Почему-то в тюремной библиотеке оказалось много журналов «Альпинист». Я никогда не интересовалась альпинизмом, но, так как выбора не было, начала читать и очень скоро оказалась во власти увлекательных приключений, подъемов и спусков, покорения больших и малых пиков. Я карабкалась вместе с группами спортсменов, где все, связанные одной веревкой, зависели друг от друга. Висела над пропастью, цеплялась за еле заметные выступы в скалах.

Дух захватывало — все было реальнее окружавшей действительности. Номера альманаха попадались мне несколько раз, и я полюбила такое чтение, эти книги особенно мне запомнились. Вообще библиотека была куцая и жалкая. Потом мне «посчастливилось» сравнить библиотеку Лефортовской военной тюрьмы с библиотекой «изысканнейшей» из тюрем — Лубянки. Вот там было что почитать! Но об этом после. А пока в моей первой одиночке любые книги приносили мне несказанное удовольствие.

В камере всегда недостает света: днем — солнечного, вечером — электрического. Но для молодых глаз это не преграда. Как совсем недавно я растягивала пайку хлеба на день, так теперь я смакую книги, останавливаюсь, возвращаюсь назад, повторяю отрывок наизусть — только бы не упереться в последнюю страницу. Но и в этом случае не все потеряно, иногда есть комментарии (раньше я их вовсе не замечала), теперь эта часть книги мной особенно почитается, и познавательно, и... еще не закрыта книжная обложка. Когда перейден и этот последний рубеж, книга открывается сначала. Обычно оставалось еще пять-шесть дней до смены книг, когда я начинала читать по второму разу, а там что-то и в третий раз.

Развлекала я себя и играми. Например, составляла слова из букв одного слова. Делала замысловатые фигурки из конфетных оберток. Летом иногда залетали в открытую форточку мухи. Вот была радость! Я становилась «пытливым натуралистом», следила за каждым движением насекомых, пока пленницы не выбирались на свободу. Наверное, я и клопу была бы рада в своем одиночестве.

Одно из развлечений, которое очень помогало мне несколько месяцев, было перестукивание с соседней камерой. К сожалению, я не была готова к тюремной жизни и азбуку Морзе заранее не выучила. Как я об этом жалела! Правда, моя соседка, возможно, тоже азбукой не владела. Одним словом, надо было изобретать свой собственный код. Вначале я хотела, чтобы на мой стук мне просто ответили стуком. Усевшись глубоко на койке, так чтобы спиной почти касаться стены, и накинув пальто для маскировки, я тихо постучала костяшками пальцев, держа руку за спиной. Замерев, я ждала ответа, но его не последовало. Несколько раз в течение недели я повторяла свой зов безрезультатно, Я была уже готова смириться со своей судьбой, как вдруг услышала стук в стену напротив меня. Подождав, пока надзорка опустит заслонку глазка, а ее шаги начнут удаляться, я подошла к стене и постучала в ответ. Мне снова ответили стуком.

Пожалуй, это была первая настоящая радость за последнее время — кто-то за стеной хочет завязать со мной знакомство! Но как это сделать? Койку перенести я не могу, нужен благовидный предлог. Я ломала себе голову и наконец придумала. Вызвав старшего, я пожаловалась, что не могу спать на правом боку, мол, привыкла засыпать на левом (на самом деле все было наоборот, и было мучительно переучивать себя — начиналось сердцебиение, и я просыпалась от кошмаров). Как ни странно, просьбу исполнили и перенесли койку к противоположной стене. Систематически перестукиваться я стала не сразу. Чтобы не вызвать подозрений, несколько дней только отвечала стуком на стук моей соседки.

Все ходила по камере и обдумывала способ передачи слов. Но как я ни старалась, кроме самого простого шифра, ничего придумать не смогла. Суть его была в порядковом номере каждой буквы в алфавите: а — 1, б — 2, в — 3 и так далее, я — 32. Способ этот очень громоздкий, легко можно было сбиться со счета. Но, как ни странно, моя соседка сразу поняла азбуку, и очень скоро мы наловчились вести маленькие диалоги. Если ошибешься, надо постучать дважды и начинать снова. Конечно, много не скажешь таким способом, да и стучать надо было с перерывами, прислушиваясь к приближению надзорки. Но все же это было увлекательное занятие — беседа с невидимым человеком, подобным тебе, не враждебным, как все окружавшие меня «видимые».

Я сразу же полюбила мою невидимую соседку и ждала «встречи» с ней уже с утра. Я узнала ее имя и фамилию (почему-то имя в памяти не сохранилось). Фамилия ее была Нелидова. На воле у нее остался маленький ребенок, за которого она ужасно волновалась. Мы описали друг другу свою внешность. Когда я простучала о себе: высокая, с темными вьющимися косами, нос прямой, глаза серые, брови черные, в ответ соседка простучала: «Так вы же красавица!» Это было очень смешно, но я была польщена. Однажды было особенно тяжело на душе, и я простучала ей одно

слово — «тоска»! В ответ Нелидова пыталась меня успокоить, я прислушивалась к каким-то добрым, ласковым словам, от чего становилось хоть немного легче.

Но наше общение было недолгим. Неожиданно открылась дверь и вошел свирепый сержант — старший по этажу. Только он имел право входить в камеру.

— Вы зачем стучите в стену? Не знаете, что это запрещено в тюрьме! — Я что-то промямлила в ответ, и он ушел со словами: — Об этом будет доложено следователю.

В ту же ночь меня вызвали к следователю, в то время им уже был полковник Шиловский.

— Вы что вздумали нарушать режим? К своим пробиваетесь?! — тон его был мирный, и я попыталась пожаловаться на гнетущее одиночество, этим объясняя свой проступок.

— Вас за это в карцер надо посадить. Но на первый раз я прощаю. Думаю, что с вами это больше не повторится. Вот у меня есть другая подследственная, так это фрукт почище вас. Настоящая Фанни Каплан — фамилия ее Улановская. Ее уже не раз в карцер сажали и смиренную рубашку ей надевали.

Он явно намекал на то, что ждет меня при слушании. Потом я узнала, что больше всех издевательств выпало на долю Майи Улановской, но она и не вела себя покорной овцой, вроде меня. Не знаю, как бы все сложилось дальше, может быть, жажда общения поборола бы страх наказания, и я еще попыталась бы стучать. Но на другой день утром мою койку перенесли к противоположной стене. Два удара кулаком в стену Нелидовой были отчаянным прощанием. Видно, и у нее были неприятности — больше она мне не постучала. И ни одна лагерная дорога не привела нас к встрече!

Никогда не забыть мне слабый стук в стену, создававший иллюзию разговора. На считанные минуты исчезало угнетающее непрерывно одиночество, рядом была родная душа с той же бедой. Вот когда я часто вспоминала поговорку: «На миру и смерть красна». Я мечтала о лагере, как о спасении. Что бы там ни было, но только с людьми! Потом я узнала, что не все из нас сидели в одиночках. Причины были разные — одним подсадили «наседок-стукачей», чтобы больше выведать, у других начались галлюцинации, и, видимо, боялись за их психику, а кому-то просто повезло, следователь сжалился. Трудно уяснить, что руководило нашими карателями. Испытывали ли они чувство сострадания к нам — ведь перед ними были почти дети, 16— 19 лет. Да и чистоту наших побуждений они не могли не понимать. Машина, в которую попали мы, держала и их в железных тисках, диктуя свои нормы поведения. Из всех пяти лет моего заключения самыми тяжелыми были пятнадцать месяцев одиночки.

Особенно долго и мучительно тянулось время вечером. Окно начинало темнеть и превращалось в черный квадрат. Тусклый электрический свет и коричнево-зеленые стены создавали мрачный колорит. Подкрадывалось уже знакомое чувство страха:

если не вызвали к следователю днем, могут вызвать ночью. Пытаюсь читать, но книга не отвлекает от тяжелых мыслей. То и дело ловлю себя на том, что глаза попусту скользят по строчкам, даже страницы переворачиваю, но ничего не могу вспомнить из прочитанного. Возвращается одно и то же ощущение какой-то нелепости — как я могла здесь очутиться?! Ведь мне была приготовлена совсем другая судьба! Жизнь, окружавшая меня, казалась прочной, благополучной. Невероятная случайность, наваждение какое-то. Сейчас тряхну головой, закричу, вскочу — и страшный сон кончится!

Не первый раз за эти месяцы мною вдруг обуревают ярость. Я еле сдерживаю крик, кусаю пальцы. В голове больно стучит одна мысль: случайность, ошибка, дурацкое стечение обстоятельств. Поверни я за другой угол, откажись от встречи, не скажи вот именно это слово — и все было бы хорошо, по-прежнему. Я была бы с людьми, с простыми советскими гражданами — как они, как все, как миллионы! Так ли уж я отличалась от окружавших меня людей? В полном отчаянии я начинаю метаться по камере — шесть шагов к двери, шесть к окну. Как маятник, из угла в угол, пока не начинает кружиться голова. Сколько прошло времени? Скорей бы отбой и хоть немного забыться сном. Может быть, ночного допроса не будет, и всю ночь дадут поспать. Прислушиваюсь к тюремной тишине.

В это время жизнь замирает, не слышно стука дверей, скрежета замков, к следователям не вызывают. Мерно шаркают по коридору шаги надзирателей. Иногда я четко знаю, что вместо обычных женщин-надзирательниц дежурит мужчина (видимо, это нарушение их собственных правил). Пользование парашей в этом случае — сущая мука, угол, где она стоит, виден так же хорошо, как и все остальное.

Но вот дважды щелкает электрический выключатель за дверью, лампочка под потолком гаснет и зажигается вновь. Это и есть долгожданный «отбой», можно наконец лечь и уснуть. Заставляю себя умыться. Механически повторяю обычный ритуал, поворачиваю кружку ручкой к двери, проверяю, видна ли ложка, развешиваю на спинке кровати чулки, полотенце. Да от такой жизни лучше отказаться — умереть легче. Но эта мысль приходит, видимо, потому, что ей полагается прийти, предписано режимом. А жить-то мне ужасно хочется, и надежда никогда меня не покидает: все как-то образуется.

Сворачиваюсь калачиком под холодным, колючим одеялом, ноги почти у подбородка, руками обнимаю плечи. Но ничего не помогает — коченею от холода. Последнее ухищрение: вдыхаю воздух снаружи, а выдыхаю под одеялом. В этот момент надзорка заметила нарушение правил. Гремит открывающаяся кормушка: «Руки положите поверх одеяла!» Я ненавижу ее тусклый голос, ненавижу ее саму! Мне становится жарко от приступа обиды и ненависти. Выпрастываю руки и лежу, уставившись в потолок.

Если бы хоть немного можно было отдохнуть от света! Голая тусклая лампа, окруженная проволочной сеткой, сейчас кажется утомительно яркой. Взгляд скользит по потолку — каждая неровность, трещинка отвратительно знакомы. Я могла бы составить «топографическую карту» камеры, стен, потолка, двери. Через

много лет меня поразило описание тюремной камеры в романе Набокова «Приглашение на казнь». Он, никогда не переживавший одиночного заключения, видел каждую деталь моими глазами. Даже зарешеченная лампа была, как и у Набокова, несимметрична и вызывала раздражение именно своей асимметрией, которую глаз постоянно подмечал.

Из правого угла над скрытой батареей на меня всегда смотрела странная маска. Она сложилась однажды из каких-то выпуклостей на стене. И теперь стоит мне остановить взгляд на этом месте, как я тотчас встречаюсь глазами с этим изображением. Благодаря глубоким теням лицо кажется живым. Угол рта искривлен в недоброй гримасе. Мне страшно видеть это лицо, и я закрываю глаза. Вот еще один день позади — бесконечный тюремный день. На один день я ближе к свободе.

ВСТРЕЧА С АБАКУМОВЫМ

День начался как обычно. Уже две ночи подряд я сплю положенные по тюремному режиму часы — от отбоя до подъема. Следовательно про меня забыл, не вызывает ни днем, ни ночью. Вот бы и сегодня провести целый день без «потрясений». Как приятно знать хотя бы на один день вперед, что тебя ожидает. Мне не принадлежит даже следующая минута. Желание мое так скромно — прожить этот день в строгих рамках режима, наедине с собой, со своими мыслями и книгами. Я бы даже назвала такой день счастливым.

Счастливым для заключенного. Вместо обычного для человека знания, что он будет делать хотя бы сегодня, я ощущаю себя жалкой марионеткой на веревочке: дерг — и меня вырвали из дома, дерг — и меня ведут куда-то, еще раз дернут за веревку — и окажусь я скоро далеко-далеко от Москвы. Ничего теперь не зависит ни от моей воли, ни от моих усилий, ни от моего желания. Я полностью лишена выбора, с этим трудно смириться! Мысленно я все время возвращаюсь к этим катастрофическим изменениям в моей жизни — мысли изводят меня, обессиливают. Надо о чем-нибудь помечтать, просто «сбежать» из камеры. Кто может меня задержать!

Но сегодня путешествие «за пределы тюрьмы» не удалось, какое-то беспокойство не дает мне покоя. Почему-то меня не водили на прогулку. Наверное, сильный мороз — из открытой ненадолго фрамуги тянуло холодом. Без этого развлечения особенно длинным кажется день. За дверью то и дело слышу хлопанье флажков регулировщика тюремным движением. Флажки хлопают, как далекие выстрелы. К этим звукам прибавляется скрежет замков открываемых и закрываемых камер, кого-то уводят, кого-то приводят. Деловая тюремная обстановка. То и дело мне кажется, что тяжелые шаги конвоя задерживаются у моей двери. Напряженно вслушиваюсь, но нет, на этот раз пронесло, не за мной, пришли за кем-то другим.

Вот и долгожданный звук повозки с обедом. Полдня миновало, авось, и оставшаяся половина так же пройдет. Вкусный борщ настроил на благодушный лад. Тревога, терзавшая меня, улетучилась, и я углубилась в привычное занятие — «сортировку»

каши. Надо потрудиться, чтобы съесть ложку чистого пшена. Половина порции состояла из несъедобного сора. Работа над кашей меня так увлекла, что поворот ключа в замке прозвучал совершенно неожиданно, я не слышала ни шагов, ни тихого разговора за дверью. Обед прерван — не удалось сегодня провести день в покое. Теперь я даже рада, дамоклов меч упал, и это лучше, чем ожидание его падения.

По правилам, встаю перед вошедшим солдатом. «Ваша фамилия, имя, отчество?» — обычный вопрос конвоя. Молодой парень, сержант, безразлично смотрит на меня. А я пытаюсь вспомнить, водил ли он уже меня к следователю. Трудно сказать. Все конвоиры так похожи друг на друга, розово-пороссячьи деревенские лица без тени мысли на челе. Все как на подбор коренастые, низкорослые. «Собирайтесь с пальто!» Это уже что-то новое. Куда-то повезут из тюрьмы. Уж лучше бы к моему хоть и малоприятному, но уже привычному следователю. Опять неизвестность, ничего хорошего не предвещающая.

Надеваю пальто и выхожу из камеры. Наш путь по лестницам и коридорам закончился у двери, как две капли воды похожей на дверь моей камеры. Гремит замок, и я оказываюсь в крошечной камерке вроде стенного шкафа. Это бокс для ожидания, мне пришлось сидеть в подобном сразу после ареста. Сажусь на скамейку прямо перед дверью. Страх уже начал свою привычную работу, где-то в области желудка, а может быть, и сердца, все сжато судорогой, дрожат колени, стискиваю зубы, чтобы не стучали. Быстрее бы, быстрее бы увезли куда угодно, только бы не ждать! Так проходит час, а может быть, мне только кажется, что время остановилось. В упор на меня смотрит глаз, он мигает, долго изучая меня, я опускаю голову.

Наконец дверь открывается. «Фамилия, имя, отчество. Проходите!» — Меня выводят во двор. Сразу перед дверью стоит машина — черный фургон. Зимние сумерки не дают разглядеть ничего вокруг, да и времени нет. Задняя дверь фургона открыта. Я забираюсь по лесенке и оказываюсь в крошечной клетке. Металлическая скамейка, металлические стены, вместо глазка — решетка. Дверь захлопывается. Я слышу, как за мной следом в соседние клетки заводят других людей. Отрывистые команды за стеной: «Вперед! Проходите! Не разговаривать!» Грохочет запираемая наружная дверь, и машина трогается.

В такой тесноте и кромешной тьме я еще не находилась! Тонкие стены машины пропускают все звуки улицы, гудки, звон трамваев, шум колес, и даже людские голоса можно уловить. Мы едем по улицам Москвы, вокруг нормальная жизнь, люди проходят мимо и не подозревают, кого везет эта черная машина. Тогда я не знала, что еду в знаменитом «черном вороне», машине, ставшей известной всему миру. «Ворон» не всегда был черный, часто он окрашивался в веселые тона и получал название «Хлеб», «Мясо». С такой личиной он и разъезжал по городу, развозя свой необычный груз.

Шум улицы растравил душу — с трудом сдерживаю слезы. Но вот машина резко свернула и остановилась. По очереди выводят пассажиров. На улице уже темно. Снова оказываюсь в боксе, ничем не отличающемся от предыдущего. И снова долгое

ожидание. Когда меня вывели наконец из бокса, от усталости у меня подкашивались ноги.

На этот раз ведут меня два конвоира — один впереди, а другой позади. Мы поднимаемся на лифте. Выходим. Яркий электрический свет режет глаза. Все вокруг необычайно нарядно, широкий коридор устлан ковровой дорожкой, высокие двери по обеим сторонам. Хорошо одетые женщины то появляются, то исчезают за этими дверьми. Впервые за долгое время вижу людей не в военной форме. Где же я нахожусь? В какой-то особой тюрьме?

«Станьте лицом к стене!» — командует конвоир. Мы остановились около двери, обитой с особым шиком. Стою носом к стене ни жива ни мертва! В такой момент, приблизительно в эти же годы, моя приятельница сделала интересное открытие. Она об этом рассказала мне уже в лагере. Повернувшись по приказанию к стене лицом, она вдруг увидела стенную газету Министерства государственной безопасности (тогда она поняла, где находится), В нижнем углу газеты помещался традиционный «Уголок сатиры и юмора».

За столом был изображен следователь, с мольбой взиравший на потолок. Над головой его витали мысли: «Господи, пошли мне ужасное преступление!! Если ты не пошлешь, я сам его выдумаю!» Как все нормальные люди, сотрудники этого заведения не лишены были чувства юмора. А смеялись они над тем, над чем нормальные люди смеяться не могли. Моя приятельница была потрясена этой шуткой — ее-то дело было полностью выдумано. Мне подобная газета на глаза не попала.

Я терялась в догадках: куда меня привезли? Конвой вошел в дверь — видимо, доложил о моем прибытии. Дверь распахнулась, и мне приказали войти. Я оказалась в большой приемной, Стулья вдоль стен, две женщины за столами с пишущими машинками. Передо мной открылась следующая дверь. На пороге от удивления я остановилась: такого огромного кабинета мне не приходилось видеть. Посередине — сверкающий полировкой длинный стол для заседаний. Где-то далеко на «горизонте» стоял массивный письменный стол, к которому меня подвели и усадили за маленький столик рядом. Прямо передо мной над письменным столом огромный портрет Сталина в мундире генералиссимуса.

Давно я не видела это мудрое и доброе лицо. Занявшись разглядыванием портрета, я не заметила появления двух человек. Один — в военном кителе, тяжелый, большой, со светлой шевелюрой. Другой — высокий, стройный, с седыми, серебристыми волосами. Почему-то мое внимание привлек этот, последний: уж очень элегантный на нем был костюм, и лицо интеллигентное, давно такого не видела. Но не он был главной фигурой в комнате. За письменным столом по-хозяйски расположился грузный военный. На погонах три больших звезды — генерал. Некоторое время он шелестел бумагами на столе, передвигал предметы, точно так же, как делал мой следователь. Потом поднял глаза и несколько секунд внимательно меня разглядывал. Наконец, прервав мучительное молчание, спросил:

— Ваша фамилия Рейф? Кто ваши родители? — Голос прозвучал мягко, устало.

— Да, — ответила я, — мой отец работает в Министерстве монтажных и специальных строительных работ, мать — домашняя хозяйка.

— Ваши родители знали о существовании антисоветской организации?

— Нет, я никогда им об этом не говорила — эту фразу я повторяла уже много раз на всех допросах.

Важный генерал явно задавал вопросы для проформы, его не интересовали мои ответы, ведь то же самое меня спрашивали следователи, и все было записано в протоколах допросов. Наступила пауза, после которой каким-то иным, игривым тоном, генерал задал следующий вопрос:

— А кто у вас там за кем ухаживал?

Как выяснилось на следствии, романические отношения играли не последнюю роль в решении некоторых девушек вступить в организацию. Эту тему следователи смаковали с особым удовольствием, одновременно пытаюсь представить всех нас аморальными людьми. Немало издевательств выпало и на мою долю.

Неужели опять все снова? Я никого из членов организации не знала, кроме Гуревича и Мельникова. Женя Гуревич мне нравился. И об этом «важном» факте известно следствию, думаю я. Зачем он спрашивает? Снова пауза, со страхом жду следующего вопроса. Но неожиданно генерал встает. В дверях появляется конвой. «Можете идти», — безразличным голосом говорит генерал. Аудиенция закончена. На пути в тюрьму мои мысли заняты таинственным седым свидетелем моего разговора с генералом. Он не проронил ни единого слова. Кто же он такой? Генерал меня не так интересовал — он из той же компании, что и все мои следователи, конвоиры, надзиратели. А кто же был этот, с виду интеллигентный, как принято говорить, человек?

На первом же допросе следователь объявил мне, что я была удостоена чести говорить с самим Абакумовым, министром госбезопасности. На меня это сообщение не произвело особого впечатления — я уже давно понимала, что нами интересуются на самом верху!

Могла ли я вообразить, покидая с заложенными назад руками кабинет всесильного министра, что через несколько месяцев, в июле 51-го года, он разделит мою участь — палач и его жертвы будут сидеть в одной тюрьме. Абакумов пройдет через карцер, избиения и будет расстрелян вместе со своими помощниками.

Никогда ни до ни после этой истории мне не доводилось встречаться с советскими властителями. С детских лет моя мама внушала нам быть подальше от власть имущих. Многолетний опыт показал, что, забравшись на высоту и обладая вожаделенной властью, они сами скользили над пропастью, куда рано или поздно

попадали по злой воле себе подобных. Этот сценарий повторялся слишком часто, чтобы не стать правилом.

Я И БЕРИЯ

Следователь ярился. Бега по огромному кабинету, он накачивал себя злобой. Его одутловатое, мучнистое лицо, покрытое рыжими веснушками, постепенно краснело и распухало. На лбу вздулась синяя жила. Мне казалось, что его сейчас хватит удар. Но внешние признаки не отражали внутреннего состояния полковника Шиловского. Это был лишь один из приемов воздействия — хорошо отретпетированный и много раз испытанный. Доведя себя до нужного градуса, он подбегал к моему столику и с размаху ударял кулаком по столешнице.

— Встать! Хватит заператься! Следствию все равно все известно. — В углах его искривленного рта белеет слюна, мне противно видеть это, но отвести взгляд я не в силах — цепкие рыжие глаза приклеиваются к моему лицу. Я покорно стою в ожидании конца уже не раз повторяющейся сцены.

Что кричит следователь, меня уже не интересует — полгода идет следствие, одни и те же вопросы повторяются из ночи в ночь. Допросы чаще всего ночью. Сначала я удивлялась, а потом поняла, что это вид пытки и многими годами выработанный стиль работы. Ночью все страшнее, безысходное, ночью легче сломать волю. Опытные психологи изучили, когда надо разбудить человека, чтобы сильнее травмировать его. Около двенадцати часов ночи резкий голос в кормушку возвращает только что погрузившееся в глубокий сон сознание.

— Приготовьтесь к следователю!

Несколько секунд не понимаю, где я. Сажу на койке оглушенная. Все силы уходят на бесполезные попытки унять дрожь во всем теле. Иногда в ожидании конвоя я сижу так долго, что начинаю засыпать. Снова грохот, на этот раз открывается дверь и входит солдат-конвоир.

— Очки есть? — спрашивает он: на ночь очки у заключенных отбирают. Однажды спросонья говорю «есть», и он уходит за очками. Потом с руганью возвращается:

— Чего голову морочите! — А я даже не могу сообразить, что произошло.

— Выходи из камеры! Руки назад!

Команды мне уже не нужны, все делаю автоматически, привыкла, так даже удобнее ходить. Идем по узким металлическим коридорам. Вдоль стен тянутся бесконечные грубые железные двери с опущенными заслонками глазков. За каждой тлеет чья-то жизнь. По мягкой дорожке от одной двери к другой неспешно движется надзирательница - сапоги, гимнастерка, берет на голове и серый блин вместо лица.

Каждую минуту она прикидывает к очередному глазку и несколько секунд изучает свою подопечную. О чем думает она в этот момент, что чувствует? Сознание исполняемого долга, наверное, вытесняет все другие чувства. А может быть, и это ей недоступно. Просто в тюрьме платят больше денег, чем в других местах, особые пайки, привилегии — вот и весь секрет ее психологии.

Сейчас я надзорку не интересую, ответственность за меня несет конвой. Безразличный ее взгляд скользит по мне, не задерживаясь. Я прохожу мимо. Моя камера на пятом этаже. Глубоко внизу, на дне лестничного колодца, регулировщик резко взмахивает флажками — путь свободен.

— Проходите! — командует мой конвоир. — Направо! Стойте! Повернитесь лицом к стене! — Снова треск флажков и щелканье пальцев — кого-то ведут. Служба передвижения поставлена великолепно, за пятнадцать месяцев в Лефортовской тюрьме я ни разу не столкнулась ни с одним заключенным. Сначала ждала такой встречи, хоть на секунду встретить подобного себе. Потом перестала надеяться — машина работала без перебоев.

Еще поворот. Спускаемся все ниже и ниже. Какой следователь ждет меня этой ночью? Целый месяц не вызывали, что-то произошло — может быть, следствие закончено, и я сейчас подпишу обвинительное заключение. Тогда останется только суд, и все самое страшное будет позади. Отправят в лагерь года на три, в крайнем случае на пять. Почему-то именно эти сроки соответствовали моему представлению о справедливом наказании, для меня в частности. Но меня ждала ужасная неожиданность.

Мы в следственном отсеке тюрьмы — мягкие дорожки, двери обиты черным дерматином. Тишина. За каждой дверью создается дело, большое или маленькое. Никто не выйдет из этих стен без кучи статей, одна другой страшнее. Все предreshено, арестован — значит, виноват. «Был бы подсудимый, а статья найдется», — весело шутят советские блюстители закона.

С волнением замечаю, что забрели мы с моим щелкунчиком (так прозвала я конвоиров, щелкающих пальцами для сигнализации) в незнакомый коридор. Все здесь солиднее, дорожки, двери, их обивка. Вспоминаю мое путешествие к Абакумову, там тоже все было нарядно. Неужели опять какой-то чин захотел со мной познакомиться?

— Стойте лицом к стене! — прерывает мои мысли конвой. Открыв дверь и доложив о прибытии, он приказывает мне войти. Дверь за моей спиной тихо закрывается. Я оглядываю большой кабинет, прежние были узкими и длинными. И письменный стол здесь другой — с двумя тумбами, не похожий на ученический, за которым строчил протоколы допросов подполковник Евдокимов.

Тучный человек в военной форме, не глядя на меня, бросает в пространство: «Проходите, садитесь». Усаживаюсь на свое привычное место, оно одинаково во всех кабинетах — от министра до мелкого следователя: шаткий столик и твердый стул за

ним. Сидим друг перед другом, молчим. Каждый поглощен своим делом: я занимаюсь самовнушением, чтобы как-то унять дрожь, справиться с дыханием, военный что-то пишет, не поднимая головы, перебирает бумаги на столе.

Я уже привыкла, что на допросах на тебя обращают внимание не сразу. Следовательно углублен в сложнейшую работу, у него совсем нет времени на тебя, ты ему вовсе не нужна. Следствию все известно. Допрос, протоколы — утомительная проформа. Постепенно я все яснее вижу линию поведения, которой все эти люди придерживаются. Их роднит не только форма — язык, на котором они изъясняются, демагогия, выдаваемая за глубокие мысли, выражение глаз, черты лица, даже рост у них сходный — какой-то средний, не высокий и не низкий. Мой предыдущий следователь во время ночных допросов никогда не произносил никаких слов, кроме «войдите, садитесь», обращенных ко мне, и «уведите заключенную», адресованных конвою.

Это была пытка бессонницей, ничем, кроме подчинения инструкции, не объяснимая. Для ведения нашего дела в ночных допросах не было ни малейшей необходимости — мы выкладывали все как на духу, даже то, что во сне снилось. Ночь за ночью — допросы или безмолвные свидания. Возвращали в камеру на рассвете. Измученная, я валилась на койку, а через три часа снова грохот кормушки: «Подъем!» Но, не имея ни одного собеседника, кроме моего пьянчужки следователя, я странным образом привязалась к нему. И вот мы расстались навсегда — больше я никогда не встречала подполковника Евдокимова.

Сейчас передо мной сидит новый следователь. У меня есть время его рассмотреть — рыжеватый, невыразительное лицо с размытыми чертами. Вдруг я обратила внимание на погоны — три большие звезды, кажется полковник. Все другие, с которыми я встречалась, были ниже званием. Что значит для меня высокий чин нового хозяина? Ломаю голову — может быть, это прокурор или адвокат. Тут я замечаю, что меня внимательно изучают рыжие глаза. Военный поднимается и медленно подходит к моему столику.

— Моя фамилия Шиловский, я ваш новый следователь. — Его манера вливаться глазами неприятна, я съеживаюсь под его взглядом. — До сих пор вы вели себя плохо, изолгались вконец, пытаетесь утаить важнейшие детали вашего преступления. Когда же вы образумитесь?! Ведь мы о вас знаем все, и намного больше, чем знает каждый из вашей группы. Поэтому ваше заpiresательство бессмысленно. — Слова текут, цепляясь одно за другое, то же говорили и другие следователи. Сейчас я почти не слышу его нудный голос. Рассматриваю его вблизи: старый, в перхоти, противный, глаза рыжие в веснушках, а руки мясника, с толстыми короткими пальцами.

Но вдруг я улавливаю новые слова: «...Ваша террористическая организация. Бандиты! Убийцы!» Этого еще никто не говорил. Я насторожилась — новая мелодия в уже, казалось, законченной симфонии. Голос следователя звучал все громче, он явно взвинчивал себя, чтобы разразиться криком: «Хватит притворяться овцой! Признавайтесь, когда и как хотели убить члена правительства?!»

Сначала я не поняла, о чем он говорит. Наверное, опять маневр, чтобы морально уничтожить. Но следователь продолжал кричать. Он опрометью бросился к столу, схватил лист бумаги и, подбежав ко мне, потребовал, чтобы я нарисовала план расположения дома Берия.

Только тут я начала понимать, что нас стараются обвинить по новой статье. Прежние я себе уже уяснила: антисоветская агитация и организация. Теперь прибавляется еще что-то ужасное — я не знала, как это называется. На листе бумаги рисую улицу Качалова, на которой прожила всю жизнь. Бывшая Малая Никитская, идущая от Никитских ворот до площади Восстания, бывшей Кудринской. Мирная, тихая улица старой Москвы, где почти каждый дом связан с историей, с чьим-то именем. Ближе к Никитским воротам стоит обшарпанная, вечно обнесенная забором церковь, где венчался Пушкин. Вдоль улицы несколько прекрасных старинных особняков, в некоторых из них расположены посольства.

А вот в конце, у Садового кольца, стоит таинственный особняк, всегда охраняемый мрачными людьми в штатском. Это дом Берии. Его показывали знакомым как одну из достопримечательностей улицы. Многие жители из окружающих домов видели министра выходящим из машины у дверей дома. Мой отец, приходя днем домой обедать, часто сообщал: «Сегодня мы вместе с Лаврентием Павловичем обедаем, только что видел, как он подъехал к дому». Это была шутка — обедать в одно время с Богом!

Берия ездил всегда на трех машинах («Бог ездил в пяти машинах», как писал позднее поэт Б. Слуцкий о Сталине). То ли он менял их, чтобы труднее было установить, в какой из трех сидит главный пассажир, то ли две крайние охраняли среднюю. Люди боялись этого дома, холодок пробежал по спине, когда проходили мимо безликих «топтунгов», сверлящих прохожих настороженным взглядом.

Помню историю, случившуюся с известным пианистом Арнольдом Капланом. Однажды он шел с сыном из детского сада. У самого дома Берии их застал проливной дождь. Чтобы как-то спастись от него, они прижались к стене дома под навесом. Вдруг над их головами открылось окно, и из него высунулся сам Берия. Мягким голосом он предложил отцу и мальчику зайти в подъезд переждать дождь. И тут пятилетний грубиян выпалил в лицо всесильного министра привычную фразу из лексикона детского сада: «Уйди, а то в морду дам!»

Обомлевший отец схватил малыша на руки и бежал не переводя дыхания вдоль всей улицы до Никитских ворот, ожидая погони. Этот трагикомический случай очень характерен. Все боялись карающей руки органов, как бы они ни назывались: ЧК, НКВД, МГБ, КГБ... Ты ни в чем не виноват, но это не имеет никакого значения — кто-то ТАМ решит, где тебе быть — на воле или за решеткой, вернуться или навсегда исчезнуть. Почти не было семьи, где кто-то уже не пострадал или не ждал своей очереди. Моя семья не была исключением: уже отсидел три года мой дядя, муж маминой сестры.

Он чудом отделался так легко, повезло — посадили в «мягкие» времена. От меня этот факт тщательно скрывали. И вообще о том, что происходит вокруг, я мало знала. Но страх носился в воздухе, и, проходя мимо дома Берии, я бессознательно отворачивалась, никогда не рассматривала страшный дом, стараясь пройти как можно быстрее.

И вот приказ: «Нарисуйте план дома Берии!» Рисую улицу, квадратик дома — больше ничего не знаю. Следовательно стоит над моей головой. Снова окрик: «Встать! Ты — террористка! Не притворяйся, рисуй, где вход, выход, все подробности. Когда ты планировала убить министра?» Оружий рот на уровне моего лица: «Вы все грязные террористы! Твои сообщники уже сознались».

Из моих глаз текут беззвучные слезы. Крик меня пугает. Может быть, кто-то и хотел убить Берию, у меня таких мыслей не было. Следовательно отворачивается и медленно идет к своему столу — сцена разыграна и закончена. Нажимается кнопка: «Конвой, увести заключенную!»

Длинный обратный путь из следственного отдела в тюрьму. Я подхожу к своей камере. Конвоир сдает меня, что называется, из рук в руки, в буквальном смысле. Процедура, к которой невозможно привыкнуть, хотя она повторяется изо дня в день. Прежде чем впустить в камеру, надзорка ощупывает меня с ног до головы — и это тоже буквально! Отвратительные руки скользят по моему телу, они копаются в косах, обглаживают грудь, бедра, ноги.

— Поднимите руки! — ощупываются подмышки. — Снимите обувь! — вытряхиваются валенки. Ничего не упущено. Странно, что не раздевают догола! Но что можно унести от следователя? Думаю, что это скорее не предосторожность, а еще одно унижение. Сколько их уже обрушилось на мою голову: весь тюремный быт — сплошные унижения. Срезаны все пуговицы в моей одежде, не на чем держаться чулкам, отобрано собственное белье, и я ношу грубое солдатское, включая кальсоны.

Проверка закончена, я наконец в своей камере. Долго не могу заснуть. Такого допроса у меня еще не было. Оказывается, наша организация террористическая! Я в это сразу поверила, ведь я ничего толком о деятельности организации не знала. Мимолетный разговор с Женей я похоронила на дне моей памяти в надежде, что и Женя о нем не помнит. Что же успели совершить мои однодельцы? Одно было ясно, следствие еще не закончилось и, видимо, перешло в какую-то новую стадию. Со страхом я думала о следующих допросах. Одно соседство с Берией приносит несчастье! Угораздило нас поселиться на одной с ним улице! Правда, мы переехали в наш дом значительно раньше, чем Берия обосновался в своем. Неужели этот крикливый полковник действительно подозревает меня в террористических намерениях?

Мои опасения были напрасны — имя Берии в последующих допросах больше не упоминалось. Забегая вперед, могу добавить, что по возвращении домой через пять лет своего злодея-соседа я уже не застала. Особняк стоял неухоженный,

облупившийся, со слепыми, задернутыми плотными занавесками окнами. К нашему удовольствию, на одну достопримечательность стало меньше на исторической улице Качалова, бывшей Малой Никитской. Через некоторое время старый особняк отремонтировали, и мы с любопытством ожидали, кто же займет «почетную» резиденцию. Но, видимо, охотников не нашлось. На двери дома скоро появилась табличка с надписью: «Приют для вьетнамских сирот». Прохожие посмеивались — дом отмаливает грехи бывшего хозяина.

Закончу я эту главу историей, которая хоть и не имела прямого отношения к моим тюремным злоключениям, но разворачивалась неподалеку от злополучного особняка и явилась как бы эхом моего ареста. Ее подробности я узнала, конечно, много позднее.

В тюремной камере я часто вспоминала о черных печатях, оставленных на дверях двух из трех комнат моей квартиры, и представляла, как каждый из членов семьи поминутно утыкается глазами в эти темные кружочки, словно нарочно оставленные Госбезопасностью в качестве ее соглядатаев.

Что переживает оставшаяся на воле семья арестованного? Остракизм, потерю привычного круга, опасения недавних друзей, соседей встретиться взглядом, обменяться приветствиями. К этому прибавляется еще и постоянный страх за свою работу: не выгнали сразу, выгонят потом или сошлют в какой-нибудь медвежий угол. Зыбкость и неопределенность положения, в котором оказались мои близкие, ни на минуту не оставляла меня в покое.

Мысль же о том, что семья вынуждена ютиться в единственной комнате, похожей на тесно заставленный мебельный склад, еще больше растравляла душу. Но судьба оказалась милостива к моим родным, что было редкостью по тем временам. А то, что случилось с квартирой, можно и вовсе отнести к разряду «обыкновенного чуда». А началось все примерно так.

В один невзрачный ноябрьский денек, когда следствие было еще, можно сказать, в разгаре, появились в нашей квартире два человека в штатском в сопровождении коменданта дома. Подойдя к дверям опечатанных комнат, они подергали ручки и, убедившись, что все в порядке, сорвали сургучные печати. Раскрыв на мгновение двери и заглянув в комнаты, они заперли их снова и, вручив ключ коменданту и ничего не объясняя, удалились.

Мама, которая во все годы моего отсутствия полностью взвалила на свои плечи хлопоты по казенным домам, попробовала ткнуться в приемную на Кузнецком мосту, но никаких вразумительных объяснений не получила. И лишь постепенно, по крохам, по скупому оброненным фразам вырисовалась наконец подлинная подоплека этой необычной даже для тех лет квартирной сделки между двумя высокими ведомствами — МГБ и хозяйством Верховного Совета СССР, в чьем ведении находился наш дом.

Оказывается, хозуправление, не дожидаясь конца следствия, обратилось с ходатайством в МГБ — передать в их распоряжение изъятые при аресте комнаты. По-видимому, в их планы входило предложить нашей семье какую-нибудь пустующую однокомнатную квартиру, а эту, трехкомнатную (по тем временам — предел мечтаний для многих), предоставить кому-то из своих сотрудников.

Вероятно, эта неожиданно нависшая над моими домашними угроза была не так страшна по сравнению с внезапной трагедией моего ареста. Но все же нельзя забывать, что «квартирный вопрос» был всегда одним из самых болезненных для москвичей, как это еще в романе М.Булгакова отметил незабвенный Воланд.

Кто-то из знакомых посоветовал поискать общий язык с домуправом, а в качестве ключика к его сердцу отнести ему домой целого жареного гуся. Неопытная и беспомощная в таких делах мама вняла мудрому совету, но при этом так переволновалась, что ее пришлось потом отпаивать валерьянкой. Домуправ гуся, однако, взял и даже по-соседски посочувствовал нашему горю, но признался, что в этом деле замешаны более высокие должностные лица, а от него, увы, мало что зависит.

И вот тогда опять же кому-то из близких пришла в голову дерзкая идея: а вы подайте в суд. Как в суд? На кого? На Верховный Совет?! И кому, семье врага народа, пусть даже еще и не осужденного? (В ту пору последняя деталь практического значения не имела.) От одной этой мысли холодело под ложечкой. Однако решено было все-таки рискнуть, тем более что подвернулся опытный юрист-жилищник, довольно известный московский адвокат, взявшийся вести это дело.

Первый раунд этого удивительного противостояния в народном суде Советского района Москвы мои родители выиграли! Я не знаю и, видимо, никогда не узнаю, какие чувства боролись в душе судьи Флягина, вынесшего решение в пользу опальной и опасной семьи, через какие колебания и сомнения должен был он переступить — а ведь понимал, не мог не понимать, чем чреват для него подобный вердикт! — но в нашей семейной памяти имя этого человека навсегда осталось примером личного мужества, да и просто человеческой порядочности, которые можно, оказывается, сберечь и в самые мрачные времена бесправия и произвола. А что Флягин не был исключением, мои родители убедились очень скоро, поскольку квартирная эпопея на этом, увы, не закончилась.

Не желая мириться со своим поражением, всесильное ведомство подало кассационную жалобу в Московский городской суд. В успехе не сомневались: в городском суде у них были свои надежные люди, всегда готовые вынести угодное им решение.

И вот где-то в 20-х числах декабря (а на дворе, напомним, стоял 1951 год) состоялось новое судебное заседание, призванное решить судьбу нашей злосчастной квартиры. С первых же минут председатель суда повел себя так агрессивно, что стало ясно: свой хлеб он отработает. А после того как он в очередной раз грубо оборвал нашего адвоката, тот потерянно шепнул на ухо сидевшей рядом маме: «Боюсь, что они даже

не станут возвращать дело для нового рассмотрения, а сразу вынесут нужное им решение».

Все двигалось к предсказуемой развязке. Зарвавшиеся истцы должны были получить предметный урок, кто есть кто в нашем социалистическом государстве и кому какие права в нем положены. И никто, по-видимому, не обратил внимания на молодую женщину в форме, сидевшую за низким деревянным барьерчиком чуть в стороне, у боковой стены зала, и тоже до поры до времени никак не заявлявшую о своем присутствии. И только когда председатель суда, окончив речь, готовился вместе с заседателями удалиться в комнату для совещаний, женщина встала.

Не знаю, каким счастливым ветром занесло ее в тот день именно на это заседание Мосгорсуда, но то была прокурор по надзору Авилова, лицо, призванное следить за соблюдением процессуальных норм судопроизводства и по своему усмотрению посещать выборочно те или иные заседания. Итак, женщина встала. Председатель недоуменно оглянулся и с досадой посмотрел на часы. Очевидное, как Божий день, дело не требовало, по его разумению, никакого прокурорского комментария. Отпора с ее стороны он не ждал и подавно. Тем неожиданнее прозвучала в притихшем зале ее короткая гневная речь.

Да, дело ясное, заявила она. Но ясно в нем лишь то, что грубо нарушена законность. Арестованная не имела своей отдельной жилплощади, а проживала в квартире вместе с семьей, и, значит, для изъятия комнат не было никаких юридических оснований. Сказав это, она спокойно вернулась на свое место. Суд удалился на совещание.

Длилось оно на этот раз необычно долго. Через плотно закрытые двери в зал доносились голоса явно повышенной тональности. Видно, председатель прилагал отчаянные усилия, чтобы уломать заупрямившихся заседателей.

Воспользовавшись паузой, мама подошла, чтобы поблагодарить неожиданную заступницу. «Не волнуйтесь, — успокоила та, — теперь все будет в порядке. Эх, вот только девчонку жалко...»

Сколько лет прошло, а и сейчас еще комок подступает к горлу от этой как бы невзначай брошенной в присутственном зале фразы. Но не только прокурор по надзору показала себя в тот день безупречно порядочным человеком. Не меньше мужества обнаружили и неизвестные нам заседатели. Это стало ясно, когда наконец двери распахнулись и за судейским столом появились члены городской коллегии. Председатель был красен и зол. Не поднимая глаз от листка бумаги, читал он, словно с усилием выталкивая из себя, текст принятого постановления. А мама и наш адвокат сидели, затаив дыхание, и боялись верить своей неправдоподобной удаче.

А через неделю наш большой, в полтораэта квартир, дом готовился к встрече Нового года, и в этот вечер в двух наших словно наглухо зашторенных окнах, обращенных прямо в шахту двора, внезапно зажегся свет. И дом ахнул. «Что, Алла вернулась?» — шепотом задавали соседи моим родителям один и тот же вопрос. Те в ответ лишь

грустно качали головой. «А тогда... в чем же дело?» Но не принято было в ту пору делиться такого рода подробностями. И бедные мама и папа только загадочно улыбались в ответ.

КОНЕЦ СЛЕДСТВИЯ

Медленно тянулась вторая зима моего заключения. Все реже и реже вызывал следователь. Я привыкла быть одна. Заведенный, как механизм, распорядок дня, однообразие и монотонность убаюкивали, отупляли. Душевная боль, мучившая первые месяцы, забралась куда-то вглубь и притаилась. Я понимала, что там, наверху, за обитыми дверями в огромных кабинетах плетутся нити моей судьбы, но так как ничего хорошего не ждала, то и не очень торопила время.

На прогулках, когда смеркалось, я с интересом разглядывала освещенные окна тюрьмы. Все они светились по-разному, одни — тусклым, желтоватым светом, другие — ярким, белым, а в некоторых камерах, мне чудилось, горели еще дополнительные лампы, может быть даже настольные. Какие люди сидят за этими решетчатыми окнами? За что они здесь? Я слышала еще на воле, что много в советских тюрьмах невинных. Конечно, здесь есть и виноватые, думала я, но никто не совершил такого страшного преступления, как мы.

Чувство вины давило меня постоянно, оно возникло, как я позже узнала, почти у всех членов нашей группы сразу после ареста и не покидало нас весь период следствия, вплоть до вынесения приговора. Я не думаю, чтобы у следователей было хоть малейшее намерение перевоспитывать нас, но во время многочисленных допросов, изо дня в день общаясь только с ними, мы, конечно, попадали под их влияние. На свободе догматические, штампованные доводы, наверное, не произвели бы на меня ни малейшего впечатления. Но тут, угнетенная одиночеством, терзаемая виной перед близкими, я была податлива, как глина. Моя уверенность в правоте наших мыслей и намерений быстро улетучилась.

— Как ты могла поднять руку на свою Родину, которая тебя растила и воспитывала?!
— патетически восклицал мой первый следователь, Евдокимов.

— Где ты видела несправедливость? В том, что люди еще плохо живут? Так ведь война какая была! Страна еще не оправилась. Тоже мне революционеры сопливые!
— заключал он мирно. Такие беседы следователь вел только подвыпивши. Вид у него в это время был расстроенный, осоловелые глаза смотрели на меня с жалостью. Однажды, расчувствовавшись, он погладил меня по голове и как-то очень горячо сказал: — Была бы моя воля, отодрал бы тебя за косы и отпустил бы домой! — Видно, вырвалось это признание помимо его воли, в подпитии.

Никогда больше он не совершал подобной опасной для него оплошности. Летом Евдокимов иногда открывал передо мной окно настежь, и я вдруг видела в отдалении зеленую улицу, трамваи, по-летнему одетых людей. Я обмирала при виде

этой жизни, которая идет за стенами тюрьмы без меня. Делалось это, я думаю, не для моего развлечения, а чтобы больше растравить душу.

«Действительно, он прав, как я могла совершить такое преступление?! Все бред — никаких нарушений заветов Ленина, о которых говорили мои товарищи, нет и в помине. А Сталин заслужил всенародное поклонение, ведь только благодаря его мудрости мы победили фашистов и благодаря ему я живу на свете: Гитлер уничтожил бы и меня, и всех-всех евреев. Как же я посмела усомниться!» — раскаяние сжигало меня.

Оно было совершенно искренним, я не старалась демонстрировать его перед следователями, мне не приходило в голову смягчать свою вину. В камере я плакала, читая «Молодую гвардию» Фадеева, — вот это настоящие герои, они отдали жизнь за Родину, а я ее предала! Еще больше терзали меня мысли о моей вине перед семьей — что теперь с ними со всеми будет?!

В таком состоянии раскаяния были многие из нас, поэтому неудивительно, что следователи вытягивали из нас всю информацию, какая им была нужна. В порыве откровенности мы рассказывали о самых потаенных мыслях, о которых никто не знал, говорили о душевных беседах с разными людьми, открывали семейные тайны и т.д. и т.п. Молчание в одиночке сменялось в следственных кабинетах потоком слов, похожим на исповедь. Следователи были в восторге — о таком легком и выигрышном деле можно было только мечтать! Неважно, что «страшным» преступникам, «антисоветским выродкам» всего 16—19 лет.

На бумаге все выглядело далеко не так наивно, как в наших устах. Формулировки в протоколах звучали зловеще! Под пером следователей наши раздумья, сомнения, самые идеалистические мотивы, объясняющие поступки, — все превращалось в холодный перечень злонамеренных преступлений. В записи, сделанной следователем, сплошь да рядом я не узнавала своих ответов на его вопросы. Трудно сейчас поверить, но иной раз, немного поартачившись, я соглашалась подписать протокол допроса, который мало походил на то, что я говорила, только потому, что жалела своего пьянчужку следователя. Я видела, как он с каждой бумажкой бежит за одобрением к начальству, часто все переделывает и опять показывает. Мне казалось не таким уж важным, будет ли все в протоколе выражено моими словами или канцелярским языком (который на самом деле менял смысл).

Однажды я долго не хотела подписывать очередной протокол допроса. Речь шла о моем отношении к восхвалению Сталина. Набор возражений был очень примитивный: Ленин не одобрял такого отношения к кому бы то ни было, славословия выглядят как подхалимаж, настоящие коммунисты аскетичны и скромны и так далее. Но, конечно, я ни минуты не сомневалась, что самому Сталину это неприятно, все делается помимо его воли карьеристами и подхалимами. Говорила я горячо, мое возмущение обожествлением даже такого великого вождя, как Сталин, было неподдельным.

Мысли эти были моими собственными, никем не внушенными. Евдокимов долго слушал меня не перебивая. Потом сел за стол и стал писать. Когда он положил передо мной написанный крупным, школьным почерком протокол, я с удивлением увидела, что ни одного моего слова там не было. Вместо моего длинного монолога написана короткая фраза: «Клеветала на члена правительства». Я возмутилась и попросила записать мою «клевету», в чем она выражалась. Но Евдокимов заявил, что не может повторять преступные слова. И как я ни доказывала, что клеветы никакой во всем сказанном мной нет, он твердо стоял на своем. Измученная бесплодным спором, я подписала и этот протокол.

Судя по тому, как беззлобно общался со мной Евдокимов, он был, в обычном понимании этого слова, человеком добрым. Простецкий, малообразованный, он с усердием нес свою службу. Он был бы таким же добросовестным счетоводом в колхозе, но судьбе угодно было сделать его винтиком адской машины — людской мясорубки. И Евдокимов покорно нес свой нелегкий крест, пропуская несколько стопок водки в день для бодрости. Трудная у него была работа, изо дня в день, из ночи в ночь тянуть из подследственных нужные показания, переписывать десятки раз протоколы, угождать вышестоящему начальству.

Он был один из десятков тысяч подобных ему, среднего роста, с невыразительными мелкими чертами лица. Как должен был бы врезаться в память этот мой единственный собеседник, с которым я проводила долгие часы и днем и ночью! Между тем я не только сейчас, но и очень скоро после следствия не могла вспомнить его лица. Он был типичным представителем людей своего круга, я бы сказала — класса, принадлежность к которому в романтические годы революции была почетной. Чекисты с чистой совестью! Но почет и слава (больше выдуманная) давно сменились мрачной таинственностью. Неизменным осталось одно — опасность! Страшный, смертельный рок висел над всеми, кто принадлежал к этому классу карателей. За редким исключением, рано или поздно высшее правосудие свершалось над каждым из них.

А пока шла будничная работа, и ее было очень много, недаром сказала мне симпатичная надзорка: «Смотри, какая тюрьма большая! И вся-то она полная!» Очередной мой визит к Евдокимову оказался последним, а я и не подозревала. Мне давно казалось, что он уже выпросил все возможное и больше нам разговаривать не о чем. Обо всех моих родных и знакомых он получил исчерпывающие сведения, все они до единого — честные советские люди, горячие патриоты, и ни одного сомнительного слова я от них не слышала. Не думаю, чтобы следователь верил мне, но в этом случае записал все, что я сказала. Он провел большую «исследовательскую» работу с моими и родительскими телефонными книжками. О каждом записанном абоненте поинтересовался, но не только у меня, а также и где-то в своих анналах.

— Почему вы скрыли, что приятель вашей семьи Олендер был за границей? — спросил следователь однажды. Я вовсе не скрывала этого, а просто не знала.

Много вопросов было курьезных:

— Кто у вас работает в цирке, кто в гастрономе номер один?

— Да никто! Мы записали телефоны, чтобы справляться о билетах, заказывать продукты.

Мои ответы его удовлетворяли, интересовался он каждым номером телефона по обязанности. Наши телефонные книжки были толстые, многолетние, и работа над ними занимала у бедняги следователя уйму времени. Но работа есть работа, и он делал ее добросовестно.

Убедилась я все же, что «и на старуху бывает проруха». В этом полицейском государстве, где на каждого человека заведено подробнейшее досье, можно было иногда сохранить тайну. В нашей семье была такая «ужасная тайна»: родная сестра отца жила за границей. В начале революции она с мужем перешла границу на Днестре и осталась жить в Румынии. Связи между нами почти не было. Но все же до войны мы изредка переписывались, и тетя Вера однажды приехала в Москву как туристка. Я ее помню смутно. Но она навезла такую уйму замечательных вещей, одарив ими всех родных, что всю жизнь меня окружали вещи (скатерти, пальто, шляпы), которые так и назывались «Верины»: «Я одену Верину кофточку», «Возьми Верину сумку», «Поставь на стол Верину солонку» и т.д.

О встрече с любым иностранцем советский гражданин обязан сообщить «куда следует», что и сделал папин кузен после свидания с тетей Верой. За свою дисциплинированность он был наказан, у него было много неприятностей. Мой отец никому ничего не сказал, и... о чудо! — его никогда не спросили об этом визите. В анкетах, в графе «есть ли родственники за границей?» он немного дрожащей рукой выводил слово «нет», и все шло гладко. А ведь его проверяли, и не раз, на своем посту начальника планового отдела главка он был всегда засекречен.

На следствии я была в панике, что эта семейная тайна обнаружится, и если отца не посадят за меня, то его обязательно посадят за сокрытие связей с заграницей. На первых допросах я с ужасом ждала, что мне вот-вот зададут вопрос о тетке. Но время шло, а меня никто об этом не спрашивал. Постепенно я успокоилась и поняла, что иногда что-то ускользает и от «всевидающего ока». Зато меня ужасно мучил следователь, давая понять, что сам отец рассказал, будто воспитывал дочь в антисоветском духе.

Я не поддавалась на провокации и тупо повторяла одно и то же: мои родители — настоящие советские люди. Быть просто советским человеком — мало, надо было быть «настоящим советским человеком». Что под этим подразумевалось? Верность системе, покорность, согласие? Каждый понимал по-своему. Когда создавалась наша организация, нам всем казалось, что мы и есть «самые настоящие» (собственно, так и было!), что бороться с существующим режимом и есть верность коммунистическим идеям. Следствие не интересовалось нашими истинными взглядами, устремлениями — надо было представить нас врагами, и этому было подчинено все.

Когда всплыл вопрос о терроре, я сказать не могу. Во всяком случае, я ни разу не упомянула о разговорах с Женей Гуревичем на эту тему. Я и тогда считала их глупым мальчишеством. Только оказавшись у нового «хозяина», полковника Шиловского, я поняла, что террористические настроения Жени или кого-то другого из участников группы известны следствию. После нескольких тяжелых допросов, не добившись от меня прока, Шиловский отступился.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА арестованной Рейф Аллы Евгеньевны от 2 ноября 1951 года

РЕИФ А.Е., 1931 года рожд. уроженка гор. Киева, еврейка, гражданка СССР, член ВЛКСМ. До ареста — студентка заочного отделения Государственного педагогического института им. Ленина Допрос начат в 22.30

ВОПРОС: При аресте у вас изъята рукопись, начинающаяся словами: «Протокол 1 ОК», которая, как установлено экспертизой, выполнена лично вами.

Вы помните содержание этого «протокола»?

ОТВЕТ: «Протокол № 1» написан мною на антисоветском сборище, происходившем у меня на квартире по ул. Качалова, во второй половине ноября 1950 года. В сборище помимо меня участвовали ГУРЕВИЧ и МЕЛЬНИКОВ.

Не ручаюсь, могу ли я точно воспроизвести содержание этого протокола», но то, что помню, назову.

В «протоколе» были зафиксированы основные вопросы, обсуждавшиеся на сборище и получившие единодушное одобрение: принято название организации; утверждены так называемые «тезисы», распределены обязанности, которые мы должны были выполнять во вновь созданной организации; принято решение сделать гектограф и написать антисоветскую книжку под названием «Государственный капитализм».

Наши фамилии в «протоколе» обозначены псевдонимами: моя - КИРСАНОВА, ГУРЕВИЧ - ВОИНОВ, МЕЛЬНИКОВ - ТУЛИН.

ВОПРОС: Какова же конечная цель была вашей организации?

ОТВЕТ: Прямо мне об этом ГУРЕВИЧ не говорил. Однако еще до вступления в организацию он высказывал мысли о том, что предстоит война капиталистических стран против СССР, в которой Советский Союз будто бы должен потерпеть поражение.

Кроме того, ГУРЕВИЧ, возводя клевету на советскую действительность, заявлял также о том, что в будущем неминуемо произойдет-де восстание против Советского правительства.

Все эти отрывочные вражеские высказывания ГУРЕВИЧА сводились к тому, что в СССР в конечном итоге произойдет замена существующему государственному строю, чему мы должны содействовать своей подрывной деятельностью.

ВОПРОС: Вот о своей подрывной деятельности вы показали далеко не полно, умолчав о таких методах борьбы, как террор против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.

В конце концов, вы будете откровенны перед следствием?

ОТВЕТ: Я все время рассказываю следствию о своих преступлениях откровенно и правдиво. О террористических методах борьбы мне ничего не известно.

ВОПРОС: Вы являлись участницей еврейской националистической организации. Почему вы об этом ничего не говорите?

ОТВЕТ: Я не знала, что организация «СДР», а также «СОРК», являлась еврейской националистической.

ВОПРОС: Ваши сообщники кто по национальности?

ОТВЕТ: МЕЛЬНИКОВ, ГУРЕВИЧ и СЛУЦКИЙ, которых я знала как участников антисоветской организации, по национальности евреи. Кто по национальности остальные участники организации, мне неизвестно.

ВОПРОС: Вы и ваши сообщники имели националистические взгляды?

ОТВЕТ: ГУРЕВИЧ мне конкретных фактов в подтверждение этого не приводил.

Я лично националистических взглядов не имею.

ВОПРОС: При аресте у вас изъято стихотворение националистического характера.

Кто автор этого стихотворения?

ОТВЕТ: Изъятое у меня стихотворение действительно по своему содержанию националистическое. Это стихотворение я переписала с рукописи, ходившей по рукам в школе. Кому принадлежала рукопись, не помню, так как с момента переписки прошло 3—4 года, и не знаю, кто автор ее.

ВОПРОС: Выходит, вы 3 — 4 года хранили у себя националистическое стихотворение?

ОТВЕТ: Да.

ВОПРОС: И распространяли его среди знакомых?

ОТВЕТ: Нет стихотворение, о котором идет речь, я никому читать не давала.

ВОПРОС: Но хранили эту писанину потому, что она соответствовала вашим взглядам?

ОТВЕТ: Храня стихотворение, я усматривала в содержании его только выражение протеста против антисемитов. О том, что оно является националистическим я поняла только на следствии.

Допрос окончен в 2.00 3/XI-51 г.

Допросил: СТ.СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ

ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ

МГБ СССР - полковник (ШИЛОВСКИЙ)

Через некоторое время Шиловский устроил мне две очные ставки — с Владиком Мельниковым и Женей Гуревичем. Оба мне показались ужасно изменившимися. Я так волновалась во время этих коротких встреч, что почти ничего не запомнила. Обычно на допросах, кроме следователя, никого не было. Иногда заходил кто-нибудь из коллег поточить ляды. В этот день в кабинете Шиловского, недалеко от него, сидела молодая женщина. Она не подняла головы, когда меня ввели. Я села за свой привычный шаткий столик в углу кабинета.

— Сейчас у вас будет очная ставка с вашим сообщником Гуревичем. Порядок такой: ни одного лишнего слова, только ответы на мои вопросы. Понятно?

Я кивнула и замерла. Сейчас введут Женю. Мы не виделись много месяцев. Последняя наша встреча была в другой жизни. Как он выглядит? Наверное, бритый. А как я сама выгляжу? Мне казалось, что я ужасно постарела, стала совсем некрасивая. Вошел конвоир и доложил о прибытии заключенного.

— Введите! — сказал Шиловский.

В комнату вошел Женя. Он показался мне еще меньше прежнего, на вид ему можно было дать лет шестнадцать, не больше. От природы невысокий и щуплый, он выглядел сейчас совсем ребенком. На желтом, осунувшемся лице остались одни глаза. Мы поздоровались кивком головы, и он сел на стул, поставленный посреди комнаты. Что было дальше — я не помню. Какие вопросы задавал следователь, что мы отвечали — полный провал памяти.

Наверное, ничего серьезного на этой очной ставке не происходило следствие шло к концу, все было выпрошено, следователь выполнял установленную проформу. Положены были очные ставки — их надо было подшить к делу. Всего несколько раз я встретила глазами с Женей. На его лице застыла виноватая улыбка. Мы не сказали друг другу ни одного лишнего слова да и сказать нам было нечего. Через несколько минут его увели.

Очная ставка с Владиком Мельниковым тоже была ничем не примечательна. Одна только деталь меня поразила. Многие из нас были убеждены, что дело чести говорить только правду. Причем неважно, что за эту «правду» пострадают десятки людей, что она, правда, отяготит и без того тяжкое наше преступление. «Очиститься от скверны», косить всех и себя по ногам... Я, конечно, не могу поручиться за мотивы поведения каждого из нас, но большинство поступало так в соответствии со своей комсомольской совестью. Слишком глубока была в нас советская закваска, промытые идеологией мозги не могли надолго удерживать критические сомнения в справедливости режима. Во всяком случае, тюрьма оглушила нас страшным образом.

Хорошо помню свое удивление и обиду, когда на очной ставке Владик Мельников категорически оспаривал мое утверждение, что переписала я «манифест», сочиненный Женей, по собственной инициативе (именно так и было — хотела сохранить на память). Владик с металлическими нотками в голосе утверждал, что переписала я по заданию организации. Как оказалось, для решения наших судеб такие детали не имели ни малейшего значения. Но тогда я ужасно переживала, так как выглядела обманщицей, и мой товарищ, не задумываясь, усугублял мою вину. Во имя чего? Такое поведение для многих из нас было очень характерно.

Почти все члены нашей группы тем или иным образом скомпрометировали и свои семьи, и многих друзей и знакомых. К многотомному делу был приложен список двухсот скомпрометированных. Эту цифру я хорошо запомнила, так она меня поразила. Некоторые из этих людей были арестованы и осуждены другие — высланы, а большая часть продолжала жить, не ведая, что на них заведено досье, пополняемое установленной за ними слежкой.

Перед Новым, 1952 годом вызовы к следователю вовсе прекратились. Какое-то время каждый день и каждый вечер я ждала очередного допроса. Но время шло, а кормушка открывалась, только чтобы предупредить о прогулке, бане или в урочный час выдать пищу. Однажды мне принесли подписать обвинительное заключение. Как ни странно, я не помню, как оно выглядело. Потом изо дня в день меня стали водить в кабинет следователя для ознакомления с материалами следствия. Это было увлекательное чтение. Конечно, я не предполагала, в какое грандиозное дело все было оформлено следствием. 32 толстых синих тома перелистала я за эти дни. Все протоколы подряд я не читала, многое пропускала, но в результате знакомства со всеми материалами у меня впервые возникла связная картина.

Много позднее я поняла, какую радость мы доставили органам. Какая ни есть, а ведь настоящая организация! Со всеми атрибутами тайных обществ, с конспирацией, с «манифестом» и «программой», с гектографом и даже с маленьким, правда, немного испорченным, но настоящим пистолетом. Перелистывая том за томом, я читала детективный роман, повесть о революционном подполье, рассказанную каждым из шестнадцати участников и записанную с их слов (хоть и не добросовестно) следователями.

Моя судьба оказалась прочно соединенной с незнакомыми мне юношами и девушками, фотографии которых я с любопытством рассматривала в начале каждого

тома. Все выглядели испуганными, несчастными, с совершенно детским выражением лиц. Сняты мы были с номерами на груди, в фас и в профиль, по всем правилам тюремной канцелярии. Только трое «главарей», как их называли следователи, удостоились больших кабинетных фотографий и выглядели вполне пристойно. Я тут же решила, что с ними захотел познакомиться Сталин и именно поэтому Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревича сфотографировали особым образом.

Может быть, действительно так и было, ведь с министром Абакумовым мы уже имели свидание, а кто еще мог захотеть увидеть таких «матерых» преступников, разве что Берия. В общем, все это неважно, главное, что благодаря распоряжению кого-то остались портреты трех смельчаков, так рано сложивших свои головы. Фотографии эти выдали их несчастным родителям после пересмотра дела в 1956 году.

Теперь уже не помню, сколько дней продолжалось чтение всех томов. Шиловский не обращал на меня внимания. Обычно он сидел за своим огромным письменным столом и что-то писал. Иногда он уходил, оставляя вместо себя конвоира. Со мной наедине оставался молодой паренек моего возраста. Не скрывая любопытства, он меня долго разглядывал. От этого пристального взгляда мне было не по себе. В пятидесятые годы, наверное, почти все надзиратели и конвоиры верили, что перед ними настоящие враги и они несут благородную службу, охраняя Родину от нас.

С этой наивной верой в правоту власти я сталкивалась потом и в лагерях, когда у заключенных был большой контакт с охраной. Иногда с конвоиром или с надзирателем велись задушевные разговоры, и они с удивлением узнавали, что стерегут безвинных людей. Тогда и они рассказывали нам, как их учат ненавидеть заключенных, представляя их кровавыми злодеями. Но такие беседы были редкими; как правило, конвой боялся нас и четко выполнял все правила службы. Правила эти были жестокими, иногда бесчеловечными: одно из них заключенные слышали по нескольку раз в день: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой применяет оружие без предупреждения». И применял...

Ознакомление с делом подходило к концу. Я уже осилила почти все тома с протоколами допросов членов нашей организации, оставались, как меня информировал Шиловский, экспертизы документов, отобранных у нас, почерков и т. д. Долгие вечерние часы до отбоя я вышагивала из угла в угол, вспоминая прочитанное.

Так вот, значит, какая эта организация. Я не знала и десятой доли из того, что происходило в ней и вокруг нее.

... Все началось для меня с незначительного эпизода — моя подруга Галя Чиркова познакомила меня с двумя молодыми людьми. Мы все учились в то время в различных школах, мужских и женских, так что дружба с мальчиками представлялась чем-то из ряда вон выходящим, окруженным романтическим ореолом. В результате девочки редко просто дружили со своими сверстниками, сами собой быстро «закручивались» романы. Те же, у кого их не было, с завистью

смотрели на счастливых, с нетерпением ожидая своего часа. Поначалу Галя держала от меня в тайне своих новых знакомых, пока не выяснилось однажды, что им с ней скучно и что они требуют, чтобы она познакомила их с кем-нибудь из своих подруг. Осенью 1949 года и произошла моя роковая встреча с двумя десятиклассниками — Владимиром Мельниковым и Евгением Гуревичем.

Щуплые, невысокого роста мальчишки вовсе не походили на героев романов, о которых мечтали мои подруги. Не умели они ни ухаживать, ни танцевать, да и провинциальность их мне, «аристократке» из дома Верховного Совета, не могла не броситься в глаза. Моя принадлежность к элите уже четко ощущалась мною в ту пору. Мало жить в Москве, надо еще жить в центре, в особом доме, учиться в школе, где каждая ученица из так называемой интеллигентной семьи, да еще чтобы отец работал не ниже, чем в министерстве. Вот он, эталон!

Под все эти критерии новые знакомые подходили слабо, так что дружба с ними меня поначалу не привлекала. Но мальчишки обнаружили активность, звонили почти каждый день, по вечерам появлялись в моем доме. Оба они были неразлучны и чем-то походили на братьев. Вскоре, однако, я стала замечать, что в их дружбе нет равенства: главным был явно Женя. Яркий, темпераментный, он был большой любитель пофилософствовать, мечтал о философском факультете МГУ. Я смутно представляла, чем может заниматься философ, кроме повторения каких-то азов марксизма, да и об азах этих знала больше понаслышке.

Поэтому многое, о чем говорил мой новый приятель, было мне непонятно и не очень интересно. Но превосходство Жени надо мной здесь было явным, и это не отталкивало, а, наоборот, оказалось притягательным. Особенно покоряла страстность, с какой он говорил о социальных проблемах. Карие лучистые глаза его светились, лицо становилось вдохновенным и мужественным. Он буквально вырастал передо мной в прямом и переносном смысле. Я стала с нетерпением ждать наших встреч.

Мы шатались по вечернему городу, по шумной улице Горького и говорили, говорили. Я заметила, что наши излюбленные темы все больше связаны с критикой советской жизни. Все, что рассказывал Женя, было интересно, а кое о чем я слышала впервые. Оказывается, например, существует завещание Ленина, где тот предостерегает своих сподвижников от Сталина, характер которого уяснил еще тогда. Я узнала о конфликте Сталина с Крупской, об инсценировке процессов 37-го года, о бесчисленных лагерях с миллионами заключенных, разбросанных по всей стране.

Где-то я уже слышала намеки на эти факты, что-то носилось в воздухе, какое-то неуловимое недовольство, тайный страх. Но, пожалуй, впервые я слышала стройную систему обвинений в адрес власти, в адрес режима. У нас вовсе не социализм, а просто государственный капитализм, где вся власть принадлежит партийной бюрократии. Бюрократия эта постоянно попирает и ленинские заветы, и интересы народа. Имя Ленина не сходило с Жениных уст. Вера в его величие и справедливость была незыблемой.

Не согласиться с Женей было невозможно. Нищие в вагонах поездов, старики-пенсионеры, живущие впроголодь (я таких знала), празднично-фальшивая колхозная деревня в книжках и на экране, да и мой собственный дом с чинопоклонением и иерархией его жителей, наконец, антисемитизм, который я все больше ощущала и в школе, и за ее пределами. Но что же делать? Поддерживать видимость веры в окружающую нас ложь, бодрые газетные лозунги, песни, прославляющие великого Сталина? Однако на этот вопрос у Жени, оказывается, был готов ответ. Надо бороться! Как? Об этом пока не говорилось.

Исподволь меня готовили к принятию очень важного решения, хотя я этого и не замечала. Меня покоряли Женина смелость, эрудиция. Он читал Ленина, Плеханова, Маркса, Гегеля. Мне же для начала посоветовал прочесть «Государство и революцию» и «Вопросы ленинизма» Сталина, чтобы убедиться, во что превратилось наше государство и как извращены Сталиным ленинские идеи. Читая и исчеркивая страницы вопросительными и восклицательными знаками (благо книги были из семейной библиотеки), я испытывала радость, встречая куски и фразы, подтверждавшие наши разговоры и мои раздумья. Жизнь стала вдруг увлекательной!

Как долго тянулись теперь школьные занятия. Я ждала встреч с Женей, и только с ним мне было интересно. Мне уже стало казаться, что я к нему равнодушна, и, когда он попросил подарить ему мою фотографию, я уже не сомневалась, что наши отношения переходят в новое качество. Правда, мы почти никогда не встречались с ним без его вечной тени — Владика, но это обстоятельство не мешало обсуждать политические вопросы, интересно было и втроем. Мы ходили по улицам, не замечая прохожих, и говорили, не понижая голоса, о вещах, о которых и думать-то было опасно. Мне и в голову не приходило, что кто-то может нас подслушать. А за нами уже давно была налажена слежка...

Почему-то ребята не познакомили меня ни с кем из своих друзей, зато интересовались моими знакомыми, расспрашивая, как они настроены и кто и какие разделяет взгляды. У меня был приятель Игорь Смелянский, только что поступивший на мехмат университета, который рассказал однажды, что его и некоторых других ребят вызвали в деканат и предложили стать осведомителями. Перспектива стать доносчиком повергала его в отчаяние, но отказаться — значило вылететь из университета, об этом студентам дали понять недвусмысленно. Но однажды он пришел ко мне в необыкновенно радостном настроении и сообщил, что медицинское освидетельствование, слава Богу, освободило его от службы в МГБ, так как обнаружилось пониженное зрение в одном глазу. О Смелянском я рассказала Жене, и он стал настаивать на знакомстве с ним.

Пробежала зима, мы заканчивали школу, уже все мысли наши были о вступительных экзаменах в университет. И я и Женя стремились туда, несмотря на то, что поступить даже в обыкновенный институт молодежи еврейской национальности становилось все труднее и труднее. К тому же конкурс в университет был до двадцати человек на место. Шансов при такой ситуации было, конечно, мало, но все же я решила попытать счастья на биофаке МГУ, а Женя — на философском факультете.

На какое-то время наши встречи прекратились, и только в конце августа мы снова собрались все втроем, как в старые добрые времена. В университет я, конечно, не попала и оказалась на вечернем факультете педагогического института. Женя тоже не прошел по конкурсу и с горя пошел туда, где принимали с уже набранными баллами, — это был пищевой институт. И только Владик оказался на щите: он стал студентом Менделеевского института, куда и стремился.

У каждого началась своя студенческая жизнь, и теперь мы редко виделись друг с другом, лишь иногда общались по телефону.

Но вот в один из дождливых осенних дней Женя вдруг позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем-то взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком в сердце слушала его рассказ о недавно созданной подпольной организации. Ее цель — готовить кадры к грядущей мировой революции. Но революция — дело будущего. Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедливость существующего строя, вести пропаганду и агитацию среди самых разных слоев населения. Я была настолько ошеломлена всем услышанным, что, кажется, не задала ему ни одного вопроса.

— Ты ведь тоже будешь с нами, — уверенно сказал Женя, и я не осмелилась возразить.

Дело принимало неожиданный и опасный оборот, к которому я совершенно не была готова. Но, увлеченный своим рассказом, Женя не заметил моей растерянности и все говорил и говорил без конца. Как сквозь туман вставали передо мной контуры организации, разделенной на группы, которыми руководят связные.

Связные знают руководителей организации, а члены групп общаются только между собой. Наша ячейка возглавляется Женей, а мы с Владиком рядовые ее члены. Вот, собственно, и все, что осталось в памяти с того вечера.

С тяжелым сердцем вернулась я домой. С кем посоветоваться, кому открыть душу? О родителях не могло быть и речи. Близких друзей, которым я могла бы довериться, у меня не было. Пожалуй, ближе всех мне была тетка, сестра мамы. После нескольких дней колебаний я решилась обратиться к ней за советом. Теперь я понимаю, что была более зрелой чем мои товарищи, и, конечно, более трусливой. Я видела в них детей, увлеченных игрой в подпольных революционеров. Мне же играть в эту опасную игру вовсе не хотелось. Хорошо помню побелевшее лицо тети Нади и ее закусенные губы, когда она все повторяла и повторяла мне одно и то же:

«Немедленно порви с этими безумцами!»

Я и сама к этому склонялась. Беседа с теткой лишь утвердила меня в моем намерении. Да, но как это сделать? Чем объяснить свою внезапную перемену? Ведь со всеми взглядами ребят я как будто согласна. Значит, признаться в трусости, а на это ой как нелегко было решиться. И наши встречи продолжались, все более укрепляя меня в моих сомнениях. Порою меня поражала в Жене какая-то

исступленность, отчаянная готовность на дикие с точки здравого смысла поступки. Надо во что бы то ни стало дать понять миру, что не все в порядке в Датском королевстве, а для этого совершить нечто необыкновенное. Например взорвать метро.

— В пять часов утра, когда рабочий класс выходит из дома, перед открытием метро устроить взрыв на какой-нибудь из центральных станций. Будет паника, о взрыве узнают, поползут слухи, достигнут границы, — Женя так ярко живописал эту картину, что у меня озноб прошел по спине.

— А если будут жертвы? — спросила я в отчаянии.

— Едва ли, ведь взрыв произойдет в пустом метро. Ну, а если кто-то пострадает, что ж, борьба без жертв не бывает! — заключил Женя с такой категорической твердостью, что возражать было бесполезно.

В другой раз Женя посвятил нас, меня и Владика, в еще один свой отчаянный план.

— Хорошо бы совершить покушение на кого-нибудь из членов правительства, например на Маленкова. Ведь до Сталина не доберешься. Да и народ его обожествляет, так что никто не одобрит этого акта.

Помнится, мы с Владиком пытались что-то возражать, но мне показалось, что и сам Женя говорил обо всем не вполне серьезно, а так, чтобы потешить воображение. Вообще многое в его утверждениях вызывало мое неприятие. Например, чтобы покарать злодея, не жалко в интересах дела пойти на любые жертвы. Или; что для формирования полноценных членов коммунистического общества детей надо будет отбирать у родителей и воспитывать в специальных интернатах. Чем-то знакомо зловещим веяло от этих рассуждений, но я не пыталась спорить, чувствуя, что переубедить его мне не под силу. А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен провести собрание.

Все чин по чину — председатель, секретарь, массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» организации и с «манифестом». Я решила тогда, что оба документа составлены им самим. Почти уже не помню, что в них говорилось, но оба они странным образом напоминали некоторые этапы из истории большевистской партии, которую мы изучали в школе. Организация называлась «СДР» — Союз борьбы за дело революции. Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, на которой Женя так настаивал, вызывала во мне протест. Все напоминало игру, но опасную игру. И я дала себе слово, что это наша последняя встреча.

Как-то незадолго до этого собрания, гуляя с ним по городу, я спросила Женю, не думает ли он, что может поплатиться жизнью за свою деятельность. И меня поразили его ответ: «Я знаю, что погибну. Но если я принесу этим какую-нибудь пользу, мне не жалко умереть». Фраза эта была произнесена с такой убежденностью и одновременно с такой обреченностью, что у меня сжалось сердце.

Предвидел ли Женя Гуревич свою судьбу или это были слова, которые полагалось произнести истинному революционеру-подпольщику? Теперь, когда мы знаем трагический исход его короткой жизни, действительно отданной за возвышенные идеалы, это неважно. Парадоксально то, что эфемерными этими идеалами наградило его государство — то самое бездушное чудище, против которого он жаждал бороться. Не зная другого выбора, такие герои, как Женя, готовы были повторить весь путь, который не раз уже приводил к единственно возможному результату. Те же идеи, те же методы и тот же трагический итог. Но, как слепые лошади, дети вращались в пределах все того же заколдованного круга, начертанного когда-то их отцами.

В пятидесятые годы, когда страна изнемогала от новой волны репрессий, когда не было ни одной щелочки, связывающей ее со свободным миром, через которую могли бы просочиться иные представления, иные идеи, — только такой вид сопротивления, наверное, и был возможен. Позднее в лагерях я встречала многих молодых людей, участников различных подпольных групп и организаций. И почти все они были приверженцами идей, заложенных когда-то в основу Советского государства. Только в этих рамках жаждали они справедливости, а Маркс и Ленин оставались их несокрушимыми богами.

Я молилась этим богам тоже! И все же... оставалось решиться на последнее объяснение и распрощаться навсегда с юными подпольщиками. Отдавая должное их смелости и благородству, я решила оставить на память о нашей дружбе «манифест» и «программу», подлинники которых я должна была отдать Жене при прощании. Аккуратно переписав их в тетрадь, я спрятала все в свой архив, в котором уже были переписанные мною стихи об антисемитизме, некоторые политические анекдоты и так далее. Но последняя встреча все откладывалась.

Наступила экзаменационная сессия в институте. Я была очень занята и о своих друзьях не вспоминала. Не подают признаков жизни — и хорошо! Все, что было связано с ними, как-то само собой отходило от меня, будто этого и не было. Каждый день я шла в институт, возвращалась домой и не замечала, что за мной уже была установлена слежка, а в соседнем подъезде ведется постоянное дежурство и наблюдение. В январе Женя и Владик уже были арестованы, а мне дали «догулять» студенческие каникулы. Седьмого февраля 1951 года пришли и за мной.

Подходило к концу увлекательное чтение. Номера синих папок-томов нашего дела перевалили за тридцать. Уже я заочно познакомилась со всеми членами организации. Довольно однотипная подобралась компания: совсем юные, из интеллигентных семей, почти все евреи, кроме двух девочек. Значительное отличие я усмотрела только в одном — у нескольких ребят были репрессированы родители. Меня это очень удивило, так как не раз Женя говорил, что в организации не должно быть людей, имеющих личную обиду на советскую власть. Оказалось, что у пяти из шестнадцати ребят родители были арестованы.

В последних нескольких томах следственных материалов содержались все вещественные доказательства преступной деятельности организации, в том числе и фотография с экспертизой маленького пистолета, хранившегося, кажется, у

Мельникова со времен войны — кто из мальчишек не был бы счастлив обладать настоящим оружием. Судебная экспертиза гласила: если пистолет починить, то на расстоянии трех шагов им можно нанести смертельное ранение. Вывод этот мне хорошо запомнился.

Наконец я закрыла последний, кажется, 32-й том. Подписала бумагу о том, что я ознакомилась со всеми материалами дела. Еще один этап пройден. Мне думалось, что худшее позади. Опять я поселилась в камере «безвыездно». Сколько времени ждать суда? Тянулась вторая зима в одиночке. Казалось бы, в тюрьме не замечаешь времен года, но это не так — зимой и холоднее, и темнее, а потому и тоскливее. Снова и снова перебирала я в памяти все прочитанное — у меня было ощущение, что познакомилась я с историей, не имеющей ко мне никакого отношения. Незнакомые мне молодые люди, неизвестные мне события.

Название организации, данное в процессе следствия, звучало громоздко, неправдоподобно и страшно — «Еврейская антисоветская молодежная террористическая организация». Это выражалось следующими пунктами 58-й статьи уголовного кодекса: 1-а, 11, 10 и 8 (измена Родине, организация, антисоветская агитация и террор, причем восьмой пункт означал уже совершенный террористический акт). У меня не было ни малейшего представления, какое наказание ожидало нас по такому ужасному обвинению. Что нам дадут разные сроки, не было сомнения — вина у каждого разная.

Я думала, что мне дадут небольшой срок, ведь я ничего не делала и говорила-то мало, больше слушала. Не то что другие, которые занимались вербовкой новых членов, агитировали своих знакомых и даже печатали документы на самодельном гектографе, описание которого было приложено к делу. В общем, я почему-то рассчитывала на три-пять лет лагерей. Какие существуют максимальные сроки наказания, я не знала. Оставалось ждать заключительного аккорда в нашей эпопее — суда.

суд

Не надеясь, что меня предупредят заранее (годовой опыт тюрьмы меня кое-чему научил), я ждала суда каждый день. Засыпала со страхом и надеждой, что суд будет завтра, просыпалась с уверенностью — сегодня! До полудня с замирающим сердцем прислушивалась к приближающимся шагам за дверью. После обеда наступало облегчение — не сегодня. Только во второй половине дня я могла читать, отвлекаться от постоянной тревоги, измотавшей меня вконец. Заметила я незначительные перемены в рационе питания, стали немного лучше кормить. Крошечный кусочек мяса появился в обед.

В остальном ничего не изменилось в вязком течении времени. Дневного света в камере почти не было, серый утренний квадрат окна рано начинал темнеть и очень скоро становился черным. Прогулки не доставляли удовольствия — я и в камере не

могла согреться, так что часто отказывалась выйти на мороз (единственное волеизъявление, уважаемое тюрьмой). Стали путаться не только дни недели, но и месяцы — то ли январь идет, то ли февраль.

Но чему быть — того не миновать, мучительное ожидание наконец кончилось.

— Собирайтесь на суд! — рявкнула кормушка и с треском захлопнулась. Сердце оборвалось, а ноги стали ватными.

Что значило «собираться», было непонятно. Вещей брать не надо, бумаг никаких не было. Видимо, надо было собрать себя, к чему я судорожно и приступила. Главное — хорошо выглядеть, ведь я увижу всех моих незнакомых знакомцев и Женю с Владиком. Тщательно мокрой ладонью я почистила платье. Как оно не истлело на мне за год, не могу понять. Одно объяснение, что платье переделано было из дореволюционного бабушкиного наряда. Туфли намазала сливочным маслом и натерла до блеска.

Потом я красиво уложила волосы и заплела косы. Посмотреться можно было только в кружку с остатками кофейной бурды. Все готово. Открылась дверь, на пороге стоял конвой: «Фамилия, имя, отчество? Пройдите!» Я вышла из камеры. Куда поведут? Видимо, суд будет в том же здании, ведут без пальто. Привычный путь по тюремным коридорам. Ни души вокруг, только слышны пощелкивания конвоира да треск флажков регулировщика тюремного движения.

Конвоир остановил меня перед широкой дверью и распахнул ее. Я вошла в огромную комнату, заставленную рядами стульев. Людей в комнате не было, кроме двух девушек, сидевших у задней стены. Конвоир довел меня до последнего ряда и указал на место рядом с ними. Мы поздоровались, но нас тут же предупредили, что разговаривать друг с другом запрещается. Рядом со мной оказались Тамара Ринович и Галя Смирнова. Мы с интересом разглядывали друг друга, пока не ввели следующую девушку — это была Ида Винникова.

Она села рядом со мной, четвертой в нашем ряду. Один за другим приходили и рассаживались все мои однодельцы (термин, усвоенный мною во время следствия и определивший навсегда мою связь с участниками нашей группы). Каждого я узнавала по фотографии, но по сравнению с ужасными тюремными изображениями выглядели все значительно лучше. Ребята показались мне симпатичными — вот мои друзья по несчастью, так мало похожие на борцов-подпольщиков.

Несмотря на строгий запрет, мы перекидывались отдельными словами, в комнате стоял гул от приглушенных голосов. Не помогали и окрики военного, пытавшегося навести порядок. Вдоль стен выстроились конвоиры и с любопытством пялили глаза на странное собрание. Нами овладело нервное возбуждение, что-то похожее на эйфорию. Почти все сидели в одиночках, и наше свидание казалось концом заточения. Большая комната, ряды стульев, молодые лица сверстников — все походило на обычное комсомольское собрание. Сейчас выберут президиум, объявят повестку дня и... дальше можно не слушать, играть в «морской бой». Почему-то все

время хотелось смеяться, мы с трудом сдерживались, но смех то и дело прорывался. Чему мы смеялись? Сейчас я уже не могу вспомнить.

К сожалению, память не сохранила подробностей процесса, остались какие-то отдельные яркие впечатления. Смутно помню появление в комнате суда трех военных — генерала и двух полковников. Их лица не запомнились, голосов их я как будто бы и не слышала в течение суда. То, что у нас нет ни защитника, ни обвинителя, меня не удивило, я просто об этом не задумывалась. Мы виноваты, значит, все, что с нами происходит, законно. Трое военных похожи были на трех толстяков из сказки Олеши — толстоватые, розоватые и, казалось, мирные. Их роль в эти дни была второстепенной, первые роли принадлежали нам. Но в этом зловещем спектакле, где роли были четко распределены, действительно играли все, кроме нас.

Мы же пришли в эту комнату на исповедь, и исповедовались мы друг другу. А главное, мне кажется, надо было вслух разобраться в самих себе. Ведь все уже перемалывалось, передумывалось в камере, что-то говорилось следователям. Но это было не то. Сейчас каждому давалась возможность объяснить, а значит, понять, как мы оказались на скамье подсудимых. Я не могу ручаться за всех, но и тогда (как и сейчас) я была убеждена, что большинство говорило абсолютно искренне. Нас не прерывали, и каждый говорил сколько хотел. Иногда рассказ был короткий и незапоминающийся. Иногда — мучительно длинный, с повторяющимися объяснениями, из которых говорящий сам не мог выпутаться. Много было очень смешных деталей, связанных с нашим возрастом, со стремлением облечь деятельность нашей организации в романтические, почти канонизированные революционные формы.

Сусанна Печуро рассказывала своим подругам о тайных складах оружия, оказавшихся на деле потайным ящиком письменного стола, где лежал кинжал для разрезания бумаги. Фантазировала, что в организации сотни участников, и в подтверждение своих слов читала стихи Маяковского «Нас миллионы». Раскрасневшаяся и необыкновенно красивая, она прочла это стихотворение всем нам, вполоборота повернувшись к судьям. Чистота помыслов была в каждом рассказе. О терроре почти не говорили. Ясно было, что никто ни о чем серьезном не думал, кроме Жени, которого никто поддерживал.

Трагическая ситуация была у Феликса Воина. Это чувствовалось по тому, как он был угрюм, ни с кем общался. В валенках и серой одежде, он сидел сгорбившись и опустив голову. И хотя мы знакомы были с его историей из протоколов следствия, все же было тяжело, слушать исповедь этого юноши.

Родители его были репрессированы, и он испытал всю горечь отчужденности. Феликс познакомился Фурманом в Рязани, где они оба учились в медицинском институте. Владлен предложил Феликсу стать членом организации, и Воин с радостью согласился. Он рассказал о вступлении в организацию своей приятельнице, которой доверял. Их разговор подслушала другая студентка и пригрозила донести, если этого не сделает сам Воин. Он был в полном отчаянии, но другого выхода не было, пришлось идти в КГБ.

Там ему предложили оставаться в организации и доносить обо всем, что происходит. Терзаясь муками совести, Феликс общался с Фурманом, ничего не доносил в органы, но чувствовал себя предателем. Когда всю группу арестовали, забрали и Воина, предъявив ему обвинения наравне с остальными. Вынужденная роль доносчика его угнетала, ему, видно, казалось, что все остальные его осуждают. Это было не так — его все жалели, но высказать свое отношение в этой обстановке было невозможно.

Особенное впечатление на меня произвел рассказ Майи Улановской. О ее строптивости мне говорил наш общий следователь, и я представляла ее совсем другой. Передо мной была милая большеглазая девочка с белозубой доброй улыбкой на смуглом лице. Мы сидели недалеко и смогли сказать несколько слов друг другу. Майя показалась мне такой, как мы все. Но это впечатление рассеялось, как только пришла ее очередь рассказывать свою историю.

Майя Улановская — единственная из нас, кто опубликовал воспоминания о себе и обо всем нашем деле. Поэтому я не буду пересказывать историю, которую она рассказала на суде. Майя была одной из пяти ребят, кому выпало с ранних лет быть меченой, быть среди прокаженных, от которых отворачивались друзья, которых сторонились соседи, о ком шептались сверстники. Таких было очень много, и они были особенные: это были дети «врагов народа», дети репрессированных. Тогда, на суде, я слушала Майю с ужасом и болью. Что она говорит? Как не понимает, что усугубляет свою вину?! И сейчас звучат в ушах слова, которые она бросала в лицо всесильному суду: «Я вас ненавижу! Никогда не поверю, что мои родители — враги. Если они и сделали что-то, то сделали правильно. Мне нет места на воле. Меня отсюда можно выпустить только в наморднике!»

Мне кажется, что мы все затаили дыхание, слушая ее последние слова. Было страшно за Майю. Я все думала, как много горя и обиды надо было перенести, чтобы так думать и так чувствовать. Мне хотелось приласкать ее, обогреть — и тогда эта бедная девочка поймет, что не права, и раскается, как раскаялись все мы. Я мечтала попасть с Майей в один лагерь, я стала бы ее сестрой, утешительницей... Но на лагерных дорогах нам не суждено было встретиться.

Рассказы всех остальных в чем-то были похожи между собой, всеми руководили самые добрые порывы молодости. Мы были хорошими воспитанниками советской власти — вся демагогия, все идеалы восприняты были нами, как и полагалось в юности, всерьез. Но жизнь была совсем не похожа на эти идеалы — значит, надо все изменить, переделать, чтобы все были счастливы. День за днем мы приходили в эту большую комнату и по очереди рассказывали истории своих коротких жизней. Но в результате шестнадцати исповедей картина деятельности каждого из нас и всех вместе вырисовывалась совсем другая, чем в исполнении следователей. В действительности все сводилось к одному — к поискам единомышленников. И в этом мы, видимо, хорошо преуспели.

Мы не могли тогда анализировать, почему все, с кем велись так называемые антисоветские разговоры, так легко соглашались с нами и с видимым удовольствием продолжали говорить о творящихся безобразиях, о всей системе, которая мало

походила на общество, строящее коммунизм. Не сознавая опасности, вернее, понимая ее сугубо теоретически, почти все наши ребята направо и налево высказывали свои крамольные мысли.

Ирена Аргинская поехала с Борисом Слуцким в Ленинград для привлечения новых членов организации. С ними вместе ездил и таинственный парень, которого почти никто не знал. Был он старше нас всех. В процессе следствия стало ясно, что он являлся подосланным провокатором, фамилия его не упоминалась в деле, но она не раз произносилась на суде — Беркенблит. Ирена познакомилась с ним в Ленинграде. Там же Ирена и Борис пытались завербовать некую Ариадну Жукову, которая как будто бы согласилась стать членом организации, потом передумала и донесла в органы. Но такой случай был редким, большинство наших сверстников были готовы если не к борьбе с системой, то к критике ее.

Сусанна Печуро объясняла, почему она назвала так много имен на следствии, не задумываясь, какой вред она приносит этим людям, — она хотела показать распространенность наших взглядов среди молодежи. И это было именно так — критиковали порядки многие. Организация наша возникла не на пустом месте, в это же время подобных групп появилось немало. Но тогда мы об этом не знали. На этом фоне наши раскаяния выглядели довольно странно — все вокруг были согласны с нами, наши сверстники, да и многие взрослые, думали, как мы. В чем же мы были виноваты? В том, что были безрассуднее и смелее других?! Но мы не замечали этого противоречия и продолжали считать себя преступниками хотя бы потому, что члены комсомола по уставу не имеют права создавать или входить в какую-либо другую организацию.

Последними рассказывали о себе организаторы нашей группы — Борис Слуцкий, Владлен Фурман и Евгений Гуревич. Я смутно помню их выступления, наверное, мысли их были более зрелые, чем у остальных. Хорошо запомнила, как Борис, говоривший последним, обернулся ко всем нам, сидящим позади него, и сказал каким-то упавшим голосом:

— Только сейчас я понял, какой детский сад привел за собой.

Помнится, он рассказывал, как, чувствуя свою беспомощность, пытался найти поддержку у взрослых. Но все, с кем он заводил разговоры, шарахались от него, как от прокаженного. Никто не пытался разубедить его, люди меняли тему, отводили глаза. У Бориса возникла мысль связаться с каким-нибудь иностранным посольством, но сделать он ничего не успел.

Борис Слуцкий выглядел солиднее нас всех — высокий, плотный, одет он был в синий френч военного образца и сапоги. Владлена Фурмана я почему-то совсем не запомнила. А Женя, как всегда, выглядел мальчишкой — невысокий, худой, в неподпоясанной гимнастерке. Как случилось, что не остались в моей памяти рассказы трех последних и самых ярких членов группы?! Наверное, уж очень мы все устали за время процесса. Из рассказа Бориса я помню еще несколько деталей

(скорее, они запомнились мне из его дела). Он раньше нас всех осознал окружающую его ложь.

Ребенком, побывав в какой-то нищей деревне, написал письмо Сталину, в котором сообщал любимому вождю о том, как плохо живут колхозники. Уже тогда его взяли на заметку. Позже его нелояльность заметили во Дворце пионеров, где Борис занимался в литературном кружке и писал неподходящие стихи. О семье его я ничего толком не знаю, но, видимо, отец в юности был горячим поклонником Троцкого. Родители рассказывали, что все имущество отца перед женитьбой состояло из старых штанов и портрета Троцкого. Эта деталь была расценена Борисом в одном плане: отец был троцкистом и скрывал свои взгляды. Возможно, это было вовсе не так — отца своего Борис знал мало, тот ушел на фронт добровольцем и погиб.

К сожалению, я не была лично знакома ни с Борисом, ни с Владленом, поэтому не представляю, какими они были в действительности. Насколько искренне они раскаивались на следствии и на суде? Потом мы узнали, что в камерах все три наших организатора сидели с «наседками» — доносчиками. Как этот факт повлиял на весь ход следствия и какие методы применяли к этим троим, я не знаю. На суде у меня создалось впечатление, что они хоть и отличались от всех остальных своей большей зрелостью, но не так уж сильно.

Из показаний подсудимого ГУРЕВИЧА на судебном заседании Военной коллегии

Верховного Суда СССР 11 февраля 1952 года

С МЕЛЬНИКОВЫМ я знаком с 1946 года. Развивались мы с ним одинаково, нас отличало только то, что МЕЛЬНИКОВ был спокойнее, а я невыдержаннее. Появление моих антисоветских взглядов относится к 1948 году. Первый раз меня больно задели разговоры с ЗАСЛАВСКИМ и КОСНЕЛЬСОНОМ, о которых я был очень высокого мнения. КОСНЕЛЬСОН хотел поступить в МАИ на спецфакультет, но в конце лета выяснилось, что его туда не приняли. Секретарь приемной комиссии ему грубо ответила, что он не прошел по анкетным данным. Заславский также не прошел по анкетным данным в 1-й медицинский институт. КОСНЕЛЬСОН мне рассказал еще несколько фактов отказа в приеме в институт евреям. Мы тогда предполагали, что евреев не принимают в институты вследствие политики Партии и Правительства, но у нас были и сомнения относительно этого. Для того чтобы выяснить волновавшие нас вопросы, мы с МЕЛЬНИКОВЫМ создали группу и стали заниматься философией и марксизмом.

В 1949 году я познакомился с ШЛЕМЕРЗОНОМ, который окончил экономический институт с оценкой «отлично» и хотел поступить в аспирантуру, но не смог, так как был евреем. Если мне много приходилось слышать националистических высказываний вне семьи, то не меньшее впечатление на меня производили националистические настроения родственников. Мне говорили, что нет дороги евреям в гуманитарные науки. В то время, когда я не представлял себя без философии и философию без меня, и меня это очень волновало.

Это первая группа фактов, которая повлияла на формирование моих антисоветских настроений.

Ко второй группе относится мещанство. Это, пожалуй, оказало решающее влияние на формирование моих антисоветских взглядов. Я воспитывался в мещанской обывательской семье, где обыватель на обывателе сидел и обывателя погонял. Ни один родственник не проявил себя как советский человек. Все — индивидуалисты и стремились только к своему личному благополучию. С МЕЛЬНИКОВЫМ мы дошли до того, что подавляющее большинство людей считали мещанами и только себя считали самыми честными гражданами. Я постоянно ссорился со своими родителями, т. к. они смотрели на меня, как на мальчика, и каждый раз хлопотали обо мне, чтобы я не простудился, чтобы в местах перехода переходил улицу и т.д.

Они были мещанами из мещан, они не интересовались моей внутренней жизнью, а только беспокоились о том, чтобы я был сыт, здоров. Отец, хотя и был членом партии и имел высшее образование, но мне приходилось его часто консультировать по истории партии. Озлобленность против отца дошла до того, что я заявил ему, что не считаю его членом партии, что в партию он поступил из корыстных побуждений. Отец был страшно возмущен этим, и мы долгое время не разговаривали. В школе из 26 ребят не членами комсомола было двое, а я считал, чтобы быть достойным звания человека, надо знать философию, но из всех учеников один Кирюшин занимался философией, причем он не комсомолец. Меня очень поражала эта полная пассивность к философии... Все мои знакомые девушки очень увлекались литературой, но наряду с этим совершенно не знали политику. Меня это также очень поражало.

Затем моральный уровень молодежи, по моему мнению и мнению МЕЛЬНИКОВА, значительно пал, и меня это также Очень волновало. Нас волновало открытие церкви, мы с МЕЛЬНИКОВЫМ считали, что, с одной стороны, это свобода совести, но, с другой стороны, нас трогало количество посетителей, так как значительная часть была молодежь.

У ШЛЕМЕРЗОНА был знакомый, некий НИГ. Однажды ШЛЕМЕРЗОН привел этого НИГА к нам и попросил разрешить ему побыть у нас. НИГ настолько вел себя аморально, что я не выдержал и попросил его оставить квартиру. Он говорил дикие вещи о своих махинациях и комбинациях, что он расходует 1500 руб. в день. Затем пришел ШЛЕМЕРЗОН и сказал, что все в порядке. Как выяснилось затем, они где-то доставали стрептомицин и продавали его по спекулятивным ценам. На меня это произвело потрясающее впечатление. Я сказал тогда сестре, что на ШЛЕМЕРЗОНА и НИГА надо донести в прокуратуру, но сестра отговорила меня и заявила, что будто бы они действуют чуть ли не через брата Кафтанова.

Единственно, с кем я поддерживал дружеские отношения из своих родственников, был дядя, ТОЛЧИНСКИЙ Самуил Абрамович. ТОЛЧИНСКИЙ был разносторонне образованным человеком, но никогда не учился и заявлял, что он мещанин. Это мне нравилось, и я считал его честным человеком, Он относился ко мне лучше, чем к своим детям. С ТОЛЧИНСКИМ у меня очень часто были беседы на антисоветские

темы. Так, например, мы беседовали относительно карательной политики в 1937 году, о завещании Ленина и по другим вопросам...

С таким багажом я пришел к августу 1950 года. В августе 1950 года я пытался поступить в МГУ на философский факультет. В 20-х числах июля 1950 года я зашел в МГУ на консультацию по иностранному языку и там встретился со СЛУЦКИМ. Там мы решили совместно готовиться к сдаче экзаменов по географии. Во время следующей встречи со СЛУЦКИМ мы беседовали о том, куда можно пойти после окончания философского факультета. Я сказал, что после окончания философского факультета ожидает аспирантура, или партийная работа, или преподавательская работа, и заявил, что хочу поступить в аспирантуру. СЛУЦКИЙ заявил, что пойдет лучше на партийную работу.

Этот разговор имел место по дороге к СЛУЦКОМУ. У СЛУЦКОГО на квартире мы прочитали две-три страницы учебника географии, а потом стали беседовать о философии, о борьбе противоположностей... Затем СЛУЦКИЙ стал спорить, что важнее в жизни, теория или практика. Потом я рассказал, что мои родственники на 99% мещане и на 90% имеют капиталистические пережитки. СЛУЦКИЙ мне рассказал также о своих родственниках, что его родственники не отличаются ничем от моих родственников, что только родственники его отца — положительные люди. Рассказал о том, что его отец имел выговор за принадлежность к троцкизму, что в начале Отечественной войны он добровольно ушел на фронт и там погиб.

СЛУЦКИЙ во время одного из разговоров спросил меня, считаю ли я наличие социализма в СССР правильным, т.е. существует ли в СССР социализм. Я ответил СЛУЦКОМУ, что да, что противоречия между трудом и капиталом в СССР преодолены и, вероятно, существует социализм. СЛУЦКИЙ сказал, что он сомневается в существовании социализма в СССР и поэтому он идет на философский факультет, для того чтобы выяснить, возможно ли построение социализма в одной стране. Затем у нас завязался спор о том, какое имеет значение идеологический момент при социализме, Я всегда и по всем вопросам спорил, для того чтобы спорить. Затем СЛУЦКИЙ рассказал мне кое-что из истории партии, в частности о Брестском мире, и показал книгу Джона Рида с предисловием Ленина и Крупской.

О моем разговоре со СЛУЦКИМ я рассказал МЕЛЬНИКОВУ. МЕЛЬНИКОВ заинтересовался СЛУЦКИМ и сказал, что нашелся новый феномен, что СЛУЦКИЙ прав. Тогда же мы с МЕЛЬНИКОВЫМ решили поближе познакомиться со СЛУЦКИМ. Мы очень часто ходили по Гоголевскому бульвару и спорили. Я приходил к выводу, что СЛУЦКИЙ прав, и почувствовал появление у меня антисоветских взглядов. Со СЛУЦКИМ мы встречались ежедневно, и он рассказывал, что его взгляды разделяет ФУРМАН, что они с ФУРМАНОМ собираются создать антисоветскую организацию и что дело осталось только за приездом ФУРМАНА.

С приездом ФУРМАНА СЛУЦКИЙ меня познакомил с ним, и в конце августа 1950 года на первом собрании мы создали организационный комитет антисоветской организации, в который вошли СЛУЦКИЙ, ФУРМАН и я. На этом собрании было решено заняться СЛУЦКОМУ подготовкой программы, ФУРМАНУ — подготовкой

вопроса об отношении к войне, а мне — подготовкой манифеста и книги о государстве. ...После этого сблища я поделился своими впечатлениями с МЕЛЬНИКОВЫМ и предложил ему вступить в антисоветскую организацию. МЕЛЬНИКОВ вначале колебался, но затем разделил нашу точку зрения и обещал вступить в антисоветскую организацию. Таким образом, в антисоветскую организацию, с одной стороны, привлек я МЕЛЬНИКОВА, а с другой стороны, СЛУЦКИЙ и ФУРМАН привлекли ПЕЧУРО. МЕЛЬНИКОВ и ПЕЧУРО были введены в организационный комитет «СДР».

В октябре 1950 года, когда вместе с ПЕЧУРО я шел к СЛУЦКОМУ на сблища, в разговоре со мной ПЕЧУРО заявила, что члены ее группы горят желанием работать, а работы нет. Во время сблища у СЛУЦКОГО я предложил перейти к террору. Против моего предложения выступили СЛУЦКИЙ и ПЕЧУРО, и оно было отклонено. На следующем сблища при обсуждении программы я вновь заявил о переходе к террору... Кроме того, я предложил создать тщательно законспирированную террористическую группу, руководство которой брал на себя. Участники этого сблища резко выступили против меня. СЛУЦКИЙ заявил, что в истории ни один террорист не оправдывал себя, что мы только провалим этим все дело.

После первого антисоветского сблища, как я уже говорил, организационный комитет приступил к вербовке в «СДР» ПЕЧУРО и МЕЛЬНИКОВА. МЕЛЬНИКОВУ было поручено возглавить техническую группу. СЛУЦКИЙ рассказал, что в «СДР» уже есть течение, что есть большевики и меньшевики, есть также и террористы. МЕЛЬНИКОВ заявил тогда, что у него есть оружие. Я знал, что МЕЛЬНИКОВУ дали родственники револьвер, который попросили выбросить. МЕЛЬНИКОВ мне также говорил, что этот револьвер он выбросил, и поэтому я спросил МЕЛЬНИКОВА, откуда он взял оружие? МЕЛЬНИКОВ улыбнулся и сказал, что револьвер он не выбрасывал и мне об этом не сказал, потому что детям такие вещи не рассказывают. Впоследствии МЕЛЬНИКОВ свой револьвер передал мне. Это было в сентябре 1950 года, когда мать МЕЛЬНИКОВА обнаружила этот револьвер и МЕЛЬНИКОВ предложил мне принять его на хранение...

В конце августа 1950 года СЛУЦКИЙ, ФУРМАН и я приехали к ПЕЧУРО, и затем мы все пошли гулять в Петровский парк. Цель этого визита была такова, что СЛУЦКИЙ и ФУРМАН уезжали из Москвы и нужно было обсудить кое-какие вопросы по антисоветской деятельности, в частности, вся работа в Москве была возложена на меня и ПЕЧУРО.

В антисоветскую организацию я завербовал МЕЛЬНИКОВА, РЕЙФ и УЛАНОВСКУЮ, но этим я не собирался ограничиваться. ...В октябре 1950 года на очередном сблища мы обсуждали и утверждали программу СЛУЦКОГО. Сблища проходило очень бурно, чуть ли не до драки, но было прервано в самом разгаре приходом МЕЛЬНИКОВА, который принес стенографический отчет о 14-м Съезде ВКП(б), и мы стали читать выступления на съезде отдельных оппозиционеров. Я и МЕЛЬНИКОВ считали программу неутвержденной, и было решено утвердить ее на следующем сблища у СЛУЦКОГО.

...26 ноября 1950 года на сборище я зачитал свои тезисы и заявил, после того как тезисы были отклонены, что программа «СДР» не утверждена, и предложил утвердить.

Первый же пункт программы вызвал ожесточенный спор, и мы были вынуждены отбросить утверждение программы и стали читать тезисы по пунктам. Тезисы, как я уже говорил, были отклонены. Затем СЛУЦКИЙ зачитал резолюцию, в которой отметил наличие в «СДР» двух течений — террористического и теоретического. СЛУЦКИЙ был против террора и заявил, что террор может привести в лагерь политических убийц, авантюристов и шпионов. Собище было бурно до дикости. В конце собища было предложено подчиниться партийной дисциплине,

На следующий день я заявил СЛУЦКОМУ, что мы с МЕЛЬНИКОВЫМ и РЕЙФ не подчиняемся партийной дисциплине и выходим из антисоветской организации «СДР». Заявил также, что у нас 20 человек. Затем на собище у РЕЙФ мы формально оформили нашу организацию и создали свой организационный комитет, в который вошли я, МЕЛЬНИКОВ, РЕЙФ, членом организации - УЛАНОВСКАЯ. Было также создано три сектора, это — теоретический, организационный и технический. Мне было поручено вести теоретический сектор, подготавливать антисоветские пасквилы и другое.

Организационный и технический сектора были объединены в один организационно-технический сектор. Возглавляли этот сектор МЕЛЬНИКОВ и РЕЙФ. Организацию стали именовать «Союзом освобождения рабочего класса». Затем у нас завязался спор относительно выпуска своей газеты. Мы предполагали выпускать газету в 20 экземплярах и посылать ее в письмах членам организации. Газета в основном предназначалась для кружковцев.

Во время моего участия в антисоветской организации я написал антисоветские документы — «манифест», тезисы «о тактике «СДР» и несколько статей для газеты. «Манифест» я положил между ученическими тетрадями, и однажды отец случайно его обнаружил и стал читать. Увидев это, я вырвал у отца из рук «манифест» и прочел ему сам, выдав текст за бухаринский, и объяснил, что это мне нужно было в качестве учебного материала. В этот же день МЕЛЬНИКОВ на собище организационного комитета заявил, что я нарушаю правила конспирации. Родители мои спросили также и МЕЛЬНИКОВА, что за «манифест» имел я, и ему с трудом удалось выкрутиться. Когда я сказал родителям, что порвал дружеские отношения со СЛУЦКИМ и ФУРМАНОМ, то родители были очень рады.

С МЕЛЬНИКОВЫМ я собирался написать книгу «Госкапитализм», но потом от этой затеи отказались и решили написать «Государство», а затем «30 лет». В этих книгах мы хотели с троцкистских позиций осветить историю партии...

Наконец все было рассказано. Даже последнее слово нам предоставили! Законность процедуры соблюдена. Какая важность, что не было ни свидетелей, ни защиты, ни гласности — мы приравнены к военным преступникам, нас судит Военная коллегия Верховного Суда СССР. Звучало это все очень страшно, но вся обстановка суда не

предвещала ничего особенно плохого. Собственно, общее настроение создавали мы сами, и, как нам казалось, серьезность следственных протоколов испарялась по мере того, как мы рассказывали обо всем сами.

Взрослые мудрые «дяди-генералы», конечно, понимают благородные мотивы наших действий и не накажут нас строго. Все мы были в приподнятом настроении, часто смеялись, перекидывались репликами, не обращая внимания на угрозы вывести из зала заседания. В наших исповедях было столько наивности, что, повзрослев на год, мы без смеха не могли слушать о прежних поступках и рассуждениях. Еще год назад мы были детьми, и этого не могли не понимать судьи. Я видела, как стоявшие у стен конвоиры с трудом сдерживали смех, когда кто-то из нас рассказывал что-то смешное или наивное. Мне кажется, что настроение почти у всех было бодрое — самое плохое уже позади.

Насколько я помню, в день, когда нам дали последнее слово, был вынесен и приговор. Нас увели на обед и снова привели в зал суда. Последний раз прозвучало:

«Встать! Суд идет!» Судьи вошли как-то особенно стремительно и остались стоять перед столом. Лица их были краснее обычного, а может быть, это мне только показалось. Главный начал читать приговор. Он прозвучал невероятно:

— Борис Слуцкий, Владлен Фурман, Евгений Гуревич приговариваются к высшей мере наказания — расстрелу!

Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала смысл сказанного. Уши как-то сразу заложило, голос читавшего доносился издалека. Я с трудом понимала остальное — 25, 10, 5, — что это, годы заточения в тюрьме, лагерь? Что такое «поражение в правах»? Невозможно сосредоточиться. Глаза уперлись в спины трех юношей. Я видела, как Женя покачнулся. Сусанна бросилась к Борису, но ее оттащили. Последние слова приговора я услышала отчетливо:

— Слуцкий, Фурман и Гуревич имеют право просить помилования.

Генерал с полковниками как-то незаметно для меня исчезли, а к трем осужденным на расстрел почти подбежали конвоиры. Начался какой-то невообразимый шум, все что-то говорили друг другу и, уже не опасаясь охраны, кричали вслед уводимым:

— Ребята, просите помилования!

Комната опустела очень быстро, меня увели, как всегда, одной из последних. Когда за спиной захлопнулась дверь камеры, я в изнеможении опустилась на койку. Жуткое отупение овладело мною. Я не могла думать о происшедшем. Пустота — ни страха, ни боли, никаких чувств.

ЭТАП

Прошло много времени, прежде чем я оправилась после суда и приговора. Постепенно рождалась спасительная уверенность, что мальчиков решили напугать и, конечно, их не расстреляют. Но нам почти всем дали двадцать пять лет! Это ведь тоже для острастки?! Неужели в кодексе были такие астрономические сроки или их придумали специально для нас? Не давала покоя одна неотвязная мысль, что жестокий этот приговор мог дать кто-то злой, слабый и несправедливый. Кто же этот кто-то? Прекрасная наша Родина, благороднейшая наша Партия, мудрейший наш Вождь?!

Я думала именно так или почти так, меня не коробили высокопарные слова, к ним приучили нас с детства. Только сейчас, после нанесенного нам сокрушительного удара, слова эти плохо соединялись, они не подходили друг к Другу. Что-то стало изменяться во мне, как будто затмение уступало место ясным, трезвым мыслям. В чем же мы раскаялись? Ведь все, что толкнуло нас на борьбу с властью, не было нами выдуманно. Нас, еще незрелых юнцов, испугались — только этим можно объяснить жестокость выбранной нам кары. Испугались нас потому, что мы были правы и этим опасны. Все становилось на свои места, я находила самое себя.

Часами шагая по камере, я не замечала течения времени. Мысленно я разговаривала со своими однодельцами, доказывала им, как ужасно мы вели себя на суде. Только Майя Улановская была мужественным человеком, а мы оказались жалкими цыплятами. Говорила я и следователям, и судьям, как трусливы они, как лживо вели они наше дело, выслуживаясь перед начальством. Стыдно было вспоминать жалость, которую я испытывала, когда моему первому следователю приходилось помногу раз переписывать протоколы допросов, если они не одобрялись сверху.

Незаметно для себя в этих мысленных беседах я обретала какую-то свободу, силу, бодрость. Я действительно окрепла, стала лучше себя чувствовать. Усердно делала зарядку и подгоняла время. Только бы скорее увезли в лагерь, к людям! Я так была измучена одиночеством, что лагерь мне казался избавлением, счастьем. Меня переполняла любовь к людям, ко всем без исключения. Я буду доброй, самоотверженной, посвящу себя тем, кто нуждается в помощи. У меня никогда не будет семьи — детей, мужа. Ведь на мне никто не захочет жениться: выйду из тюрьмы старухой, и, кроме того, все будут бояться моего прошлого — каторжанка. Ну что ж, зато я стану полезна людям и меня все будут любить!

Растроганная такими душещипательными грезами, я фантазировала о своей жизни в лагере. О советских лагерях для заключенных я не имела ни малейшего представления к ничему, кроме подобия пионерских лагерей, вообразить не могла, как ни старалась.

Но дни шли за днями, а обо мне никто не вспоминал. Страшные мысли лезли в голову: а вдруг я не поняла приговора, ведь я его действительно осознала потом, и меня приговорили к одиночному заключению на все двадцать пять лет или на часть этого срока. От такого предположения я приходила в ужас, ноги подкашивались, и я обессиленная садилась на койку.

Однажды дверь камеры открылась, и вошел человек в белом халате в сопровождении дежурного. Видимо, это был тюремный врач. Он спросил, не жалуюсь ли я на здоровье. У меня были сильные головные боли, больше ничего меня не беспокоило. Не помню, выслушал ли он меня стетоскопом. Видимо, я выглядела достаточно измученной, ничем иным не могу объяснить, что уже из тюрьмы была направлена в инвалидный лагерь, о чем я узнала значительно позже.

Изматывающее ожидание перемен в моей жизни продолжалось почти три месяца. Прошла зима, и наступила несмелая московская весна. Мой последний день в Лефортовской тюрьме начался как обычно. Весенние звуки с улицы доносились как-то по-особому — звон трамваев, пение птиц, гул города. Я с нетерпением ждала прогулки, но меня не вызвали. В середине дня принесли в камеру мой чемодан. Содержимое его значительно пополнилось. Со слезами я перебирала теплые вещи, которые, конечно, передала мама. Год и три месяца я не носила нормального белья — солдатская нижняя рубашка и мужские кальсоны заменяли мне привычную одежду. Наконец я могла снять почти истлевшее на мне за это время платье (к тому же я выросла и с трудом в него влезала). Переодевшись, я села на койку в ожидании следующих перемен.

Вскоре в кормушку заглянула надзорка. «Приготовьтесь с вещами!» — бесстрастно приказала она. Наконец! Заканчивается тяжелый этап в моей жизни, начинается новый. Последние минуты я хожу по камере, бывшей так долго моим домом. Все знакомо, все опостылело, но, Боже мой, как я к ней привыкла! А вдруг меня ждет что-то худшее? Но эта мысль — на секунду. Скорее, скорее отсюда, куда угодно!

Вот и долгожданная команда; «Выходите с вещами!» Видно, я здорово ослабела, если маленький мой чемодан, с которым совсем недавно я ездила в пионерские лагеря, показался мне таким тяжелым. Я вышла из камеры. Снова знакомый путь вдоль узкого коридора, мимо бесконечных железных дверей с кормушками и глазками. Хлопают, как глухие выстрелы, флажки регулировщика в пролете на нижнем этаже. Путь свободен. На минуту я попадаю в тюремный двор и сразу же, почти из двери в дверь, поднимаюсь в кузов «черного ворона». Дверь захлопывается, и я оказываюсь в крошечной тьме.

Вспоминается поездка «на свидание» с Абакумовым. Но мое одиночество на этот раз было недолгим. Дверь снова открылась, и в бокс вошла женщина в платке и ватнике. Лица в темноте я различить не могла. Как я была ей рада! Радовалась ли я когда-нибудь в жизни новой встрече так, как радовалась в этот момент?! Мне неважно было, кто она, за что она здесь, просто присутствие человека, подобного мне, делало меня абсолютно счастливой. Мы познакомились. Ее звали Лида. Я в замешательстве молчала, не зная, о чем можно спрашивать. Лида заговорила первая.

— Ну вот, снова лагерь. Проклятая жизнь! Дернула нелегкая жалобу подавать. Вот и пересмотрели! Намотали на всю катушку. — Лида говорила зло и непонятно. Что пересмотрели, какая катушка? Я осмелела и стала ее расспрашивать. За что она арестована?

История была короткая и трагичная. Я ничего подобного до сих пор не слышала. Была она медсестрой на фронте, попала к немцам в плен, потом в лагерь. Чтобы выжить, работала там помощником дантиста. Когда наши захватили лагерь, Лиду тут же арестовали, дали десять лет и отправили в Воркуту, в Заполярье. Она писала жалобу за жалобой, объясняя, что ни в чем не виновата, а просто спасала свою жизнь. Наконец ее вызвали на переследствие. Снова судили, но вместо десяти лет лагерей дали двадцать пять. Рассказ Лиды меня поразили меньше, чем тот срок, который она получила, — значит, не мы одни удостоились. Стыдно признаться, но я была почти рада такому открытию — мне казалось, что с моим приговором я никого не встречу. Я обняла Лиду за плечи и сообщила ей в утешение, что и у меня двадцать пять. Вот что означало «намотать на всю катушку».

Но Лида была уже старая лагерница, не склонная к сентиментальности, и общность наших судеб ее не ободрила.

— Сдохнем мы теперь! Для двадцатипятилетников особо строгий режим в лагерях, — заключила она с тоской. Ее не очень интересовало мое дело. Услышав мой рассказ, Лида как-то зло сказала: — И чего вам только надо было?! Ведь вам лишь птичьего молока недоставало!

Как часто потом мне приходилось чувствовать подобное отношение к нашему делу. Люди, которые сами сидели ни за что, нас искренне осуждали, не желая в нас видеть борцов за справедливость.

— Мы-то страдаем без вины, а вам, щенят, так и надо, нечего на своих руку поднимать! — Это говорили простые люди, пережившие все беды войны и чудом уцелевшие. На руках у многих было вечное клеймо с номером Освенцима, Дахау, а на спине бушлата пришит номер родного советского лагеря. Они чувствовали себя жертвами войны, ждали, что в их судьбе разберутся и отпустят. Мы же для них были преступниками, и никакие наши добрые намерения не встречали с их стороны сочувствия. Лида была первая из многих, кто осудил меня. Мои однодельцы встречали то же отношение в лагерях, что и я. Это был первый урок — не распространяться слишком о себе и своем деле.

Нас везли по весенним улицам Москвы. Сквозь бензинный запах машины чувствовался свежий теплый воздух. Когда мы останавливались на светофоре, я ясно слышала стук женских каблучков по асфальту и многоголосие города. Весенние звуки и запахи — это все, что мне дарила Москва на прощание. Как хотелось хоть на минуту увидеть город, знакомые улицы! Нас выгрузили где-то на дальних железнодорожных путях, даже издали Москвы нам не было видно.

Подшел солдат и забрал мой чемодан и Лидину котомку. А нас подвели к последнему вагону длинного состава, на котором красовалась надпись: «Почта». Туда мы с Лидой и влезли. Все в этом вагоне было как обычно — длинный коридор и на одной стороне его — купе, но не с дверями, а с решетками. В купе, куда мы втиснулись, все пространство было забито до отказа. На скамейках, на полу, на двух сплошных полках под потолком — всюду лежали вповалку, сидели притиснутые друг

к другу люди. На нас смотрели десятки любопытных глаз. Я с трудом уместилась на скамейке у самой решетки.

Странные женщины окружали меня — грубые, некрасивые лица, полуголые тела с огромными татуировками. Говорили они крикливо, пересыпая речь бранью. Порой мне казалось, что это незнакомый мне язык, половины слов я не понимала. Все эти горластые женщины выглядели старыми, хотя фигуры их и бурное поведение больше говорили об их молодости. Лида шепнула мне, что это блатняжки, воровки, и чтобы я ничего им о себе не рассказывала. Но они и без нашей помощи сразу поняли, что мы «политические». Меня о чем-то спрашивали, что-то кричали, свешиваясь с верхних полок, но я от всей этой устрашающей картины потеряла дар речи.

— Эй, розанчик, так твою мать, не журишь, мы не кусаемся! — миролюбиво обратилась ко мне толстая полуголая деваха в лифчике, сидящая на полу. На ее животе при каждом движении извивалась синяя змея — татуировка была сделана мастерски. Прижавшись лицом к решетке, отделявшей нас от коридора, она перекрикивалась с заключенными мужчинами в соседнем купе. Время от времени конвой рывкал на нее и, видимо, зная, что прекратить разговора он не может, шел дальше по коридору.

Нам принесли соленую тюльку в мисках и пайку черного хлеба, еще более непропеченного, чем в тюрьме. После такого обеда скоро захотелось пить, но воды до вечера не давали. Заключенные переругивались с конвоем, требуя воды. Солдаты отвечали им той же бранью. Мат висел в воздухе с такой же плотностью, как вонь. Дышать было нечем. Пот струился по телу, ноги и руки затекли, но переменить позу из-за тесноты было невозможно.

Я даже не заметила, когда наш состав начал двигаться. Наконец по очереди стали выпускать в уборную. Сначала мимо нас проходили мужчины. Вид у многих был звероподобный. Они все старались задержаться у нашей решетки, что-то кричали, гоготали. Вдруг какой-то бородач притиснул лицо к тому углу, где сидела я. Горящие глаза уставились на меня в упор: «Как звать тебя, девочка? Давай подженимся». Конвой оттащил его и толкнул в спину. На обратном пути из уборной он опять что-то мне говорил.

От страха я съежилась и опустила голову, стараясь не встретиться с ним глазами. Мое молчание бородатый принял за оскорбление и из своего купе стал поливать меня страшной бранью и угрозами. «Вот попадем в один лагерь, я тебе покажу, фашистка! Родину продала, сволочь! Из-за таких мы здесь и гнием. Маруха, дай ей в морду за меня, а я от себя потом добавлю!» Он долго еще сквернословил, я почти ничего не понимала из его ругани. Страх сковал меня, и моя радость от встречи с людьми стала улетучиваться.

Наступила ночь. Замолкли неугомонные блатняки. Всех сморил сон. Каким-то чудом мне удалось протиснуться между телами на второй полке и вытянуть онемевшие ноги. Рядом со мной оказалась совсем молоденькая девушка с нежным, симпатичным лицом. Я с радостью заговорила с ней. Ответила она мне... по-немецки. Вот тут

пригодился мой скудный немецкий, так плохо выученный в школе. Девушку звали Хельга Штарке. Ее арестовали за участие в студенческой антисоветской организации, которая пыталась бороться за свободную единую Германию. Судили ее в Берлине, дали двадцать пять лет и отправили отбывать срок в советских лагерях.

Только утром я смогла рассмотреть мою новую знакомую. В том вертепе, который окружал нас, Хельга выглядела диковинной прекрасной птицей — тонкое красивое лицо, копна светлых волос, яркое летнее платье. Никакая тюрьма не смогла погасить румянец во всю щеку. Хельга рассказала, что ее взяли с пляжа и ничего, кроме платья и трусов, на ней не было. Чтобы она не замерзла в тюрьме, ей дали длинную рыжую солдатскую шинель. В таком наряде ее и везли. Рядом в соседнем купе находился ее жених Хайнц. Они тихо переговаривались через стену по-немецки. Блатняки всячески поносили этих двух иностранцев, но, к счастью, те ничего, кроме слова «фашисты», понять не могли, хотя враждебность им была ясна.

На другой день после полудня мы прибыли на место. Я услышала название станции — Рузаевка. Кто-то сказал, что нас привезли в Потьменские лагеря. Я очень обрадовалась — так близко от Москвы! Но радость моя была преждевременной. Когда все сошли на платформу, образовалась большая черная толпа. Нам приказали сесть на землю. Вокруг суетились солдаты с автоматами, считавшие заключенных по головам. Казалось, что я стала частицей какого-то ужасного стада нелюдей. Скрючившись, сидела я на земле в ожидании конца унижительной процедуры.

Потом нас построили в пятерки, что-то прокричал конвой — я с трудом разобрала последние слова, которые первый раз прозвучали особенно страшно: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Конвой применяет оружие без предупреждения!» Сколько раз потом я слышала эту «молитву»! Она пролетала мимо нашего привычного уха, не задерживаясь, не оставляя следа. Но первый раз каждое слово забивалось в сознание, как гвоздь...

Черная толпа потянулась по грязной, развезенной весной дороге. Строй скоро развалился, внутри толпы кто-то отставал, кто-то шел вперед. Вдруг я услышала рядом с собой хриплый голос: «Красючка, дай чемодан понесу, устала небось!» Со мной поравнялся вчерашний бородач. Сейчас, когда мы не были разделены решеткой, он не показался мне таким ужасным. Поблагодарив, я отказалась от его помощи, но он не отставал. Это был сравнительно молодой парень с темным изнуренным лицом. Глаза его светились нездоровым светом. Я потом видела не раз такие глаза у наркоманов, среди воров их было немало. Но в этот апрельский день в Потье у меня еще не было лагерного опыта, и взгляд моего попутчика показался мне таким необычайным, что запомнился навсегда.

— Не бойтесь меня, — сказал бородач, почему-то переходя на «вы». — Я вам ничего плохого не сделаю. А если в одном лагере будем, я вас в обиду не дам.

При упоминании об «одном» лагере меня бросило в дрожь. Я из последних сил пыталась догнать Хельгу, которая шла рядом с Хайнцем. Наконец я поравнялась с ними. Хельга объяснила Хайнцу, кто я. Хайнц взял мой чемодан, и мы пошли рядом.

Мой преследователь отстал, и я почувствовала себя спокойнее. Неожиданно колонна заключенных остановилась. Поверх голов можно было разглядеть колючую проволоку вокруг зоны и вышки с часовыми. Кто-то рядом сказал, что это пересыльная тюрьма и мы здесь не задержимся. Рузаевская пересылка распахнула перед нами ворота.

Прибытие этапа в лагерь или на пересылку всегда сопровождалось неукоснительным ритуалом. В государстве, где не было ни закона, ни порядка, строгие правила соблюдались, наверное, только в тюрьме. Жизнь на новом месте начиналась с бани. Даже в тюрьме баня — удовольствие! Как ни странно, но заведения эти всюду, где мне пришлось побывать, были построены на славу, добротно, даже с размахом: и шайки, и горячая вода, и клубы пара — все было как положено. На несколько минут мое удовольствие от бани омрачилось процедурой бритья. Я остолбенела, увидев длинную очередь голых женщин, стоящих в ожидании санобработки. Брил лобки мужчина-заключенный.

Но видя, как спокойно женщины подходят к нему, еще и перекидываются шутками, я смирилась и пошла, как овца, под бритву. После бани нас расселили по большим комнатам-камерам с двухъярусными нарами по стенам. Не зная законов жизни в многолюдных камерах, я не поспешила занять лучшее место на нарах, как сделали опытные зэки, а осталась стоять в нерешительности посреди комнаты. Как я поняла потом, важно было захватить верхние нары, там просторнее, больше воздуха. На этот раз мне досталось свободное пространство в самом углу, под верхними нарами. Темнота, духота, вонь, но только на мгновение — я провалилась в сон.

Жизнь на пересылке особенная, она не походит на жизнь в тюрьме или в лагере. Рузаевская пересылка была транзитным пунктом. Здесь собирали этапы, большие и малые, и гнали эшелоны товарных вагонов с заключенными по всем направлениям. Иногда отправляли и по-одиночке в вагонзаках, называемых с дореволюционных времен «столыпинскими». В камере, где я находилась, было человек пятьдесят, но их состав не был постоянным, люди появлялись неожиданно и так же неожиданно исчезали. Никто не успевал прижиться к месту, подружиться с кем-нибудь. В кормушку выкрикивались фамилии вызываемых на этап. Люди собирали свои жалкие пожитки и навсегда исчезали за дверью. А оставшиеся с напряжением ждали своей очереди — не сегодня, так завтра, и все хотели поскорей покинуть это место, куда-нибудь «определиться».

Правда, торопились не все, бывалые зэки не спешили, зная, что «кантоваться» (увильнуть от работы) легче всего здесь, что ничего хорошего в лагере их не ждет и что самая главная мудрость, которая таким, как я, была еще недоступна: «День кантовки — год жизни!» Они жили сегодняшним днем, не подгоняли время, и вокруг них создавалось ощущение какого-то уюта и тепла. Я с первых дней заметила таких людей, наблюдала за ними и не могла понять, как они могут здесь жить «взаправду»! Надо было хлебнуть того, что выпало на их долю, чтобы оценить их мудрость.

На работу заключенных не водили, книг не давали, и делать было абсолютно нечего. Каждый занимал себя чем мог, в основном поисками подходящего собеседника и долгим разговором, если посчастливилось. Вначале я развлекала себя, наблюдая за пестрым населением камеры. Кого только здесь не было! Селянки-украинки в длинных юбках и широких блузах, какие-то странные тихие женщины в белых косынках, похожие друг на друга своей замкнутостью и отрешенностью от всего происходящего (потом я узнала — это были сектантки из разных сект). Были тут и живописные цыганки, и воровки-блатняжки, и проститутки, и ничем не примечательные изможденные женщины без возраста.

Я с интересом разглядывала это общество, прислушивалась к разговорам. Люди рассказывались группами или парами на нарах, просто на полу и часами рассказывали друг другу свои невеселые истории. В этом была потребность большая, чем в еде и сне. В камере стоял постоянный гул голосов. Блатных было немного, но слышны они были больше всех: они или кричали (нельзя было понять, ссорятся они или просто разговаривают), или пели свои особые песни. Ничего подобного я раньше не слыхала — трогательные и страстные рассказы, сопровождаемые простым заунывным мотивом.

В каждой песне говорилось о погибшей жизни, о тоске и вине перед матерью. Пели их хриплыми, резкими голосами, похожими на стоны. Несмотря на свое меньшинство, блатные чувствовали себя в камере полными хозяевами. Они занимали лучшие места на нарах, отказывались выносить парашу, что все обязаны были делать по очереди, переругивались с конвоем, висели на окнах, спуская на нитках записки, «ксивы», в камеры мужчин. Тюрьма была их домом. Люди эти внушали мне ужас и любопытство одновременно, и я неотступно следила за их жизнью, стараясь, чтобы они не заметили моего интереса.

Некоторые женщины в нашей камере были осуждены на ссылку и ехали прямо с воли. У таких сохранялись узелки со снедью. Воровки их терроризировали и, если им не отдавали еду, отнимали ее. Впервые я увидела, как большинство тупо смиряется под напором наглости и силы. Безнаказанность делала блатных еще более агрессивными, они гордились, что осуждены по уголовному кодексу. «Мы советские, а вы все фашисты!» — кричали они со злостью. Мы были «враги народа», что могло быть хуже! Казалось, и конвой им симпатизировал, во всяком случае, воры были более понятны, чем политические.

Те несколько дней, что я провела на пересылке, мы с Хельгой не разлучались. Сейчас трудно представить, что при моем скудном немецком мы разговаривали часами — и об искусстве, и о политике, и о наших семьях. Хельга была дочерью адвоката. Жила в Потсдаме в собственном доме. Отец не одобрял фашизма, но и советскую оккупацию воспринимал как несчастье. Хельга стала членом студенческой антисоветской организации, целью которой была единая свободная Германия. Деятельность их организации была не более плодотворна, чем нашей, и всех ее членов посадили так же быстро, как и нас. Были мы ровесниками. Больше всего недоумевала Хельга, почему везут ее отбывать наказание в Советский Союз — судил

же их суд ГДР. И боялась пуще всего Сибири, думала, что только там настоящая каторга с кандалами.

Обучала я Хельгу самым необходимым русским словам, но однажды не уследила, и блатняжки преподали ей свой урок. Желая попросить воды, она подошла к двери и громко произнесла отвратительные ругательства, уверенная, что просит пить. И надзиратель, и воровки покатались со смеху. Больно было смотреть, как Хельга в растерянности обводила всех глазами, не понимая, что произошло.

Как всегда, неожиданно нас «выдернули», пользуясь лагерным жаргоном, на этап. На этот раз в вагонзаке было свободно — всего человек десять. Я была счастлива, что везли нас вместе с моей новой подругой, а она горевала о разлуке с Хайнцем. Ехали мы всего ночь. Наутро прибыли в Горький, название станции прочли сквозь окно в коридоре. Погрузили нас в «воронок» и повезли в горьковскую тюрьму. Мы волновались: почему снова тюрьма? Где же лагерь, в котором нам надлежит «осесть»? Спрашивать было некого.

Процедура приема в тюрьме уже знакомая, но такая же унижительная, привыкнуть к ней невозможно. Личный «шмон» с заглядыванием во все закоулки тела, перетряхивание волос и каждой вещи. Мрачные лица тюремщиков — что в Москве, что в Горьком, как они похожи, словно мать одна родила! Снова баня, но только с душевыми кабинками, как в Лефортово. Мы с Хельгой вышли последними, подошли к своим вещам, лежащим на скамейке, и тут она обнаружила, что пропали ее единственные трусы. Хельга была в отчаянии, расплакалась и все повторяла по-немецки: кому нужны чужие трусы?

Слава Богу, нашлась лишняя пара в моем чемодане, и Хельга сквозь слезы смеялась, представляя, как она этот эпизод будет рассказывать друзьям в Германии. Я смеялась вместе с ней, но комизм ситуации заслоняло чувство стыда за «своих», за русских, какими видели их иностранцы. Мне еще не раз было стыдно перед людьми, которые узнавали Россию и ее народ, путешествуя из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь. Многие из них начинали ненавидеть всех вместе взятых — карателей и их жертв.

В отрезанной от мира Советской России недоверие к иностранцам взращивалось с малолетства. Шпиономания и ксенофобия насаждались сверху, шовинизм, раздутый до уродства патриотизм, какая-то особая советская гордость или, вернее, гордыня — все это произрастало и цвело, разрушая нормальные человеческие отношения. Иностранцы-заключенные, которых было бесконечное множество в советских лагерях, испытывали на себе все, что посеяла власть в душах своих подданных. Их сторонились, презирали всех оптом, называли фашистами, буржуями. А сколько среди них было антифашистов, наивных коммунистов, приехавших помогать строить «первое в мире справедливое общество», истинную «справедливость» которого они испытали на самих себе!

Немцам приходилось особенно тяжело. Заключенные, пережившие оккупацию, плен, вымещали на них все накопившееся зло за искаленную жизнь. Разобраться, что

все они жертвы одного и того же чудовища, людям было не под силу. Конечно, я встречала и совсем другие взаимоотношения, дружбу, горячую привязанность русских к иностранным заключенным, но это было редко. Я уж не говорю об антагонизме, который, как правило, испытывали к русским национальные меньшинства (бывшие в общей сложности в значительном большинстве). В общем, как и в «большой зоне», жизнь в тюрьмах и лагерях была соткана из противоречий — из ненависти и любви, из верности и предательств, из дружбы и вражды. Чего в ней было больше, трудно сказать — статистики не существует, а личный опыт — дело субъективное, как кому повезет.

По отношению к себе я за пять лет тюрем и лагерей встретила куда больше доброго, чем злого. Какой опыт предстояло получить Хельге? Что вынесла эта девушка из своего заключения, мне неизвестно, нас скоро разлучили, и мы никогда больше не встретились. Но наш не прямой и долгий путь на север — ее первое знакомство с Россией — был нелегким испытанием.

Ночь в горьковской тюрьме мы провели с Хельгой под одним одеялом, никак не могли согреться в бетонной мрачной камере. Утром нас снова посадили в «воронок» и повезли на вокзал. Тут кто-то из конвоя проговорился: произошла ошибка, ехать нам назначено совсем не в Горький, а в другую сторону, на север. Состояние непрочности, неопределенности жизни, так мучившее меня в тюрьме, продолжалось — каждый следующий момент не принадлежал тебе, как и предыдущий.

И снова нас водворили в камеру Рузаевской пересылки. Потащились похожие друг на друга дни. Народ все прибывал и прибывал. Больше всего было украинок, совсем молодых девушек. Я пыталась с ними разговаривать, мне казалось, что понимаю украинский — в детстве у нас была няня-украинка и я всегда слышала, как отец говорил с ней по-украински. Но эти девушки говорили на непонятном мне языке. Потом мне объяснили, что западный украинский отличается от восточного, в нем много немецких, венгерских, польских слов, да и интонации другие. В общем, оказался для меня украинский неожиданно иностранным языком. Позже в лагерях я научилась хорошо понимать моих подруг из Львова, из Закарпатья, но говорить не могла. Так мы и беседовали на любые темы на двух «братских» языках — я по-русски, а они по-украински. Это нам ничуть не мешало. В Рузаевке такое общение еще было невозможно.

С появлением «западничек» мы с Хельгой уже не чувствовали себя самыми младшими. Украинские девчушки выглядели совсем детьми. Марийке и Нюсе было по шестнадцать. Уже полгода их мотали по следственным тюрьмам. Кое-как я поняла, что сидят они за связь с партизанами — бандеровцами. Как правило, почти все женщины с Украины в лагере утверждали, что ни в чем не виноваты. Иногда рассказывали, что накормили скрывавшегося в лесу родственника. Но я не очень верила таким рассказам, зная, как ненавидят они русских «освободителей». Сколько потом я слышала о жестоком следствии, об избиениях и надругательствах. Уже и перестала удивляться всем ужасам, тем более их ненависти к русским.

Когда наша камера уплотнилась до предела, стали поговаривать о большом этапе. Мы гадали, куда повезут. Называли и Караганду, и Воркуту. Хельга заклинала:

«Только бы не в Сибирь!» Все боялись Воркуты, рассказывали, какие лютые там морозы. По набитой людьми камере от одного к другому кочевали «параши» — слухи. Все боялись и ждали перемен — жизнь на пересылке становилась невыносимой.

Однажды, когда казалось, что уже ни один новый человек не втиснется в камеру, открылась дверь и вошла высокая молодая женщина. Одета она была не по-нашенскому и выглядела в этой комнате совершенно невероятно, как будто попала сюда случайно, по ошибке, и сейчас уйдет. Но дверь захлопнулась, и она осталась стоять, не зная, куда двинуться. Мы с Хельгой сидели в углу на нарах, недалеко от двери. Я привстала со своего места и позвала новенькую к нам. Несколько слов, сказанные ею по-русски, не оставляли сомнения, что она иностранка.

«Шпрехен зи дойч?» — с надеждой спросила Хельга. «Я!» — воскликнула женщина, и они кинулись друг другу в объятия. Несколько минут они быстро-быстро говорили, перебивая друг друга. Они смеялись, снова кидались обниматься, как будто встретились сестры или старые друзья. Трудно было поверить, что несколько минут назад они не были знакомы. Я радовалась, что Хельга встретила землячку, но в то же время ужасно ревновала ее, понимая, что наша дружба отходит на второй план. Сидя рядом, я прислушивалась к их разговору, с трудом улавливая смысл. Потом мы познакомились. Молодую женщину звали Эдит. Она давно уже сидела в советской тюрьме и научилась немного говорить по-русски.

Смешно коверкая слова, Эдит стала рассказывать, почему ее посадили: «Длинный язык — плохо. Посадят за болтовню! Но короткий язык тоже плохо — посадили за то, что не донесла на подругу, та что-то делала против русских». Она рассказывала и звонко смеялась, хоть и мало веселого было в ее истории. Арестовали беременной. В тюрьме родила дочку, которую тут же забрала к себе мать. Горевала Эдит, что не дали ей хоть раз запеленать ребенка. Осудили ее на десять лет. Но она ни секунды не верила, что будет сидеть так долго. «Скоро, скоро нах хаус», — говорила Эдит. На прекрасном ее лице сияла белозубая улыбка, от которой всем становилось легче. Даже блатные беззлобно называли Хельгу и Эдит «наши две фашистские птички», но... миролюбия их хватило ненадолго.

На улице стояли солнечные, теплые дни. Нас выводили по десять человек на прогулку, и я не могла надышаться весенним воздухом. В камере были духота и смрад. Я торопила время — скорее, скорее в лагерь. Хотелось работать, делать что-то полезное. Старые лагерницы учили меня лагерной мудрости: никуда не стремиться, не проявлять никакой инициативы, «сидеть и не чирикать!». Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, может быть, будет хуже. Этой линии поведения надо было еще долго учиться, пока же я, как молодой конь, не могла стоять на месте — рвалась к какой-нибудь деятельности.

Но вот долгожданный этап. Построили нас по пятеркам, окружили автоматчиками с собаками, прочли уже знакомую «молитву» — шаг вправо, шаг влево... — и повели огромной колонной к станции. Пожалуй, это был первый раз, когда конвоировали нас с собаками. Несмотря на их свирепый вид, для такой любительницы собак, как я, эти явившиеся, рвущиеся на поводках звери были привлекательны. Я с удовольствием их разглядывала, с трудом сдерживаясь, чтобы, как в былые времена, не посвистеть, не позвать к себе милую собачку. Потом в лагере мне прочли стихи, сочиненные одной эсеркой (отсидевшей лет двадцать и не потерявшей чувства юмора) на тему знаменитого детского стихотворения Маршака «Дама сдавала в багаж...» Может быть, и не к месту, но очень хочется уберечь эти стихи от забвения. Особенно запомнились они мне потому, что знакомая, милая история вдруг обрела зловещий смысл — что-то похожее на мою собственную жизнь. Вот это стихотворение:

Дама сдавала в багаж

Котомку, а не саквояж.

Картины, корзины, картонки там нет,

И в кассе никто ей не выдал билет.

И дама была не в пальто, а в бушлате

На серой и грязной слежавшейся вате.

И даму конвой провожал с автоматом

И крыл ее русским отборнейшим матом.

Собачка, что дама когда-то держала,

Из комнатной моськи овчаркою стала.

Собаке приказано рядом идти,

Чтоб дама сама не сбежала в пути.

На путях стояли товарные вагоны. Нас распределили по тридцать человек в вагон. Подгоняемые окриками солдат, заключенные залезали в высокие грязные товарняки. Новый вид транспортировки был для меня не нов, я еще помнила времена войны, эвакуацию в похожих теплушках. Тогда нас везли спастись из Москвы... под Сталинград. Такое место было выбрано отцовским наркоматом для семей сотрудников. Позже еле ноги унесли оттуда! Куда же везут нас сейчас? Конвой не скрывал, что весь этап едет на север, в Коми АССР. Комяцкий край — воображение рисовало что-то бескрайнее, снежное.

Олени, чумы, нарты — что еще я знала? Да, вечная мерзлота и северное сияние! Как хорошо было стоять перед картой в теплом классе и тыкать тонкой указкой куда-то в край карты! Главный город автономной республики — Сыктывкар, население — коми, в основном оленеводы. О другом населении, намного превосходящем по численности и по плотности коренных жителей, нам никто в школе не рассказывал — «мы этого не проходили».

В теплушке было почти темно, еле проникал свет из крошечного оконца с решеткой. Я забралась на верхние нары и припала к нему лицом. Сердце сжимала тоска, не хотелось ни с кем разговаривать. Я смотрела на бегущую мимо землю — все было серо, неприглядно. Негустые леса вокруг стояли еще голые, земля — бурая, будто мертвая, и никаких других красок.

Незаметно мои мысли перенеслись домой. Что там у них? Не арестовали ли отца (постоянный мой страх!)? Как они пережили эти тяжкие пятнадцать месяцев? Бесчеловечно, что не дали нам свидания. А теперь все дальше и дальше увозят меня от Москвы. Вернусь ли я когда-нибудь?

Состав грохотал по рельсам, и сквозь этот шум я еле различала гул голосов в вагоне. Стало смеркаться, когда я оторвалась от окна. В теплушке было холодно, несмотря на топившуюся посередине печку-буржуйку, труба которой выходила на крышу. Вокруг печки стояли и сидели женщины, некоторые на палочках жарили над углями ломти хлеба. Запах теплого хлеба разжигал голод — нас с утра не кормили. Наконец состав остановился. Со скрежетом открылись двери вагона. Двум заключенным приказали вынести парашу — тяжеленный бак на палке. В дверях показался солдат с ведром, из которого пахло съестным. Мы получили по миске овсяной каши. Вряд ли я ела когда-нибудь более вкусную кашу! Без капли жира, с шелухой от зерен — она исчезла в минуту. Пиршество завершил кипятик с жареным хлебом. Попахивающий дымом хлеб всегда был потом лакомством в лагерях и напоминал мой первый этап.

В вагоне стало совсем темно, светились только угли в открытой печке. Надо было располагаться на ночь. И тут оказалось, что на лучшие места в середине, на верхних нарах, претендуют блатные. Хотя и были они опять в меньшинстве, но, как всегда, всем распоряжались. Отвратительно бранясь, они потребовали, чтобы мы, Хельга, Эдит и я, «убирались под лавку». Мне было противно с ними связываться, и я тут же переселилась.

Но гордые иностранки не захотели подчиниться. Они не очень понимали, с кем имеют дело, и, конечно, не знали, на что способны эти человекоподобные существа. Расправа с невеждами» произошла в одну минуту. Я было кинулась им на помощь, но сердобольные украинки схватили меня за руки и не дали сдвинуться с места. Я с ужасом смотрела, как мои приятельницы летели вниз головой с верхних нар. Никто не сделал и попытки им помочь. Стыд, который я испытала и за себя, и за всех людей вокруг, невозможно забыть. Этот сжигающий меня стыд был сильнее, чем жалость. Хельга и Эдит горько плакали, сидя в углу. Я не смела к ним подойти. Что они думали о русских, какое презрение к ним испытывали! Нас было двадцать пять,

простых, нормальных людей — мирных, не привыкших драться, защищаться. А их, этих животных, было всего пять. И они были сильнее!

— Уж лучше мы с жидовкой рядом спать будем, чем с фашистками! — кивая на меня, орали девки. Им никто не ответил. Все лежали тихо, и каждый думал о своем. Слышны были лишь глухие всхлипывания в углу вагона. Усталость взяла свое, и я провалилась в сон.

Ночью мы проснулись от ужасного грохота — чем-то тяжелым колотили по крыше теплушки. Потом стук перешел на стены, а затем кто-то стал бить по полу. Со страхом все сидели на нарах, оглушенные громом ударов. Лида, которая была со мной рядом, успокоила — это конвой бьет деревянными молотками по вагону, проверяя, целы ли доски, не готовит ли кто побег. Состав наш стоял. Внезапно распахнулись двери, и двое солдат впрыгнули в вагон. Режущий свет ручных фонарей бил в глаза. Не понимая, что происходит, все смотрели на вошедших.

— Все с правой стороны быстро переходите налево! — закричал солдат. Команды произносились с такой злостью, как будто ожидалось сопротивление. Сонные, перепуганные люди стали перебираться на другую сторону. В темноте мы натыкались друг на друга, женщины с верхних нар чуть не кубарем летели вниз, наступая на других, выползавших из-под нар. — Быстрее, быстрее! — торопил конвой. Когда правая сторона опустела и заключенные, притиснутые друг к другу, столпились на левой стороне, нас по одному стали перегонять обратно.

— Первый, второй, третий, — считал по головам конвой. — А ну, поворачивайтесь, спите, что ли, на ходу!

С трудом справляясь с сонной одурью, заключенные переходили с места на место. Свет фонарей выхватывал отдельные лица, огромные тени метались по стенам. Снова нас, как скот, перегнали на одну сторону. Конвоиры шепчутся, проверяя счет, — слава Богу, сошлось, все на месте.

— Валяйте, спите! — бросают, уходя, солдаты и с лязгом задвигают тяжелые двери. Мы расползаемся по своим местам. Долго я лежу, вперившись в темноту, сна нет. Сколько раз потом мне приходилось вскакивать среди ночи, то «шмон», то «проверка»... Полуграмотный надзорсостав пересчитывал заключенных по многу раз, снова и снова, часами — счет все не сходился! Но бывалый зэк жил себе своей жизнью, не обращая внимания на происходящее вокруг: чем дольше считают, тем лучше (если сидишь в бараке). На разводе, в лютый мороз или в жару, когда заедает гнус, приходилось худо. Но эту первую ночную проверку забыть я не могла.

К утру я совсем закоченела. Печка за ночь погасла, и изо рта шел пар. Шевелиться не хотелось — если бы можно было снова уснуть! Но вот кто-то начал копошиться около печки. Запахло дымом. Женщины стали подниматься. В слабом утреннем свете, растрепанные, с бледными, помятыми лицами, укутанные в тряпье, они выглядели страшно. К параше выстроилась очередь. Воспользовавшись освободившимся местом у окна, я залезла на верхние нары и припала к решетке.

Пейзаж за ночь сильно изменился. Леса совсем пропали, мы ехали по пустынной местности с редкими перелесками из низкорослых голых деревьев. Стали пробегать вдалеке лагерные вышки, такие, как в Рузаевке. Их было все больше и больше, и я ждала, что поезд остановится, — зачем же ехать дальше, когда здесь столько лагерей понастроено!

Поезд действительно остановился. Несколько человек вызвали по именам и увели. А всем остальным выдали хлеб и кипяток. Стали судачить, где лучше отбывать срок — здесь или севернее. Лида уверяла, что на севере сытнее, рыбу дают, продукты лучше, а здесь на одной гнилой капусте люди пухнут с голоду. Выходило, что надо радоваться нашему назначению. Но радоваться было трудно — приближение севера ощущалось и в вагоне, и за окном. На земле лежал снег, а на нарах зуб на зуб не попадал от холода. Немного согреться можно было только у печки, и мы целый день жались к ней, подставляя то лицо, то спину.

День проходил в бесконечных разговорах, только так можно было хоть немного забыться, отдохнуть от гложущей тоски и страха перед неизвестностью. Эдит рассказала нам о своей жизни. Ей пришлось перенести много тяжелого при Гитлере. Услышав это, я еще больше удивилась ее веселому нраву. Отец Эдит был еврей, мать — немка. Какое-то время отца не трогали, почему-то не докопались до его национальности. Жили они в постоянном страхе, ждали беды. Отца арестовали за что-то другое, а уж потом выяснили, что он еврей. В лагере он пропал, умер наверное. Эдит с матерью скрывались, переезжая с места на место.

Еле дождались конца войны. Кое-как наладили свою жизнь, Эдит вышла замуж. И тут снова несчастье — не донесла на подругу, которая, по мнению Эдит, виновата была только в том, что крутила роман не с тем, с кем надо. Но вина самой Эдит была так несоразмерна с наказанием, что наивная молодая женщина не сомневалась в своем скором возвращении домой. Она была удивительно красива, как с картинки модного заграничного журнала, высокая, длинноногая, с золотистыми локонами и темно-синими миндалевидными глазами. Смеялась она так заразительно, что, не понимая ее немецкой речи, женщины начинали смеяться следом за ней, всем вдруг становилось весело.

Запомнилось, как смешно она рассказывала о языке жестов, на котором она долго общалась в советских тюрьмах, не зная ни одного русского слова. Оказалось, что можно почти все объяснить без слов. Потом она начала учить русские слова, и сколько смеха было оттого, что она все путала. Я любовалась Эдит — ее красотой, грацией, особой манерой слушать и говорить. Впервые в лице Эдит и Хельги я знакомилась с западными людьми. Тогда я не могла уловить, вернее, сформулировать, в чем же разница, — ведь и эти женщины выросли в тоталитарном государстве? Чтобы не быть навязчивой, я часто сознательно отходила от милых немок, оставляя их вдвоем, — им было о чем поговорить.

Долго ли продолжалось наше путешествие, теперь мне трудно сказать. Тогда мне казалось, что прошла вечность с момента, когда я покинула свою лефортовскую одиночку. В памяти все начало тускнеть и отдаляться, будто и было в другой жизни.

Неужели меня так мучило одиночество, так хотелось к людям?! Вот сейчас я среди них, стиснута на нарах двумя телами, а там дальше еще и еще лежат люди, совсем мне чужие, безразличные к моей судьбе или враждебные мне. И я им не нужна, и они мне тоже. Каждый занят своей бедой. Найду ли я близкие души среди этой толпы?

Мне не спится. За ночь вагон остывает так, что температура внутри почти как на улице. Еще не научились мы оставлять дежурных у печки, каждый жил для себя, коллектива не было. И хоть все страдали от холода, но с вечера норовили побыстрей забраться на нары и забыться сном. К утру стены теплушки покрывались сизым инеем. Мы уже привыкли к ночным проверкам, гроыхание молотков по вагону не пугало. А при появлении конвоя, почти не просыпаясь, женщины механически переходили с места на место, утром с трудом вспоминая, поднимали ли их ночью.

Вся процедура стала неизбежной частью жизни, как вынос тяжелой, зловонной параша. Состав наш шел медленно, подолгу стоял на станциях, но где-то на отшибе, так что мы редко слышали людские голоса и шум города. В окне стало еще безрадостней, признаки весны совсем исчезли, вокруг лежал снег. Компания блатных поубавилась — трех высадили по дороге, и они исчезли с наших глаз и из памяти. Оставшиеся две девицы поутихли, стушевались. Весь день сидели на нарах и бубнили о чем-то хриплыми птичьими голосами.

Однажды вечером я забралась к ним на верхние нары и попросила разрешения посмотреть в окно. После их расправы с немками я старалась не смотреть в их сторону — они все были мне отвратительны. Но желание выглянуть из «клетки» пересилило. Моему появлению блатняжки очень обрадовались, они чувствовали спую изоляцию, и мое обращение как бы меняло всю ситуацию. Смотреть в окно мне не пришлось. Вначале они поинтересовались, откуда я, и, узнав, что я москвичка, студентка, стали надо мной причитать, как это такая образованная девушка стала фашисткой! Всякий, кто не имел уголовной статьи, автоматически причислялся к фашистам. Общаясь с блатными, я скоро поняла, что себя они считают патриотами, настоящими советскими людьми.

В своей судьбе они обычно не винят никого. Горечь ее сдобрена особой сладостью порока и чувством своей исключительности. В общем, выбор эти люди делали сами (конечно, какие-то обстоятельства толкнули их на преступный путь) — их домом была тюрьма, лагерь, куда они снова и снова возвращались после коротких периодов разгульной воли. Моих знакомых звали Люба и Нинка — так они представились. Обе были молодые, но какие-то изношенные: серые лица в морщинах, длинные патлы волос, вечные папироски в углу рта. На мой взгляд, они были неразлично похожи друг на друга, я даже спросила, не сестры ли они. Оказалось, что Люба — ростовчанка, а Нинка с севера.

Татуировки на руках у девиц были тоже одной тематики, у одной какой-то вопль в адрес «отца родного», то есть Сталина, у другой — в адрес Матери-Родины. Я видела потом эти стандартные лозунги-заклинания у многих урок: «Умру за Сталина!», «Люблю Родину-Мать». Иногда слово «Родина» отсутствовало — клялись в любви

собственной матери. Вариантов было не так уж много, рисунки тоже повторялись: извивающиеся змеи, проткнутые сердца, целующиеся голуби. Примитивность урок была ошарашивающая, именно в силу этого они свято исполняли свои собственные блатные законы, не подвергая их ни малейшей критике, и нарушали общечеловеческие законы без всякого раскаяния.

О жизни этого особого класса общества, о его психологии, о его неписаном кодексе, о его фольклоре и, главное, о причинах его появления и расцвета именно в советское время надо писать целые исследования. В обыденной жизни люди редко встречаются с подобными существами, они — как мираж, как жители других планет, понять их невозможно, как ни старайся. По наивности и неопытности я сделала попытку что-то уразуметь в их поведении — несчастные, заблудшие... Я даже попыталась перевоспитывать кого-то из урок (я была не первая и не последняя на этом пути). В лагере я чуть было жестоко не поплатилась за свою глупость. А пока мои первые попытки окончились недоумением и... пропажей рукавиц.

Я оказалась находкой для болтливых девок. Они наперебой рассказывали мне были и небылицы о своей жизни. Нинка вдохновенно исповедовалась — бесприютное детство, шайка таких же подростков, колонии для малолеток. Домой возвращалась редко, а когда появлялась в родительском доме, то не чаяла, как оттуда сбежать, — отец ее избивал, а соседи косились и обходили стороной. Еще подростком она пошла по рукам, не испытывая никакой радости от этого. Говорила она обо всем не жалуясь, а просто повествуя, как о чем-то обычном, естественном — как у всех, так и у нее.

За перечнем событий ее жизни я видела бесконечную цепь страданий, унижений. Для Нинки это была просто жизнь. Уже не помню, какие тривиальные истины я говорила бедной Нинке, выслушав ее рассказ: что-то вроде перечня десяти заповедей. Она соглашалась, обещала обязательно изменить свою жизнь. Даже поклялась воровской клятвой: «Сукой буду, если не уйду от воров». И, щелкнув ногтем о передний зуб, провела большим пальцем по горлу. До поздней ночи шептались мы на нарах. Я уже строила планы нашей дружбы в лагере — спасу Нинку, вырву ее из блатного мира навсегда.

Утром на первой же остановке ее вызвали «с вещами». Она кубарем скатилась с верхних нар, подхватила свою котомку и, ни на кого не глядя, прыгнула на землю. Грохот задвигаемой двери, и Нинка исчезла навсегда, а вместе с ней исчезли и мои варежки. Я не успела огорчиться, что Макаренко из меня не вышел, как через несколько часов на очередной остановке конвой среди нескольких других выкрикнул и мою фамилию. Я была рада концу путешествия, только очень грустно было расставаться с Хельгой и Эдит. Мы расцеловались, я еще раз повторила заученный адрес Хельги — я напишу ей, как только освобожусь, это будет скоро, мы не сомневались. Моих приятельниц везли еще дальше на север, наверное в Воркуту.

Я выпрыгнула из теплушки последней. «Ауф видерзеен!» — в два голоса раздавались напутствия за спиной. «До побачення!» — желали мои украинские попутчицы.

Закрылись двери вагона. Перед нами простиралась без конца и края снежная равнина. Снег сверкал на солнце так, что пришлось зажмуриться. После темноты вагона трудно было глядеть по сторонам. Но глядеть, собственно, было не на что, глазу не за что было зацепиться: голубовато-искристый снег и ни одного темного пятна вокруг. Изо всех теплушек конвой выкликал фамилии заключенных. Люди выходили на свет Божий и останавливались, ослепленные светом, как и я. Нас всех согнали в кучу — мужчин и женщин.

Я обратила внимание, что вокруг меня стояли в основном пожилые, изможденные люди. Собралось человек пятьдесят. Мужчин отвели в сторону. Нас построили по пять, и небольшая колонна двинулась в никуда — невозможно было представить, что на этой белой земле без единого ориентира можно найти верное направление. После многодневного переезда мы все еле двигали ногами. Колонна сразу потеряла свои первоначальные очертания. Конвой подгонял нас окриками, но это не помогало. Некоторые останавливались, чтобы перевести дыхание, многие, наверное, были больны и истощены до предела. Со мной вместе шли Нюся и Марийка, с которыми я ехала еще из рузаевской пересылки.

Мы шли, стараясь не отставать друг от друга. Самые молодые и потому самые сильные из этого этапа «доходяг», мы скоро обогнали всех и оказались впереди. Куда мы так спешили?! Нас подгоняло любопытство, все самое плохое позади — тюрьма, следствие, суд, этап — ну что еще может быть хуже того, что мы пережили! В юности все оптимисты. Вокруг нас тундра, мы никогда ее не видели — это уже интересно! Синий прозрачный небосвод, хрустящий снег под ногами, морозный, слегка разреженный воздух, который мы вдыхали с удовольствием, — все было новым, удивительным. Вспоминая сейчас эту первую «прогулку» по тундре, я с трудом верю своей памяти: меня переполняла радость! И благодарность — чему-то, кому-то, кто надо мной, над всеми нами, над хорошими и плохими делами людей, над всем миром...

С этими неподходящими к ситуации чувствами я подошла к воротам Абезьского инвалидного лагеря. Занятая своими мыслями, я не заметила, как мы приблизились к поселку. Собственно, поселок под названием Абезь был дальше. Состоял он из одной улицы с десятком домиков, где жили надзиратели, конвоиры и все лагерное начальство. На языке коми слово «абезь» значит «чертова яма». Здесь, по рассказам, когда-то разбился самолет, и с тех пор это место получило такое название. Колонна остановилась перед деревянными воротами, густо оплетенными колючей проволокой. Сквозь них видны были длинные бараки, выстроившиеся рядами и обрамленные снежными валами.

Между бараками сновали люди, как две капли похожие друг на друга, неуклюжие, в серых ватных бушлатах и платках. На спинах бушлатов я отчетливо видела светлые прямоугольники с номерами. От этого зрелища необъяснимое веселье мое начало исчезать. Хотя меня и предупреждали о номерах, увидеть это своими глазами было тяжело. Территория лагеря казалась огромной, за небольшой площадью, занятой бараками, тянулась широкая полоса запретной зоны, огороженная тройной линией колючей проволоки. Под ней блестел на солнце нетронутый снежный наст. А по

углам зоны торчали деревянные вышки с «попками» — стрелками с автоматами, одетыми в огромные овчинные тулупы.

Пока я рассматривала эту устрашающую картину, ворота медленно открылись. С вахты вышел офицер со стопкой бумаг и начал прием этапа. По очереди мы переступали невидимую линию, отделяющую волю от неволи.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, — чеканит принимающий. В его руках личное дело вверяемого под его опеку заключенного, он тщательно сверяет лицо каждого с фотографией. Лицо блином, узкие глаза. «Наверное, из местного населения», — думаю я, механически рапортуя все свои данные. Четко и громко признаю свое имя и приклеенные к нему страшные цифры: статья, пункты, срок. Сначала мне казалось, что все с ужасом смотрят на меня, но скоро поняла, как безразлично относятся заключенные да и стража к этим цифрам. Уж слишком у многих были такие же статьи и сроки.

- Рейф, Алла Евгеньевна, 1931-й, 58-я, 1а, 10, 11, 8. Срок — 25.

Мой «набор» все-таки вызвал некоторый интерес: офицер дольше обычного изучал мои бумаги и на секунду дольше разглядывал мое лицо. «Пройдите!» — последовала команда, и я переступила невидимую черту. Через несколько часов, пройдя положенную санобработку, сменив мою домашнюю одежду на казенное серое платье и засаленный, в заплатах бушлат, я обрела еще один важный довесок к моему личному набору цифр — лагерный номер, принадлежавший мне одной и следовавший за мной по всем дорогам Гулага. Миллионная армия заключенных пополнилась еще одним зэком — Э-881.

Вечером в бараке для карантина, сидя на сплошных верхних нарах, я аккуратно пришила квадратные тряпки с номерами на спину бушлата и платья. Я старалась пришить ровно посередине одинаковыми стежками и очень прочно. Зачем?! Характер не переделаешь! Так же добросовестно старалась я и работать. Зачем? Тогда я не могла ответить на этот вопрос, а его мне не раз задавали мои бригадницы (некоторые из них), да и сама я часто спрашивала себя — чего стараюсь, зачем подчиняюсь нелепым правилам, работаю не за страх, а за совесть?

Прошло много лет с тех пор, и теперь, вспоминая годы заключения, я могу объяснить причину подобного поведения. Абсурд всего происходящего я должна была облечь в образы обыкновенной, нормальной жизни для того, чтобы выжить, не сломаться. Любая работа должна иметь смысл, иначе ее невозможно было бы выполнять. Когда, окрепнув немного, я попала в другой лагерь, уже не инвалидный, мне пришлось выполнять десятки самых разных работ. Некоторое время наша бригада работала на территории угольной шахты. Мы переносили с места на место терриконы, лопатами переваливая дымящуюся породу.

Работа была невыносима не только потому, что мы задыхались, изнемогали в столбах рыжего дыма, но и потому, что никто даже не пытался объяснить, для чего нужно менять место террикона. Это было как пытка, вид наказания. Но зато позже, при

других обстоятельствах, когда мы нагружали дымящейся породой грузовики на строительстве шоссейных дорог, было значительно легче. Хотя сейчас трудно даже вообразить, как мы выдерживали. Пять минут с завязанными до глаз лицами кидали лопату за лопатой, почти не дыша. Потом отбегали на несколько метров, сняв тряпку, судорожно глотали воздух и снова в пекло. С этой работой впоследствии я могла сравнить только корчевку пней, когда мошка-гнус заедала нас до смерти. И все же работа, даже самая тяжелая, сделанная хорошо, завершенная, доставляла радость. Не я одна так относилась к нашей подневольной работе, большинство не могло изменить своей врожденной добросовестности, и это часто спасало людей. Солженицынский Иван Денисович тому пример. Конечно, когда труд становился непосильным, исчезало ощущение его разумности. Чувство самосохранения заставляло людей все делать вполсилы, «туфтить».

Совсем иначе относились к работе блатные, любой труд был для них проклятием. Несчастные эти люди были готовы даже на членовредительство — только бы освободиться от работы. Какие только изощренные увечья они не наносили себе! На блатном жаргоне это называлось «сделать мастырку». Делались всевозможные впрыскивания под кожу, заглатывались предметы, натирались ступни ног и руки каким-то составом, после чего кожа вспухала и нарывала. Все это нередко приводило к тяжелым болезням, а иногда и к смерти. Но ничто не могло остановить урок, лишь бы их не вывели на работу, оставили в бараке, где они целый день играли в карты (строго запрещенные в лагере), болтали, спали — вообще бездельничали. В этом состояла их жизнь.

Моя трудовая жизнь в лагере была отложена на полгода, так как вскоре по прибытии в Абезь я тяжело заболела и надолго попала в лагерную больницу.

СЕКТАНТКИ

Весна в тундру приходит не сразу. Она появляется сначала в виде особого света, который льется с неба и поднимается от снега. День все удлиняется и утомительно тянется, не переходя в ночь. От этого кажется, что время остановилось и спасительный отбой никогда не наступит.

Я еще не привыкла к белым ночам севера — шли мои первые недели жизни в инвалидном Абезьском лагере. На работу вновь прибывших не выводили, жили мы в особом бараке на карантине. Уже прибегали ко мне разные люди, прослышав, что прибыла москвичка. Это были в основном пожилые женщины, тоже из Москвы. Наше знакомство происходило через решетчатый забор, выйти я не могла. Все хотели узнать новости, но что могла я сообщить им после пятнадцати месяцев одиночки! Они знали куда больше — к моему изумлению, в лагере были и радио, и газеты.

Среди моих новых знакомых были такие, чьи родственные связи тянулись к миру власть имущих и к миру искусства. Маленькая невзрачная женщина по фамилии Левандо прошептала мне на ухо — не слышала ли я что-нибудь о деле жены

Молотова Жемчужиной. До меня действительно еще до ареста дошли слухи о скандале, разыгравшемся после приезда Голды Меир в Москву. Рассказывали, что она предложила советским специалистам-евреям поехать в Израиль помогать молодому государству. Желающих оказалось много, и Полина Жемчужина подала Сталину списки наивных энтузиастов. Немедленно все были арестованы, включая и высокую просительницу. За первыми арестами последовали следующие — подбирали домочадцев, родственников, знакомых. Под большим секретом Левандо сообщила мне, что она — двоюродная сестра Жемчужиной.

Следующая дама из «бывших» была Фрима Борисовна, занимавшая совсем недавно солидную должность директора Дома культуры Завода имени Сталина. Обе эти женщины, старые члены партии, носили когда-то сразу после революции красные косынки, учились на рабфаке. Вышли они из местечек, из семей еврейской бедноты, и прошли путь многих и многих, вверх по лестнице к той или иной ступеньке власти, а потом кубарем вниз — в тюремные преисподние.

К другому классу общества принадлежала Ольга Ивановна. Она была родственницей знаменитого кинорежиссера Козинцева, а значит, и Эренбурга, женатого на сестре Козинцева. Ольга Ивановна показала мне огромные фотографии внука, сделанные профессиональным фотографом. Она первая угостила меня чем-то очень вкусным, домашним, полученным в посылке. Несколько знакомств в самые первые дни особенно запомнились. Они напоминали наш московский круг. На меня эти женщины смотрели как на ребенка, жалели и старались помочь чем могли. Я им и по сей день благодарна.

Уже в карантине я познакомилась и с лагерным надзорсоставом. Надзирательницы, простые, грубые женщины, были больше похожи на людей, чем истуканы в тюрьме. Они иногда разговаривали с заключенными — рассказывали о своей жизни и слушали наши истории. Самые добрые, рискуя свободой, даже отправляли письма заключенных через вольную почту. Услуга особенно ценная, так как мы имели право послать только два письма в год. Пришел к нам в карантин и оперуполномоченный, лицо очень важное в лагере, в его руках находились все личные дела заключенных. Худой как жердь, с мрачным желтым лицом.

Запомнила одну его фразу, обращенную ко мне: «Ну и угораздило же тебя попасть в такой лагерь! Здесь никого не перевоспитывают, здесь наказывают!» Это заявление противоречило многочисленным транспарантам с лозунгами, разбросанным по всей территории лагеря: «Работа — долг каждого заключенного!», «Хорошая дисциплина помогает в труде» — и еще что-то в таком же роде. Заключенные не замечали этих щитов — они лишь ориентировали на местности, без них трудно было бы найти нужный барак, ничем не отличающийся от соседнего.

Прошел положенный срок карантина, и наш этап распределили по рабочим бригадам. В соответствии со сроком заключения меня поселили в барак для двадцатипятилетников. Видимо, для ускоренного ознакомления со всеми достопримечательностями лагеря я очень скоро попала в так называемый БУР — барак усиленного режима. Наказали за «ужасное» нарушение режима — не сдала в

каптерку (камеру хранения) пару домашних блузок, чтобы поддевать их под жесткое казенное платье. Надзорка незаметно подкралась, когда я сидела на нарах в такой блузке, и потащила меня, как она объявила, в карцер на пять суток. Но менее жестокий начальник лагерной тюрьмы, узнав, что я из вновь прибывшего этапа, решил, что с меня хватит БУРа на двое суток.

Весь барак усиленного режима делился на две части, более мягкую — чистилище, где камеры немного отапливались, на нарах лежал жесткий матрас из стружек и истертое тонкое солдатское одеяло. В день здесь полагалась одна миска жидкого супа. Другая половина барака была настоящим адом: карцер не отапливался, разница между температурой улицы и камеры создавалась только за счет примыкавшего к ней более теплого БУРа. Ни одеяла, ни матраса на нарах не было. Рацион ээка состоял из тяжелого черного хлеба и кипятка, выдаваемого один раз в день.

Узнав от начальника обо всех этих отличиях, я сочла себя необыкновенно удачливой и не стала особенно огорчаться. Тем более что в тюрьме я счастливо избежала подобного наказания и тюремное образование свое считала незаконченным. К БУРу тут же прибежали мои новые приятельницы и стали уговаривать начальника сжалиться над неопытной ээчкой и отпустить в барак. Он честно признался, что так бы и сделал, если бы надзорка уже не накатала донесения, описав мой проступок.

Они все боялись друг друга, одна оплошность — и попадешь за решетку. Единственное, что начальник согласился сделать, нарушив тем самым режим, — это взять передачу. Не доверяя надзорке, он сам принес мне кулек с гостинцами, которые срочно собрали для меня женщины. Я почти плакала, разглядывая слипшиеся конфеты, печенье, кусочки сухих пирогов. Чтобы почувствовать такую заботу, не жалко было посидеть в холодном БУРе,

Но вот ушли мои знакомые, голоса которых доносились до меня, захлопнулась дверь за начальником, и я осталась снова в одиночке. Тоска начала свою уже знакомую мне работу. И хоть я успокаивала себя, что эта одиночка всего на два дня и я уже не в страшной Лефортовской тюрьме, а в многолюдном лагере, все же я отчетливо понимала, что тюрьма и лагерь слиты, плавно переходят одно в другое и в действительности одно и то же.

Погруженная в эти мысли, я вдруг услышала тихое бормотание, похожее на пение. Звуки шли из соседней камеры. Днем, когда принесли суп, я спросила у надзирательницы, кто это поет за стеной. «Сектантки, — сказала она зло и неожиданно предложила: — Хочешь посмотреть кино? Пойдем со мной». Выйдя из камеры, я подошла за ней к соседней двери. Подняв заслонку глазка, она предложила заглянуть внутрь. Я припала к отверстию. То, что предстало перед моим взором, никогда не изгладится из памяти. На двухэтажных нарах вдоль стен сидели, лежали, стояли на коленях совершенно голые женщины.

Их было человек двенадцать—пятнадцать. В полумраке камеры я с трудом различала их лица. Были среди них молодые, совсем юные, почти девочки, и старые. Все с

длинными распущенными волосами, в которые они старались укутаться как в одежду. Женщины, стоявшие на коленях, молились и пели, еле шевеля губами. Что-то неправдоподобное было во всей этой картине, как будто смотрела я в щелочку на сцену театра, где шла какая-то душераздирающая историческая драма. Я тихо закрыла глазок.

— За что вы их здесь держите? Почему они голые?! — спросила я у надзирательницы.

— Что, жалко стало? А ты их не жалеешь, они сами себя не жалеют. Бунтуют все, вот теперь замерзнут и помрут. Но им это не страшно, упертые сектантки на все пойдут, только бы было по-ихнему. Ну, хватит, поглядела на цирк, теперь иди в свою камеру. Ты небось так нарушать режим не будешь, как эти! — ткнула она пальцем в сторону камеры сектанток. Ни тени жалости к несчастным эта женщина не испытывала.

Оставшееся время заключения в БУРе я все прислушивалась к тихому пению за стеной, а перед глазами были голые женщины на голых досках. Их историю я узнала по выходе «на свободу» в общую зону. Привезли небольшой этап «религиозниц», К какой секте они принадлежали, никто не знал. Да в лагере и не разбирались, кто, во что и как верит, — посадили за веру, значит, сектантка. Привели женщин, как полагалось с этапа, в баню. Люди обычно радуются возможности помыться с дороги, а эти наотрез отказались раздеваться. Почти силой заставили их раздеться и впихнули в баню.

А пока всю одежду женщин из предбанника унесли, положив вместо нее казенную. Когда бедняги вышли и обнаружили подмену, они тихо, без крика объяснили, что не наденут дьявольские платья. Недолго раздумывая, погнали голых бунтарей через всю зону по весеннему, но еще крепкому снегу прямо в карцер. Те, кто видел это шествие, рассказывали, что многие плакали, глядя на сектанток, — вели-то их на верную погибель. А они шли совершенно спокойно, не видя никого вокруг, и только осеняли себя крестным знаменем.

Не знаю, сколько времени держали женщин в холодном карцере на хлебе и воде, но оттуда все они попали в лагерную больницу. У многих началось воспаление легких, приведшее потом к туберкулезу. Несколько человек из этой группы вскоре умерло.

После возвращения из БУРа я все лето работала в бригаде доходяг, которых из-за неспособности за зону не выводили и посылали на разные подсобные работы внутри лагеря. Нас было 8 человек. Мы убрали бараки, мыли полы на вахте, развозили уголь. Утро начиналось с гадания, куда сегодня погонят. В один из жарких дней июля, когда даже тундра выглядела нарядно, украшенная яркими полевыми цветами, мы сидели на солнышке у барака в ожидании разнарядки на работу. Разморенные теплом женщины молчали, отдыхая от обычного барачного шума. Но оставить нас надолго в покое, конечно, не могли.

Пришла надзорка и, не объяснив куда, повела к одному из отдаленных барачков. Не спеша тянулись мы за ней, представляя собой даже для лагеря особое зрелище. В Абези все лагеря были инвалидные. Но среди, в общем, однородного состава все же существовали разные уровни убогости, неполноценности, болезней и т.д. Те, кто составлял нашу бригаду, были лагерными париями — прибыли недавно, не могли еще за себя постоять, не знали внутренних лагерных законов. По этой причине все кому не лень нами помыкали.

Особенно на нас срывали зло свои же заключенные-«придурки», бригадиры, нарядчики, заведующие складами. Одежду выдали нам третьего срока, то есть ту, которую не успели списать за полной негодностью. И без того уродливая лагерная униформа выглядела на нас омерзительно, засаленные бушлаты в заплатках и дырах, из которых торчала грязная вата. Ботинки, огромные, потерявшие форму, делали походку стариц. И только новенькие, аккуратно пришитые квадраты номеров на спине могли исправить впечатление от жалких оборванцев — и на дне общества мы были кому-то нужны, если имели инвентарный номер.

Мы подошли к одному из барачков для десятилетников. Решив, что нам сегодня выпало убирать этот барачок, мы вошли за надзирательницей внутрь. Обычно на том и кончалась ее миссия, после чего мы поступали в распоряжение дневальной. Но на этот раз надзорка подвела нас к нарам и, показав на лежащих женщин, приказала вынести их из барачка. В растерянности мы не двигались с места. Почему мы должны их нести? И куда? Они больны? Дневальная коротко объяснила, что женщины эти — сектантки и не желают ходить в баню, для них грех мыться прилюдно. Поэтому их раз в месяц носят на руках до телеги, потом от телеги до бани.

На обратном пути они уже идут сами. Но все равно их приходится везти, так как у них нет сил пройти расстояние от бани до барачка: они ведь смертники, ничего не едят, кроме хлеба, воды и сахара, боятся оскоромиться казенными харчами. Надзорка торопила нас: «Тащите их за ноги да кидайте прямо на пол, авось не убьются. Может, на этот раз образумятся и сами пойдут». Мои бригадницы топтались на месте, не зная, как приняться за дело. Я оглядывала барачок в надежде, что откуда-нибудь придет помощь. Но на нарах никого не было. В это время дня все на работе. А что, если с бедными темными бабками поговорить?

Наверно, их никто не пытался убедить пойти в баню добровольно. Такая наивная мысль пришла в голову только мне, все другое были старше и умнее. Я подошла к изголовью с намерением что-то сказать, хотя бы увидеть их лица, встретиться взглядом. На нарах лежали одиннадцать неподвижных тел. Они походили на мертвых — землистые, опухшие лица, плотно сомкнутые веки и губы, скрещенные на груди руки. Только еле заметное дыхание свидетельствовало о жизни. Мне стало страшно, и, даже не сделав попытки заговорить, я отошла.

Чтобы заставить нас выполнить приказ, надзирательница решила показать нам пример. Она схватила за ноги одну из лежащих женщин и потащила с нар. Из оцепенения нас вывел глухой стук головы, ударившейся об пол. Тут мы кинулись исполнять приказание, понимая, что сможем сделать это не таким жестоким

способом, хоть головы не расшибем несчастным. Тяжелая была это ноша. Вчетвером мы с трудом выволакивали каждую с нар, а потом, спотыкаясь, тащили через весь барак к выходу. Особенно было тяжело укладывать живые кули на высокую телегу. Сектантки выглядели старыми, но возможно, что это и не соответствовало действительности — просто были они почерневшие и, наверное, больные. Можно ли сохранить здоровье, истязая себя таким образом! Нелегкая выпала нам в этот день работа. Пока перетаскали всех, десять потов сошло. И все яснее в нас росло раздражение против темных, грязных, вонючих упрямец.

Жалость, которую каждая из нас испытывала вначале, испарялась по мере того, как мы сами себя осознавали жертвами. До сострадания ли нам было, если из-за них мы мучаемся, совершаем противное нам насилие. Эти сектантки всему виной. Мы уже не думали о надзорке, заставившей нас надругаться над нашими сестрами по несчастью. Мы перестали ощущать цепочку принуждения, последним звеном которой были мы, такие же эки, как те, из-за которых мы выполняли унижительную полицейскую работу. Они были бунтари, стоики, а мы покорные приказу ничтожества. Мы сгорали со стыда и ненавидели ни в чем не повинных перед нами людей. Мимо проходили возвращавшиеся с работы зазонники, в нашу сторону они и не смотрели.

В целом лагерный народ не задерживал внимания на подобных событиях. Жестокость вызывает сострадание у небольшой части общества, если варварство становится в нем нормой. Что за беда, если кому-то плохо, лишь бы тебя оставили в покое, дали бы дожить, выжить. К осужденным за веру, в общем, относились без особого сочувствия, не разбираясь, в чем же вина этих людей. Их сопротивление в лагере осуждалось — почему им можно не выходить на работу в субботу или в праздники, а мы что, хуже? И если верующих наказывали за нарушение режима, то остальные видели в том лишь разумный ход событий. Подсознательно, возможно, многие завидовали стойкости этих людей.

Каких только сект не было в лагерях! Постоянно происходила миграция. Люди меняли свои убеждения, переходили из одной секты в другую. В редких случаях совсем нерелигиозные обретали веру под влиянием талантливых и настойчивых проповедников. Но чаще мир сектантов не перекрещивался с миром остальных заключенных. Они были чужими на воле, они оставались чужими и за колючей проволокой.

КАТЕРИНА ИВАНОВНА

Наш барак для двадцатипятилетников отличался от всех других барakov. Плотность населения здесь была значительно большая. Все промежутки между вагонками нар были заложены щитами, так что вдоль стен тянулись сплошные двухэтажные нары. Когда раздавались унылые удары металла о висящий кусок рельса, извещавшие весь лагерь об отбое, наш барак закрывали на ключ. Этим он тоже отличался от других барakov. Жители их должны были в любой мороз ночью бежать по нужде в далекую

уборную, а у двадцатипятилетников была заслуженная привилегия — огромная параша, стоящая у запертой двери в тамбуре. Мы очень ценили это удобство, а запертая дверь нас и вовсе не смущала — все равно ночью идти некуда.

Никаких других особенностей в нашем бараке не было — те же решетки на малюсеньких окнах, тот же полумрак и тяжелый, спертый воздух, как говорят, хоть топор вешай, та же печка-буржуйка посреди огромной комнаты. Сколько людей было в нашем бараке — точно не знаю, это «государственная тайна». Но было их много, тьма! Особенно я это почувствовала, когда однажды ночью проснулась от странных звуков. Крики со сна, зубовой скрежет, стоны и проклятия были привычны, но тут я услышала стройное многоголосое пение. Я села на матрасе и несколько секунд ошарашенно смотрела вокруг, ничего не понимая.

На полу посредине барака и на нарах стояли на коленях женщины и пели. Казалось, их было несчетное множество, не видно было ни стен барака, ни пола — коленопреклоненные фигуры заполняли все пространство от пола до потолка. Пели вполголоса, слаженно и красиво. Видя мое удивление, соседка по нарам объяснила, что сегодня Пасха и все радуются воскресению Христа. Когда хор смолк, один звонкий голос продолжал службу. Так мне довелось впервые в жизни быть на богослужении.

На другой день началась расправа. Утром в барак ворвались, именно ворвались, а не вошли, несколько надзорок во главе со старшим надзирателем Просветовым, неистовым псом, наводившим ужас на весь лагерь. Подскочили к нарам и выволокли с десятков женщин с криками и бранью. Уж кто-то пораньше, очевидно, успел «стукнуть», так как надзиратели точно знали, кого уводить. В то утро многие заключенные отказались идти на работу — лежали на нарах и ждали карцера.

Мой день начался как обычно, пока уходили на развод работяги-засонники, мы, «доходяги», работавшие в зоне, могли не спешить, немного понежиться на жестких, бугристых матрасах, набитых грубой стружкой. В каждом матрасе была своя вылежанная ложбинка, точно совпадающая со всеми изгибами только одного, данного тела, и только ему могло быть удобно и уютно на этом ложе. Сквозь дремоту слышу монотонное гудение барака. Потом все стихает, но ненадолго — начинает шевелиться оставшийся народ. Как только закончится развод, за нами придет надзорка и поведет на завтрак. Это была еще одна «привилегия» двадцатипятилетников — нас водили в столовую только строем. Все остальные эки тащились сами в толпе или поодиночке.

Шла зима 1953 года. Лютые абезьские морозы соревновались с лютующим режимом в лагерях. Казалось, что еще можно выдумать?! Только два письма в год мог отправить заключенный, ни одной своей вещички ни на себе, ни на нарах, ни осколка зеркала. На разводах свирепые надзорки запихивали под платки выбивающиеся волосы и так потерявших всякий женский облик эзек. Огромные номера на спинах бушлатов и серых, бесформенных платьев. Но всего этого было мало — режимники изыскивали все новые и новые возможности закручивать гайки. На днях объявили строгое запрещение ходить в чужие бараки, за нарушение, как

всегда, карцер. Но никакие угрозы не останавливали людей: что такое карцер по сравнению со встречей с близкими по вере или по духу? Час перед отбоем провести в беседе с другом, земляком, а потом будь что будет!

В бараке для десятилетников жила мать моей одноделки Тани. Катерина Ивановна была удивительно красива — высокая, статная, со жгучими, углистыми глубоко посаженными глазами. Лицо обрамляли черные волнистые волосы с проседью вокруг лба. По чистой случайности мы оказались с ней в одном лагере. А уж потом, стараниями своих же заключенных, из соседнего лагерного отделения, расположенного в городе Инта, с большим этапом «доходяг» к нам приехала Таня. Горькая это была встреча! Радость матери с трудом пробивалась сквозь боль — видеть дочь в заключении. А дочь терзала совесть — не будь нашего дела, мать была бы на свободе.

Хотя Катерину Ивановну арестовали за компанию с Таней, дело ей сфабриковали индивидуальное. Вспомнили старую «традицию» семьи, арестованы были и отец, и брат, и муж Катерины Ивановны. Отец и брат были священниками. В чем их обвиняли — я не знала и не расспрашивала моих друзей об этом никогда. Они оба погибли в тюрьме. По этому же делу перед самой войной арестовали Таниного отца. В начале войны он попал в штрафной батальон, в котором сражались и заключенные из лагерей. Мало кто из штрафников остался в живых, все они были смертники. Погиб и муж Катерины Ивановны, отец двух маленьких девочек.

Тяжело было одной растить дочерей. Таня заболела туберкулезом, ей нужно было особое питание, уход. Катерина Ивановна работала бухгалтером и получала гроши, из которых она выкраивала часть для помощи двум детям погибшего брата. Кое-как сводила семья концы с концами. Ютились в крошечной комнатенке в арбатском переулке, комната была похожа на пенал. Девочки росли. Таня была уже в десятом классе, когда снова обрушилась беда; видно, всем в этой семье уготована была тюремная участь. Арестовали Таню, а следом за ней и Катерину Ивановну. Осталась на воле только младшая, Леночка, которую приютила старушка соседка.

Следствие у Катерины Ивановны было очень тяжелым. Следователь изводил ее, добиваясь признания, что настоящий Танин отец — еврей, иначе почему она так похожа на еврейку. Чернокудрая и черноглазая, с иконописным лицом, из православной и глубоко религиозной семьи, была она у следователя как кость в горле.

Все в нашем деле подходило одно к одному, еврейские националисты, отщепенцы, и вдруг... дед, дядя — священники, и никаких евреев в роду! «Спущено», видно, было задание добиться от матери признания, что настоящий отец Тани — нужный следствию еврей.

Удивительная психология у подобных людей, нарушающих элементарные человеческие законы! Ведь в их власти было исказить любые факты, подтасовать события или полностью их выдумать, что они, как правило, и делали. Сколько вымышленных преступлений, запротоколированных, подшитых в толстые, распухшие

папки с грифом «Хранить вечно», покоятся в архивах органов. Иногда в папке сберегается лишь один листок. Зачем следователям нужны были заведомо ложные признания, оговоры самих себя, подписи измученных бессонницей и пытками жертв? Следователь все мог оформить самостоятельно, без участия подследственного. Ведь часто дело не доходило до суда — осуждала Особая комиссия (ОСО) за глаза. А если спектакль, называемый судом, имел место, то истина в нем ничего не значила, все было предreshено заранее.

Большинство арестованных подписывало лживые протоколы, понимая всю бесполезность сопротивления. Но были единицы, от которых следователи так и не смогли добиться подписи. Эта мелкая деталь ничего не меняла в их судьбе — и те и другие получали от «правосудия» аналогичные сроки наказания, тюрьмы, лагеря, ссылки или так называемые десять лет без права переписки, означавшие расстрел. Не в этом ли парадоксальном соединении лжи и видимости законности заключалась вся суть сталинского режима?

Для Катерины Ивановны допросы были особенно мучительны — она была чиста душой и помыслами, религия была ее жизнью, Бог — неотъемлемой частью ее существа. Следствие надломило ее впечатлительную, полную мистики натуру — у нее начались галлюцинации. По вечерам, в короткие часы, когда мы с Таней забирались на верхние нары, Катерина Ивановна в подробностях рассказывала нам о чудесах, которые довелось ей увидеть в тюрьме.

Она свято верила, что все именно так и было, ничего не почудилось, а явил ей Бог свои чудеса из милости, чтобы поддержать ее в тяжком испытании. То разверзлось небо над ее головой во время прогулки и она видела Божью Матерь, то подолгу в камере стояла икона Николы Угодника, ее любимого святого. Все это не пугало ее нисколько, наоборот — вселяло силы, уверенность, что не забыта она, не оставлена Всевышним.

Катерина Ивановна была начисто лишена национальных предрассудков и антипатий. В ней гармонически проявлялась истинная суть христианства, доброта ко всем, постоянная готовность прийти на помощь. Меня она сразу полюбила, и поначалу, когда Тани еще не было с нами, на меня изливалась вся ее материнская любовь и забота. Я долго и тяжело болела по прибытии в лагерь — год и три месяца каменной одиночки не прошли даром. Худая, прозрачная, с заплетенными косами, я казалась намного моложе своих лет. Женщины относились ко мне с большим состраданием, многим хотелось заменить мне мать, а для себя восполнить пустоту, образовавшуюся от разлуки со своими детьми. На такую роль матери я выбрала Катерину Ивановну, хотя не так много общего было между нами — другая среда, другое прошлое. Но она обладала такой притягательной силой, простотой и настоящей душевной красотой, что я полюбила ее искренне и глубоко.

Каждый вечер появлялась Катерина Ивановна в лагерьной больнице, где я лежала в туберкулезном отделении. То принесет цветы, собранные во время работы за зоной, то — вкусной еды, которой ее кто-то угостил. Она почти не получала посылок, редко-редко младшая дочь изловчалась что-то прислать матери и сестре. Делиться

было потребностью Катерины Ивановны. А еще, как у всякого глубоко верующего человека, у нее была необходимость поделиться с близкими своим главным богатством — Богом. Очень горевала Катерина Ивановна, что я неверующая. Во сне к ней являлась ее мать и успокаивала, обещая, что я обязательно приду к вере.

Катерина Ивановна каждый раз рассказывала мне о таких снах. Вообще она всегда видела вещие сны. Ей снились близкие люди, и она точно знала, кто заболел и у кого стряслась беда. Когда после смерти Сталина лагеря начали таять и освобождались сотни людей, Катерина Ивановна часто видела во сне или предчувствовала, кому следующему идти на свободу. Как это бывает с очень нервными людьми, она была поглощена своими предчувствиями. Многие из них действительно подтверждались, а сны сбывались. На этой мистической почве Катерина Ивановна подружилась с известной в нашем лагере гадалкой и предсказательницей, австрийкой Ингой Ретенбахер, о судьбе которой я расскажу отдельно.

Когда я начала получать из дома посылки, жизнь наша стала веселее. Помню, как я приносила Катерине Ивановне лимоны и она сразу съедала целый лимон со шкуркой, не поморщившись. Трудно ей было переносить лагерную жизнь, куда легче было нам, молодым. Я часто ловила страдающий Танин взгляд, устремленный на мать, когда та, укутанная в серое тряпье, тяжело переставляя ноги в грубых ботинках, шла на работу. В этот момент она походила на старуху — щеки ввалились, нос заострился, одни глаза оживляли ее лицо. Седая прядь волос у лба все расширяла свои границы. И все же Катерина Ивановна оставалась красивой. Стоило отдохнуть немного, получить письмо от младшей дочери, разговориться с друзьями, и снова загорался темный румянец, играли ямочки на щеках и очаровывала всех белозубая улыбка.

Много раз разлучали Катерину Ивановну с дочерью — очередной этап, комиссовка и... дальняя дорога уводила одну от другой. Но судьбе было угодно, чтобы они снова встретились и некоторое время оставались в одном лагере. Из Инты их обеих отправили в Караганду, откуда Катерину Ивановну и освободили в 1955 году.

ИНГА

Барак гудел, как улей, шевелился, как муравейник, источал десятки разнообразных запахов, смешивавшихся в густое зловоние. Слабые лампы под потолком освещали только середину длинного прохода между нарами. Сами нары тонули в полумраке, над которым подымался пар от сохнувшей в сушилке промокшей одежды. Мы сидели на верхних нарах, тесно прижавшись друг к другу, и, затаив дыхание, слушали гадалку, которая предсказывала мне будущее. Казалось, что в моей судьбе никакой тайны нет, все впереди известно — 25 лет исправительно-трудовых лагерей, а потом еще 5 лет ссылки, ну а потом и вовсе загадывать нечего, жизнь кончится. Но так судила злая ведьма. Можно ли в 19 лет в это поверить?! А сейчас судьбу

предсказывала добрая фея. Она держала мою руку и внимательно изучала линии на ладони.

— Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома... Ты в длинном платье принимаешь гостей... Ты будешь счастливой... — Гадалка отпустила мою руку. Я сидела не шевелясь, не в силах оторвать глаз от ее еле освещенного папиросным огоньком лица. Звали ее Инга...

Странная это была женщина. Седая, почти беззубая. Несколько передних зубов не давали ввалиться губам, зато щеки ушли глубоко под выступающие скулы. Темные небольшие глаза буравили собеседника, не отпуская его из поля внимания. Но улыбка необыкновенно молодила это лицо, и уже через несколько минут после знакомства я обратила внимание на удивительно гладкую кожу — морщин не было вовсе, даже в углах глаз они появлялись только при улыбке. Первое впечатление, что передо мной старуха, улетучилось очень быстро.

Инга была другом Катерины Ивановны, которая меня с ней и познакомила. Судьба Инги Ретенбахер была необычна даже для лагерей, хотя здесь можно было перестать удивляться чему бы то ни было. Не помню точно, где она родилась, но прожила всю жизнь до ареста в Австрии, в Вене. Была она из очень состоятельной семьи, получила хорошее образование и удивительно чисто говорила по-русски. Этот ее безукоризненный при первом впечатлении русский всем в лагере внушал подозрение, что она действительно шпионка (по этому обвинению она и сидела). Сама Инга объясняла свое владение русским языком тем, что в детстве у нее несколько лет была русская бонна. Катерина Ивановна ей верила безоговорочно, окружающие — нет.

Не верили и ее красочным рассказам о прошлой роскошной жизни. В черном вонючем бараке совершенно нереально звучали воспоминания о балах, о туалетах, о любимой Венской опере, о путешествиях. Все это воспринималось как пересказ всеми любимых книг — «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров». Мало кого заботила правдоподобность рассказов Инги. Просто всем было интересно, слушая ее, забыть хоть ненадолго о тяжелой нашей действительности. Как и полагалось в романах, юная и прекрасная (во что трудно было поверить, как и во все прочее) Инга мечтала стать актрисой. Для аристократической семьи Инги такая карьера была неприемлемой. Тогда семнадцатилетняя девушка сбежала из дому с каким-то пожилым господином и стала актрисой. Кажется, недолго она подвизалась на сцене. Через какое-то время Инга по большой любви вышла замуж и была очень счастлива.

Переломным моментом в ее судьбе оказалась война. Инга не сочувствовала фашизму. Как и многие австрийцы, она с презрением относилась к немцам, безоговорочно принявшим Гитлера. С гордостью рассказывала Инга, что она была ученицей знаменитого хироманта, который предсказал Гитлеру гибель, за что и был расстрелян. Наука гадания впоследствии очень пригодилась Инге в советских лагерях.

Наконец война кончилась. Австрийцы встречали американцев и англичан как освободителей, к русским относились с тревогой и осторожностью. Но все оккупационные войска хорошо себя чувствовали в этой стране. В Вене были три оккупационные зоны, три военные ставки с высшим командным составом. Инга к этому времени была владелицей кафе (или бара). Как она говорила — почетной хозяйкой. Кафе было знаменито тем, что в нем бывали многие великие сыновья Вены, в том числе Иоганн Штраус.

Понравилось это кафе и военным из всех трех зон. Там собирались самые высокие чины, знакомились, беседовали за хорошей выпивкой и вкусной австрийской едой. У всех было благодушное и умиротворенное настроение победителей. Бывал там и Климент Ефремович Ворошилов, знакомством с которым Инга гордилась и все годы заключения писала на его имя безрезультатные прошения о пересмотре ее дела.

Не знаю, что произошло в этом кафе, может быть, и ничего, но пошел слух, что кто-то из военных русских, бывавших там, переметнулся к союзникам. Может, этого вовсе и не было, а понадобилось запятнать репутацию гостеприимной хозяйки, чтобы этим объяснить ее внезапное исчезновение.

Исчезла Инга таинственно и бесследно. Все газеты были полны сообщениями о пропаже всеми уважаемой фрау Ретенбахер. И советские выразили свое недоумение и соболезнование. Пошумели газеты и замолкли. Время было беспокойное, война только что отгремела, еще гибли люди от запоздалой пули то там, то здесь. Сколько времени убивался муж — неизвестно. Позже Инга узнала, что он предлагал большое вознаграждение за любые сведения о пропавшей жене. Но никто не откликнулся.

А бедная Инга в это время была на загородной вилле недалеко от Вены. Она не могла понять, за что ее тут держат, за что похитили — силой втащили в проезжавшую машину, когда она шла по улице, заткнули рот кляпом, связали руки и, не говоря ни слова, увезли из города. Несколько дней под неусыпным надзором солдат в советской форме она провела в небольшой полупустой комнате. Она требовала, чтобы ей объяснили причину ее ареста, кричала, стучала в стены.

Она хорошо говорила по-русски и могла высказать свое возмущение и недоумение. Но охранники смотрели на нее равнодушными глазами и молчали, как будто не понимали ни одного слова. Если бы Инга порой не слышала тихих слов, сказанных солдатами между собой, то могла подумать, что не русские ее держат, хоть форма на них была советская. От этого молчания стерегущих ее было особенно тяжело.

Через несколько дней после ареста, когда утром, как обычно, ее привели в ванную, Инга заметила в зеркале, что ее волосы как будто присыпаны белой известковой пылью. Она провела по ним рукой, стараясь стряхнуть пыль, и вдруг поняла, что поседела. Было ей в ту пору 36 лет.

Прошла бесконечная неделя. Однажды под вечер Ингу вызвал русский офицер и, не предлагая сесть, подал ей лист бумаги. На немецком языке там было написано

несколько строк. И тут Инга поняла, что ее обвиняют в шпионаже против Советского Союза.

Не помню, рассказывала ли она подробно о следствии и было ли оно вообще. Только очень скоро ей предложили подписать постановление Особого совещания (ОСО), что за шпионскую деятельность она приговаривается к десяти годам заключения в советских исправительно-трудовых лагерях. Инга потеряла сознание. Очнувшись она в больничной палате русского госпиталя. Она не понимала, где она и что с ней происходит. Русский доктор объяснил, что от потрясения у нее произошел выкидыш — она была на четвертом месяце беременности. Инга закрыла глаза: никогда не будет у нее ребенка. А потом все было как в бреду — она плохо помнила, сколько пролежала на больничной койке, как забрали ее из больницы и увезли на поезде в Россию.

Ехала Инга до места назначения долго-долго, с одной пересылки на другую. Прошлая жизнь стала казаться чудным сном, о котором она с грустью рассказывала своим случайным недолгим попутчикам. Слава Богу, языком она владела и была отзывчивой к людям — так что, оказавшись среди таких же несчастных, уже чувствовала себя не потерянной, погибшей, а одной из них, одной из многих.

Инга рассказывала свою историю и выслушивала другие, такие же горькие и не менее трагичные. Уже на пересылках, в вагонзаках от нечего делать стала Инга предсказывать судьбу своим соседкам, гадать по линиям руки, по звездам. За такое развлечение люди ее благодарили, угощали своими жалкими запасами, куревом. Не раз в лагере Инга вспоминала своего немецкого учителя-хироманта.

За все долгие годы заключения она не получила ни одной посылки, ни одного письма — никто из близких так и не узнал о ее судьбе. А в лагерном товарообороте гадание было ходким товаром; хоть ничего не было у Инги, но табак водился у нее всегда. В своей прошлой жизни она много путешествовала, однако никогда не бывала в Советском Союзе. С давних времен ей хотелось приехать в страну, язык которой она знала с детства. Вот и довелось ей познакомиться с Россией таким страшным путем.

Инга не знала, куда ее везут, но чем дальше увозил ее поезд, тем серей и однообразней становился пейзаж, который она видела из крошечного зарешеченного оконца теплушки. Иногда конвой проговаривался, что едут они на север. Все меньше становилось лесов, все ниже были деревья, и низким свинцовым сводом висело небо над убогой землей. А потом появились сторожевые вышки и колючая проволока вокруг бесконечных лагерей, которые виднелись вдалеке. Их было так много, что они стали казаться неотъемлемой частью этой унылой природы. Скоро совсем пропали деревья и поплыли мимо снежные просторы — безлюдье и безлесье.

У Инги сжималось тоскою сердце — куда везут? Можно ли там выжить или уготована ей гибель в этом заброшенном крае? Когда наконец поезд остановился и весь этап выгрузился на снежном поле, конвой объявил, что они доехали до места, где должны отбывать свой срок наказания. Тогда только Инга впервые услышала новое для себя

слово — Воркута. Может быть, и слышала его раньше, на пересылках, но не примеряла к своей судьбе.

Вот ее новый дом! Надолго ли? На десять лет, то есть навсегда?! В это она не верила. Она напишет Ворошилову, все выяснится, и ее освободят, может быть, еще извинятся, и она как иностранная туристка поедет по России. Приедет в Москву, Ленинград... Так она думала. На это надеялась все восемь лет заключения!

В лагере Инга тяжело работала, болела цингой, теряла зубы один за другим, но не теряла надежду. Я читала ее заявления в прокуратуру, жалобы на имя Сталина, Ворошилова. Они были написаны круглым ученическим почерком на хорошем русском языке, хоть и с грамматическими ошибками. Ответ был один: «Жалоба рассмотрена. Дело пересмотру не подлежит». Ко всему привыкла Инга, и к таким ответам тоже. Но она упорно писала снова и снова. В те времена, до самой смерти Сталина, заключенный мог подать одну жалобу в год. И каждый год посылала она свои письма в Москву. Может быть, они дальше оперуполномоченного лагпункта и не уходили и ответ поступал от него же, все возможно. Во всяком случае, ее письма на родину всегда оставались без ответа, и она понимала, что переписка ей запрещена.

Встретила Инга в лагерях многих иностранцев, почти со всего света там были люди. Судьба их была сходная, многих так же выкрали и без суда и следствия отправили во все стороны России, всюду были готовы для них ошестинившиеся колючей проволокой лагеря. Своим гражданам было, как правило, легче: хоть письма получали, иногда — посылки, еще реже — свидания. Иностранцы были лишены всего этого.

Я очень жалела Ингу. Она нравилась мне своим оптимизмом, живым характером. Ее хриплый, прокуренный, почти мужской голос, вечная папироска во рту, хриловатый смех и порывистые движения — все в ее облике было озарено внутренним светом. Она не озлобилась на жизнь, на людей. Даже Россию как-то умудрялась любить, читала русских писателей, приглядывалась к обычаям.

Заклученные ее любили, исключение составляли некоторые «светские» интеллигентные дамы, считавшие всех, кроме себя, виноватыми, а ее виноватой вдвойне: немка-фашистка и шпионка. Меня такие «доброжелатели» не раз предостерегали: «Зачем дружишь с иностранкой, уж в чем-то она виновата, и верить нельзя ни одному ее слову!» Но я верила своей интуиции и бежала к Инге и Катерине Ивановне в барак десятилетников.

В этот обычный день, похожий на вереницу подобных, было лишь одно волнующее событие — пришел большой этап в наш лагерь. В самом этом факте не было ничего особенного — этапы приходили и уходили часто, заключенных перемешивали, перетасовывали, чтобы не засиживались на одном месте, не привыкали, не обзаводились друзьями. Но мы всегда ждали, что вот со следующим этапом придет кто-то интересный, земляк, привезет свежие вести с воли.

Лагеря в это время пухли от новых и новых пополнений. Больше всего поставляла свежих эков Украина, потом — Прибалтика. Это были все так называемые националисты. Со всех концов страны текли в широкие ворота «религиозники», сектанты, словом, осужденные за веру. Потом — жертвы военного времени с бывших оккупированных территорий, из плена. Всех категорий не перечислишь! Из столичных городов, Москвы и Ленинграда, к нам ехали очаровательные молодые женщины, осужденные «за иностранцев» (за мимолетную встречу или за законное замужество). Интеллигентные дамы еврейской национальности — за «национализм», и члены семей высоких партийцев — за родственников, слетевших со своих головокружительных постов и оказавшихся оврагами народа». Вот в этой пестрой мозаике каждый хотел найти себе подобного, близкого по духу, родную душу.

Когда я забралась на верхние нары, на матрасе Катерины Ивановны, кроме хозяйки, как всегда, сидела Инга с неизменной папироской, покрасневшая после работы на морозе Танюша, а между ними — незнакомая мне женщина, очень бледная, измученная, возраст которой трудно было определить. Говорила она тихо, вяло. Испуганные, оглядывающие все вокруг глаза изобличали новичка в лагере.

Меня познакомили с Наташей, только утром прибывшей с этапом в наш лагерь. Оказывается, она москвичка! Сразу накидываюсь на нее с вопросами.

— Когда вы с воли?

— Давно, восемь месяцев. (То, что для нее давно, то для нас вчера!)

— Где жили в Москве? Кто остался дома?

— Двое детей и бабушка.

— В какой тюрьме сидели? Какой срок получили? Вопросы сыплются один за другим. Но мы, уже бывалые лагерники, спрашиваем только дозволенное лагерным этикетом. Нас, конечно, интересует еще очень многое, но мы знаем свое место и не зарываемся. Если наша знакомая захочет, сочтет нас достойными доверия, то расскажет сама, что найдет нужным, что у нее за дело, в чем обвинили, что правда, а что ложь, где муж.

Наташа рассказывает медленно, замолкает на время и с испугом вглядывается в темные лица заключенных. К нашему разговору прислушиваются и внизу, и на соседних нарах. Мы пьем горячий чай, заедая его ломтями черного хлеба, посыпанного сахарным песком. Очень вкусно! Тепло разливается по телу и клонит ко сну.

Но вот разговор неожиданно оживился. Инга, узнав, что Наташа с мужем после войны жила в Австрии, так и впилась в нее взглядом.

— Долго ли вы там жили? Бывали ли в Вене?

— Да, мы ездили из военного гарнизона в Вену за покупками и так, развлечься. Какое чудное это было время! Война позади, мы в Европе, о таком и подумать раньше не могли! Вена нам очень нравилась, казалось, ее война не коснулась.

— А бывали ли вы в знаменитом кафе на ...штрассе? — нетвердым голосом спросила Инга.

— Да, конечно, мой муж там бывал часто со своими друзьями-офицерами, и я пару раз побывала там с ним.

— А помните вы хозяйку кафе? — голос Инги звучит совсем глухо.

— Ну как же! Такая красивая, яркая молодая женщина! Я ее хорошо помню.

Мы с напряжением следим за бедной Ингой. Ее глаза наполняются слезами, она глубоко затягивается папиросой и, захлебываясь, начинает кашлять. Наша новая знакомая, видимо, почувствовала странную реакцию на свои слова. Она замолчала, оглядела всех и спросила, не родственница ли эта дама Инге. И вдруг два образа соединились в ее сознании — та далекая, беззаботная молодая австрийка и эта седая, бледная женщина.

— Это были вы, Инга? Фрау Инге, простите меня, мы все ведь теперь на себя не похожи,— залепетала она в свое оправдание.

Долго сидели мы молча под впечатлением этой странной, горькой встречи. Инга курила, погруженная в свои воспоминания. Я думала о том, как несправедливы были многие, не верившие ее рассказам о прошлом. Вот и свидетель нашелся. Потом Инга и Наташа наперебой вспоминали Вену. И уже Наташе казалось, что не так сильно Инга изменилась.

— Вот только волосы покрасить, вставить зубы, и вы снова будете такая же красивая! Честное слово, — говорила раздумавшаяся Наташа. Сама она тоже преобразилась, и стало заметно, какая она еще молодая и миловидная. Мы после долго с ней дружили, пока очередной этап не разлучил нас навсегда.

Среди похожих друг на друга будней только день получения почты был настоящим праздником. Больше всего радости приносили письма. Мои близкие писали мне часто, а я могла отвечать им только два раза в год. Мама ездила за город, чтобы отправлять мне продуктовые посылки—в Москве их не принимали. Получение посылки, уложенной руками мамы, было особым событием. Вечером я бежала к своим друзьям с угощением.

Мы забирались на нары, расстилали полотенце и раскладывали на нем немыслимые богатства — колбасу, сало, печенье. Все исчезало в один момент, а потом мы вчетвером, Таня, Катерина Ивановна, Инга и я, сидели до отбоя, ослобившие от еды и усталости. Медленно вели беседу, вспоминали прошлое, слушали Ингины рассказы

и мечтали о свободе. Каждый из нас верил, что она где-то близко, хотя Сталин еще был жив и из лагерей почти никто не освобождался. Шел пятьдесят третий год.

В один из таких счастливых лагерных вечеров — я не оговорила, эти вечера действительно в нашей тогдашней жизни были счастливыми, после двенадцати рабочих часов на лютom морозе наш мирный вкусный ужин с милыми друзьями был высшим блаженством, — в один из таких вечеров Инга вдруг предложила: «Давайте, девочки, я вам погадаю».

Ее глаза вопросительно смотрели на меня, Инга знала, что я, атеистка, не верю мистическим предсказаниям, и, наверно, опасалась моего насмешливого отказа. Но я с радостью согласилась. Я уже была наслышана о ее удивительной способности рассказывать о прошлом человека, которому она гадала. После долгого изучения линий на ладони она всегда начинала с рассказа о прожитой жизни. Моя жизнь была коротка и так проста, что, и не обладая знаниями черной магии, можно было с легкостью в двух словах всю ее пересказать, что Инга и сделала. Ну а что в моей «революционной» деятельности большую роль сыграло первое юношеское увлечение, влюбленность — тоже легко было догадаться (а может быть, и Катерина Ивановна кое-что ей рассказывала). Так я думала, пока Инга, попыхивая папироской, сквозь дым изучала мою руку. А потом началось самое интересное, предсказание будущего.

Я как будто и не верила в возможность узнать жизнь человека по датам его рождения или рисунку ладони. И все же холодок пробежал по коже, когда я услышала все, что меня ожидает. В хорошее хотелось тут же поверить, а плохое отмести как небылицу. Во-первых, меня и всех нас, и Таню, и Катерину Ивановну, и ее самое, ждет скорая свобода. Что-то случится чрезвычайное, она не сказала что, и нас всех освободят. «Здесь почти никого не останется!» — заключила Инга, и глаза ее радостно блеснули. Ну можно ли было поверить Ингиным словам! Просто она добрая и хочет нас утешить, поддержать.

Кругом такой мрак, только что обличены врачи-отравители, по газетам видно, как сгущается атмосфера на воле. В лагере режим ужесточается изо дня в день. Прибывают все новые этапы с только что осужденными — за анекдот, за случайно оброненное слово, за знакомство с иностранцем. И сроки какие-то немыслимые — пятнадцать, двадцать пять лет. Софья Михайловна Бронштейн сказала, что евреи самые лучшие скрипачи в мире, — получила десять лет за антисоветскую агитацию и еврейский национализм. Группами прибывают разного вида «религиозники», сектанты. Среди них дети по 16-17 лет!

И вот сейчас, в эту минуту, в многоголосом гомоне барака прозвучали слова о свободе для нас всех. Можно ли было в это поверить? Нельзя. Но мы... поверили! Такая радость обуяла нас с Танюшей, что мы, обнявшись, повалились с пискom на нары и начали тузить друг друга. Когда этот радостный порыв прошел, Инга снова взяла мою руку: «Когда ты выйдешь на свободу, тебя ожидают две близкие смерти». Она имела в виду смерть близких людей, но сказала именно эти слова. Я их никогда не забуду. Я замерла — мать, отец?! «Я не могу сказать, кто именно, — ответила

Инга. — А потом твоя жизнь будет очень счастливой. Ты не будешь больше учиться. Это тебе будет не нужно. Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома. Ты в длинном платье принимаешь гостей. Ты будешь счастливой». На этом предсказание Инги закончилось. Она отпустила мою руку и не сказала больше ни слова.

Удары по рельсу возвестили отбой. Надо было срочно убираться в свой барак, пока надзорки не застукали. Мы с Таней поспешили восвояси. Трескучий мороз не располагал к разговорам, и мы молча добрались до барака двадцатипятилетников. Пришли вовремя, сейчас нашу дверь закроют на огромный замок. После мороза барак показался уютным и теплым. Но ненадолго. Забравшись на верхние нары, мы задохнулись от спертых воздуха. Матрасы лежали узкими полосками, сжатые с боков соседними. Ночью почти невозможно было повернуться — так притиснуты мы были друг к другу. Встать со своего места ночью было опасно, потом не втиснешься обратно на свой матрас, тела смыкались, заполняя образовавшееся пространство.

Я долго лежала без сна, уткнувшись в Танино плечо. Мне казалось, что и она не спит, но говорить мы не могли, вокруг тяжелым сном спали намаявшиеся за долгий день работяги. Так я буду счастливой! В это я сразу безоговорочно поверила. Ну а насчет длинного платья, собственного дома, приемов — так это все взято из Ингиного прошлого. Ведь ничего она не знает о нашей вольной жизни — общие квартиры, очереди, перешитые по несколько раз платья, обноски. Для нее такая жизнь на воле была бы немногим лучше, чем в лагере. Вот и рассказала она мне сказку про Золушку. Смешно верить сказкам.

А две близкие смерти? Нет, об этом я забуду. Буду вспоминать только одно предсказание — скоро свобода! С этой счастливой мыслью я уснула.

Через два месяца после того вечера умер Сталин. Очень скоро были реабилитированы «врачи-отравители», а Берия с Абакумовым и Рюминым, причастные к нашему обвинению, расстреляны. События нагромождались одно на другое, к ним не успевали привыкнуть, как валились все новые и новые.

Радостное это было время! Все были полны надежд. Скоро, не дожидаясь конца срока, стали выпускать людей на свободу. А еще через короткое время почти всех иностранцев собрали в один лагпункт и стали их усиленно кормить. Потом на поезде отправили в Москву. Перед отъездом их всех приодели, чтобы не пугали своим видом по возвращении домой. Увезли и Ингу. На прощание принесла я ей последние дары из посылки. Она плакала, прощаясь с Катериной Ивановной, чувствовала, что навсегда. Очень скоро мы получили от нее письмо. Она в Москве, ходит по улицам свободно и ждет отъезда домой.

Мы все это время с нетерпением ждали перемен в нашей жизни. Лагеря таяли — предсказание Инги сбывалось на наших глазах! Увезли с этапом Катерину Ивановну и Таню в карагандинские лагеря. А еще через некоторое время я узнала, что Катерина Ивановна освобождена. Мама написала мне, что она была у них в гостях. Родители моих однодельцев и моя мать хлопотали о пересмотре нашего дела. Я получала обнадеживающие письма. Но бюрократическая машина с трудом

справлялась с непривычной миссией, незаконно осужденных освобождали только на законных основаниях. Ну а мы, бунтари, должны были ждать дольше всех.

Только 25 апреля 1956 года мы все вышли на свободу, уже после XX съезда партии. «Мы все» — это тринадцать из шестнадцати членов организации. В ходе переследствия троим расстрелянным расстрел был заменен десятью годами заключения. Мертвым отменили смерть!..

Не буду сейчас рассказывать, что мы чувствовали, какая была встреча с родными. Об этом рассказ впереди. Скажу только, что радость свидания омрачилась двумя известиями: совсем недавно, не дождавшись моего возвращения, умерла в Киеве моя любимая тетка, сестра отца, и смертельно больна родная сестра мамы. Она была мне второй матерью. Через два месяца мы ее похоронили. Так сбылось немедленно еще одно предсказание Инги — меня ждали по возвращении «две близкие смерти».

Что касается третьего ее предвидения, то оно тоже сбылось, хотя в несколько трансформированном виде. Хотя я и окончила институт, но профессию свою не очень любила и недолго работала в соответствии со своим дипломом.

А самая невероятная часть предсказания Инги осуществилась уже в эмиграции... И вот я, хозяйка уютного и красивого дома, действительно стою на верхней ступеньке лестницы в длинном платье, встречая гостей. В этом не было бы ничего особенного, если бы не увидела все это Инга на нарах в лагере у самого Полярного круга.

К сожалению, я не могу рассказать в деталях о дальнейшей судьбе Инги Ретенбахер. Некоторое время в период хрущевских послаблений Катерина Ивановна переписывалась с ней. Мы узнали, что ее муж, потеряв надежду найти Ингу, женился. Пережив этот удар, Инга встретила в Германии человека с судьбой, похожей на свою. Но были они вместе недолго. Потом она уехала в Америку. Последнее ее письмо и фотография были оттуда. За столом сидела веселая компания красивых, благополучных, хорошо одетых людей. С большим трудом мы узнали среди них Ингу. Белокурая женщина, улыбавшаяся нам с фотографии, мало чем напоминала нашу старую знакомую.

Очень скоро Катерина Ивановна прекратила с ней переписку. Ее страшно напугало шуточное четверостишие о Хрущеве, написанное Ингой. Видно, Инга совсем забыла, откуда она вырвалась, и поверила, что у нас что-то может действительно радикально измениться. Таня попросила в письме, чтобы Инга им больше не писала. Испуг был так велик, что, когда я уезжала в эмиграцию, мои друзья не захотели дать мне ее адрес — как бы чего не вышло!

Я пишу эти строки в Канаде, а Инга, может быть, где-нибудь в Америке. Наши пути ни разу не пересеклись и, наверное, никогда не пересекутся! А может, я забыла еще одно предсказание Инги и нам суждено еще где-то встретиться?

«ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ...»

Тундра ночью представляет собой феерическое зрелище. Черное звездное небо висит низко-низко над головой, Сверкающий серп луны не освещает ни небо, ни землю — он сам по себе, острый и желтый. Весь свет поднимается с земли, от снежной бескрайней равнины. Это даже не свет — это молочный, призрачный туман, который как будто колыхнется в морозном воздухе. Когда же небо освещается сполохами северного сияния, то от восторга и от какого-то мистического страха дух захватывает. Все похоже на сказку — и прекрасно, и жутко, и неправдоподобно.

Две упряжки оленей друг за другом бегут по еле различимой дороге, вернее, виден впереди только санный след. Нам нечасто приходится ездить на оленях, обычно из лагеря в лагерь заключенных-артистов и весь наш багаж перевозят на грузовиках. Тогда мы трясемся в кузове, ударяемся об острые углы сундуков с костюмами. Светящиеся фары машины, рокот мотора, вонь бензина — во всей этой мешанине «цивилизованных» ощущений тундра исчезает, ее красота тускнеет. Да и нет почти времени любоваться дорогой — машина мчит с такой скоростью, что через 20-30 минут мы уже в следующем лагпункте. Но когда выпадает такая удача — поездка на оленях, — мы просто счастливы.

Почти не слышен бег оленей, редкий окрик каюра нарушает тишину. Полозья чуть поскрипывают. А мы молчим, потому что говорить сейчас грех. Это понимают все — и не склонный к романтике, похожий на боксера кларнетист-литовец Гердас, и утонченная, сохранившая и в бушлате изящный вид москвичка Регина Тарасова, и вся наша небольшая, разномастная, разнорасовая культбригада. Мы же с Алдоной Мацкевичуте, моей подругой-певицей, совсем потеряли голову от восторга. Мы с ней самые младшие, нам немногим больше двадцати, а потому, наверное, все воспринимаем с особой остротой. Хоть бы не кончалось это чудесное скольжение саней! Нам тепло в черных овчинных тулупах (новое и невиданное доселе одеяние для заключенных — «подарок» нашего начальника культурно-воспитательной части полковника Никонова). На нас надеты толстые ватные штаны и валенки. В такой одежде и мороз почти не чувствуется. Сейчас, наверное, около тридцати, но в полном безветрии и сухом воздухе иное ощущение холода. Олени бегут небыстро, еле подрагивая ветвистыми рогами, кажется, что и им так же хорошо, как и людям.

Путь от женского лагпункта до ожидающего нас мужского лагеря не так далек — часа полтора. Выехали мы рано, около четырех, но и тогда уже на дворе была ночь. Дня почти нет в это время года — в три часа все начинает сереть и быстро погружается во мглу, а уж в пять часов над головой сияют звезды, если, конечно, нет метели.

С тех пор как наша бригада обслуживает все окрестные лагеря, мы разъезжаем очень много. Сначала нас сопровождал конвой, потом нам выдали пропуска, и мы стали путешествовать самостоятельно. В эти либеральные, послесталинские времена (шел 55-й год) многие заключенные получили пропуска, а некоторые даже жили за зоной, продолжая числиться за своим лагерем. Чудеса происходили в нашей жизни.

После расстрела Бери, Абакумова и еще нескольких высокого ранга вершителей наших судеб лагерное начальство не могло прийти в себя. «Кто же теперь вы? Кто же теперь мы? Кто же теперь они?» — вопрошала растерянная надзорка, слушая грозные обвинения в адрес своего бога и повелителя Бери. Она стояла в бараке для двадцатипятилетников, из репродуктора раздавался сурово-торжественный голос диктора: «Агент английской и японской разведок, враг народа» и прочее и прочее. Взгляд надзорки блуждал по лицам заключенных. Нас она не видела и не нам задавала свои вопросы, на которые не ждала ответа. Эту растерянную, жалкую надзирательницу я никогда не забуду.

Насмерть перепуганное лагерное начальство начало заигрывать с заключенными, сообразив, что сегодняшний зэк завтра может стать большим начальником, а то и следователем. А он, сегодняшний «вольняшка», не приведи Бог, может оказаться и подследственным... В такой нестабильной обстановке все может быть. Мои поездки с артистами только начались. Я попала в эту привилегированную бригаду в смутное время. Культбригада, развлекающая начальство и заключенных, превратилась в агитбригаду. Раньше все политические темы в репертуаре строго воспрещались, теперь, наоборот, монтажи с песнями о Родине, стихи о войне, будящие патриотические чувства, пьесы с высокоидейным содержанием — все это стало нашим репертуаром. Такой вот развлекательно-воспитательный концерт мы везли и на этот раз. Впереди показались лагерные вышки, освещенные прожекторами. Из мира дикой природы мы возвращались в жестокий мир людей.

Сегодняшний лагпункт — цель нашей поездки — считался тяжелым лагерем, сюда отправляли здоровых мужчин, чтобы выколачивали побольше угля. Часто переводили из других пунктов в виде наказания. Звероподобный начальник этого лагеря пользовался недоброй славой во всей округе интинских лагерей. Старые лагерники, побывавшие во многих местах заключения, хорошо знали, как много зависит от того, какой нрав у начальника лагеря, у старшего надзирателя. Даже от самого низшего по чину «вольняшки» зависело, сносное ли житье будет в лагере. Но этого лагпункта боялись все. Ослабление режима здесь происходило особенно медленно. Культбригаду начальник лагеря допускал редко. Я ехала туда первый раз.

У широких ворот лагерной зоны, перевитых колючей проволокой, олени упряжки остановились. Мы вывалились из саней, с трудом передвигая затекшие ноги. Мужчины вытащили ящики с костюмами. Шмонали нас на вахте очень тщательно, все костюмы перетряхнули, заставили расстегнуть полушубки, снять валенки. Процедура эта была привычна — мы безразлично наблюдали усердие надзирателей. И они и мы знали, что это проформа, так как ничего запретного, кроме маленьких записок-писем, мы в зону не внесем. А записки, эта святая почта всех лагерей, при любом режиме и при любом шмоне обязательно дойдут до адресата.

Тут изворотливости и смекалке заключенных нет предела! И конечно, у каждого из нас были запрятаны письма (на лагерном языке — «ксивы») от дочери к отцу, от жены к мужу, от влюбленных, знакомых только по переписке. Десятки плотно сложенных, свернутых, перевязанных клочков бумаги от любящих, тоскующих друг без друга людей. Если записки будут найдены, нам несдобровать — дело кончается в

таких случаях и карцером, и списанием на общие работы. Но неписанный лагерный закон заставлял людей идти на риск.

Шмон окончен, и мы благополучно входим в зону. В это время дня или, вернее, ночи лагерь похож на мертвый, брошенный людьми поселок. Ровными рядами выстроились черные, прибитые к земле бараки. Еле светятся крошечные оконца. Длинные валы из снега тянутся вдоль бараков. За долгую зиму эти валы превращаются в высокие снежные стены — дороги между бараками становятся похожими на белые траншеи. На этих узких улицах кое-где маячат темные, бесформенные фигуры, но их с трудом можно разглядеть, так как вся зона погружена во мрак.

Ярко освещена только территория между двумя рядами колючей проволоки. Здесь — белоснежный, алмазный наст без единого следа. Сюда устремлены взоры четырех «попок» с автоматами на четырех вышках по углам зоны. Ни зверь, ни человек не проползет здесь незамеченным.

Только у барака-столовой оживленно. Уже стоит толпа, ожидающая нашего появления. Для заключенных-мужчин приезд культбригады двойной праздник — хоть какое-то развлечение и, главное, встреча с женщинами, общества которых они лишены многие годы. Умиленные улыбки, радостные лица — здесь не очень ценят наше искусство, не замечают нашего убогого вида, мы все вместе представляем для них женщин всего мира, некую прекрасную женскую субстанцию, женщину-богиню. Удивительно, как эти огрубевшие, измученные, изголодавшиеся без женщин люди преображались в нашем присутствии. Они не знали, как нас лучше принять, угостить, обогреть. Нам несли подарки за сцену, кульки с конфетами, нас кормили особым, специально для нас приготовленным обедом. Мужчинам всегда казалось, что страдаем мы больше их, а многие чувствовали себя виноватыми за судьбу своих жен, сестер, матерей.

Встреча с нашими братьями по несчастью всегда была полна самых разнообразных чувств — и радости (ведь и нам было тоскливо без мужчин), и растерянности от их поклонения нам, и благодарности, и щемящей жалости к людям, которым было куда горше, чем нам, — мы в этом были уверены.

Время близилось к восьми, и мы спешили за сцену. Там первым делом раздавались драгоценные письма, иногда их отдавали одному доверенному ээку. Потом начиналась подготовка к концерту. Как ни топили к нашему приезду барак, а переодеваться в легкие, воздушные платья было неприятно. Наш художник Александр Сергеевич, недавно появившийся в бригаде, возится на сцене с подсветкой, прилаживает роскошный задник, изображающий залитый солнцем пейзаж средней полосы России, — этот фон должен настроить зрителей на веселый лад. «Шурик из Парижа», как мы прозвали нашего декоратора (он действительно прямо из Парижа десять лет назад попал в Воркуту, вместо дорогой Москвы, куда стремился), — Шурик делает чудеса, он одевает нас в «дягилевские» костюмы, яркие, необычные (им бы позавидовали и на воле!), из папье-маше сооружает невиданный реквизит. Концерты оформлены в парижском вкусе (так, во всяком

случае, нам кажется). Мы очень ценим нашего Шурика, которому вот-вот стукнет шестьдесят лет.

Занавес закрыт, и мы только слышим гул заполняющегося зрительного зала. Столы убраны, и все пространство длинной столовой уставлено скамейками. Артисты волнуются, так уж положено, но волнение это, как правило, вселяет только особое вдохновение. Я же волнуюсь до полуобморочного состояния — мурашки бегут по спине, дрожу, как в лихорадке, то ли от холода, то ли от страха,

Регина Тарасова шефствует надо мной, подбадривает.

— Ты такая бледная, как смерть, положи больше грима, — советует она мне. — И не трусь, как бы ты ни прочла, все будут покорены. Ты можешь просто выйти на сцену и помолчать — успех тебе обеспечен!

Наш худрук Николай Порфирьевич Клаус, в прошлом концертмейстер и дирижер из Минска, длинный, худой, на мой взгляд — старик (лет сорока пяти), занимается своим маленьким оркестром. В его подчинении кларнетист, ударник, скрипачка, и он сам заведует аккордеоном.

Все готово к началу. На мое несчастье, я должна выступать первой — так решило начальство, придавая моему номеру особое значение. Полковник Никонов, начальник по воспитательной части, долго беседовал с нами, объясняя наши новые задачи.

— Вы должны помочь людям выйти на свободу не озлобленными, а любящими свою Родину, настоящими советскими людьми, — тихим голосом внушал нам седой полковник.

Занавес медленно раздвигается, я стою перед темным залом. Сейчас я выполню возложенную на меня миссию.

— Владимир Маяковский. «Стихи о советском паспорте», — произношу я глухим от волнения голосом. Из темноты на меня смотрят сотни глаз. В первых рядах я различаю лица, озаренные улыбкой. Меня с любопытством разглядывают: молоденькая, симпатичная девчонка, что-то она нам расскажет? Большинство в этом зале не знает, кто такой Маяковский, — западные украинцы, литовцы, латыши, эстонцы еще не успели познакомиться с «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», как когда-то назвал Маяковского Сталин. Заключение-иностранцы и вовсе о нем не слышали, а свои, российские, на фронтах да в плену позабыли, если и знали.

— Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету! —

начинаю я уже окрепшим голосом, входя в свою роль «агитатора, горлана-главаря».

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту...

Волнение исчезло. С гордо задранной головой я делаю шаг вперед и оказываюсь у самого края сцены. Меня распирает чувство патриотизма, болезненное чувство любви к своей Родине, которая лучше всех, и это надо всю жизнь доказывать всем окружающим и, главное, самой себе. Я не видела ни одной другой страны в мире, но я твердо знаю, что только в моей стране людям живется хорошо. Вот, смотрите на меня! Я — против всего несправедливого буржуазного мира. Я, зэка под номером Э-881, враг народа, еврейская националистка, изменница родины, террористка, осужденная на 25 лет лишения свободы, убеждаю таких же, как и я, заключенных с номерами на спинах, как прекрасна советская власть. Там, за пределами нашего справедливейшего, гуманнейшего общества, люди ненавидят друг друга, презирают другие национальности, плюют на чужие паспорта.

К одним паспортам —

улыбка у рта,

К другим —

отношение плевое.

Шведы, датчане, поляки — все мелочь, не стоящая внимания.

И, не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.

Полиция, чиновники, все-все там меня боятся только за то, что я представитель первой в мире страны, где люди счастливы.

С каким наслаждением
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.

Ни на секунду не возникла у меня мысль, что я выбрала неподходящее место для этого громоподобного гражданского пафоса. Ни на йоту я не кривила душой. Кровь от крови, плоть от плоти я была выкормышем советской власти, чьи идеи когда-то заморочили голову и очень честному поэту Маяковскому. Моя горячая любовь к Родине ни чуточки не пострадала оттого, что пришлось мне пережить за последние четыре года — тюрьма, следствие, суд, приговор, лагерь. Наша молодежная группа хотела справедливой советской власти, той же власти, только доброй, хорошей, как сам Ленин.

Природа наградила меня красивым, глубоким и звонким голосом, он летит в зал, в каждое ухо, в каждую душу. Забудьте все, что с вами произошло. Вы тут зэка, зэка под номерами, без имени, вы, счастливейшие из смертных! Вы чувствуете, как берегут вас здесь — охраняют с собаками. Вы отсидели ни за что десять-пятнадцать лет. Ваша вина только в том, что остались живы, попав в военную мясорубку, — умри вы, и все было бы в порядке. Вы вступились за попранные национальные

чувства и осуждены как «враги народа». Неважно, что жизнь покалечена и из молодых вы превратились в беззубых стариков, что нет уже дома, куда можно вернуться, что семьи вырваны с корнем и отправлены умирать в Сибирь, что уже страшно некоторым переступить порог долгожданной свободы...

Я достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза:

читайте,

завидуйте,

я —

гражданин

Советского Союза.

Моя рука с воображаемым паспортом протянута к заключенным: вот он, отобранный у вас паспорт! Вы не видели его уже много лет и вряд ли скоро увидите. Но все равно, пусть вам завидуют, вы — заключенные Советского Союза! В этот момент справедливый Бог должен был бы испепелить меня. Но он оставил мне жизнь, чтобы я никогда не забыла своего позора...

Зал молчал недолго, потом раздались не вполне стройные аплодисменты. Раскланявшись, я ушла за сцену. Меня поздравляли мои коллеги с прекрасным дебютом. В концерте я не раз выходила на сцену в других номерах — и в веселом украинском танце, и в скетчах. Первый номер, наверное, скоро забылся, потому что встречали и провожали меня горячими аплодисментами.

Концерт вскоре окончился, за сцену пришли счастливцы, которые уже знали кого-то из бригады, или смельчаки, желавшие познакомиться. Я ждала появления двух симпатичных мне молодых людей, с которыми познакомилась издали на строительстве дорог. Они махали мне из колонн, шедших на шахту, даже написали по записке, предлагая для начала свою дружбу. Но напрасно я смотрела по сторонам, молодые люди не появились.

Уже позднее, когда у меня появилось много знакомых в мужских лагерях, некоторые рассказали, как были шокированы моим выступлением, но потом простили. Те, кто не пожелал со мной познакомиться, не могли забыть и не хотели простить.

Я давно уже не читала Маяковского. Мы ставили пьесы о войне, оперу «Запорожец за Дунаем». Я пела и танцевала, меняя костюмы много раз за вечер. Волею случая я была избавлена от повторения позорного моего дебюта. А если бы не было этого случая?..

Жизнь человека кажется мне долгой-долгой цепью превращений. Если б можно было встретиться с самим собой в разные периоды жизни! Вот человек средних лет беседует с собой — юношей, или седой старик спорит сам с собой, пытаясь разобраться в длинной жизни. Как понять свои поступки в прошлом? Ведь это был ты, ты сам — чуть красивее, свежее, моложе. Но руки, нога, голова, твоя родинка на щеке — все, все, что называется «я», было то же.

От одних воспоминаний кружится голова, захватывает дух: сколько благородства, смелости, как красиво это выглядело. От других поташнивает, так и хочется оттолкнуть их от себя, забыть. Наверное, это хорошо, что нельзя повстречать себя прошлого. Неважно, что перед тобой стоит зеленый юнец. Как ты мог? Как не понимал низости своей?! Что теперь оправдываться — прошлого не вернешь. Ты это сделал тогда, а я всю жизнь должен казнить себя.

Вот уж и жизнь подходит к концу, а память не тускнеет и возвращает меня в мою юность. И тычет меня носом в дела твои, молодость.

У Полярного Круга

Лагерная одежда не на всех сидела одинаково. Конечно, она никого не красила, но здоровые и молодые выглядели в ней часто очень даже ладно. На доходягах уродливый бушлат как будто был на месте, нивелируя некрасивость и жалкий вид его обладателя. А вот на Евгении Александровне и бушлат, и бесформенное серое платье сидели, как на корове седло. Она была похожа на Пьера Безухова в пору его блужданий по наполеоновским тылам. Высокая, полная, немного неповоротливая. Руки были всегда как-то оттопырены, отделены от тела. Из рукавов свисали на длинных тесемках рукавицы, чтобы, не дай Бог, не потерять (изобретение, взятое из детской одежды, которым Евгения Александровна очень гордилась).

Посреди круглого румяного лица — курносый, маленький нос, на котором водружены были круглые очки в золотистой оправе. Все на ней было неловко: и глубоко надвинутая на лоб грубая ушанка, время от времени сползавшая на глаза, и старый, немыслимого срока бушлат, рукава которого были ей коротки, и разляпистые, заскорузлые ботинки с неумело закрученными грязнобелыми портянками. Когда нужно было повернуть голову, Евгения Александровна поворачивалась всем телом — тогда на вас смотрели ее беспомощные за стеклами очков какие-то совсем детские глаза.

Мы встретились в Абези, в инвалидном лагере, куда меня привезли из московской тюрьмы. Лагеря в Абези были все инвалидные, и мужские, и женские. Кругом тундра,

никаких особых работ не было. Маленький поселок в стороне от лагерей населяли военные — надзорсостав и конвойные части. Сюда свозились доходяги из рабочих лагерей всей Коми АССР и из тюрем. Многие сразу попадали в лагерную больницу, набитую до отказа. А оттуда уж как кому повезет: или в общий барак, или «вперед ногами.» Смертность была очень высокой.

Знакомство с Евгенией Александровной произошло не сразу. Среди сердобольных москвичек, которые шли вереницей к изолятору, где меня держали некоторое время после этапа, ее не было. Знакомилась с людьми она осторожно, не была склонна к душевным излияниям первому встречному, как часто бывало в лагере.

Вскоре после моего прибытия в Абезь весь лагерный пункт перегоняли на другое место. Такие «великие переселения» были обычным явлением — лагерь постоянно перетасовывали, переводили с места на место, людей неожиданно срывали и увозили за сотни километров или в соседний лагерь. Это было неспроста: людям не давали засиживаться на одном месте, обзаводиться друзьями, все должно быть непрочно, ненадолго, только неволя навсегда. Я была совсем необученным новичком в лагерной жизни и поэтому моя первая «прогулка» по тундре чуть не закончилась для меня трагически. Шла середина июля, солнце припекало изрядно и снег всюду растаял. Нам объявили, что мы переходим в соседний лагерь, расположенный недалеко, в двух-трех километрах.

И я отправилась в путь в резиновых тапочках, забыв о вечной мерзлоте под ногами. Пока конвой пропустил в новую зону всех заключенных, прошло часа три. На другой день я была уже в лагерной больнице. Температура 42° держалась несколько дней. На меня бросали жалостливые взгляды заключенные доктора — считали, что это вспышка туберкулеза, как часто бывает после долгого одиночного заключения. Но Бог миловал. Через несколько дней я не могла двинуть ни одним суставом, кожа покрылась красными болезненными буграми, и врачи радостно объявили, что у меня всего-навсего острый полиартрит и я скоро буду здорова. Но за этой болезнью последовал тяжелый плеврит. В результате, я провалялась в больнице полгода.

Многие считали, что мне здорово повезло. Попасть в больницу, не будучи смертельно больной и «прокантоваться» там долго — это ли не удача! Но я не радовалась своему везению. Обстановка в бараке была очень тяжелая: в одном помещении, которое ничем не отличалось от других барачков, находились люди с открытой формой туберкулеза, и тяжелые астматики, и венерические больные. Среди последних были совсем безумные, другие — на разных стадиях сифилиса. Для всех остальных это была «каста неприкасаемых». Мы все их боялись, бедняги чувствовали себя в полной изоляции и некоторые, озлобившись, пытались заразить своей болезнью других заключенных.

Для этого они опускали какие-то грязные тряпки в бочку с питьевой водой, их не ловили на месте преступления. Не зная, как передается сифилис и другие венерические болезни, мы опасались дотрагиваться до ручек дверей, даже дышать с ними одним воздухом было страшно.. Не дай Бог, остановить взгляд на какой-нибудь из этих женщин, сразу же начинался крик: «Ты чего уставилась, вот погоди, скоро

будешь с гуммой!» Я иногда исподтишка следила за ними. Чаще всего это были женщины, отсидевшие уже много лет и заразившиеся сифилисом, когда политические и уголовники отбывали срок вместе. Режим был не так строг и при желании можно было «поджениться» (лагерное слово, означающее найти себе пару).

На самом деле, опасность заразиться туберкулезом была куда реальнее, но об этом я не думала. Мои подруги и ровесницы, западные украинки, прошедшие через тяжелейшее следствие — побои, голод, холодный карцер — попадали в лагерь полуживые, с разными формами туберкулеза. Парадоксально было то, что холодный климат часто спасал их, замедляя развитие болезни. Позже я узнавала, что освободившись и вернувшись в родные места с теплым климатом, они погибали от скоротечной чахотки.

Среди больных в бараке было несколько эпилептиков. Нередко все просыпались от звериного воя и скрежета. Кто был покрепче, кидался на помощь: бившуюся в конвульсиях женщину держали за руки и ноги, удерживая ее от увечий. Страшные это были ночи, хотелось зажать уши, чтобы не слышать, что происходило рядом. Утром такие больные не помнили припадка, лежали тихие, измученные, безразличные ко всему.

Во время острого периода своей болезни я обращала мало внимания на окружение, надо было самой выжить. Но как только немного пришла в себя, пребывание в больничном бараке стало для меня невыносимым. Я не могла дожидаться, когда меня выпишут в общую зону. Скрашивала бесконечно долгие дни завязавшаяся дружба с Евгенией Александровной Таратутой, находившейся некоторое время в той же больнице. Ее выписали раньше меня, и она часто приходила меня проведать. У меня еще никогда не было взрослого умного друга. На воле меня окружали сверстники, а взрослые только покровительственно разговаривали и если не воспитывали, то давали добрые советы. Это всегда было скучно. Мне казалось, что со взрослыми дружить невозможно.

И тут вдруг моя милая новая знакомая, умудренная опытом писательница, разговаривает со мной, как с равной. Расспрашивает обо всем и сама рассказывает о себе, о своей семье. Ее отец и мать познакомились в Сибири, в знаменитом городе ссыльных — Тобольске. Сюда глубокой зимой пригнали партию ссыльных и каторжан, многие шли в кандалах. Один из кандальников был двадцатилетний Александр Таратута. Этап встречала двадцатилетняя Агния Маркова, приехавшая навестить брата-революционера, отбывавшего срок в Тобольском центральном. Шел 1906 год, до революции оставалось еще 11 лет.

Встреча была судьбоносной, молодые люди решили не расставаться и вместе вести подпольную революционную борьбу. Евгения Александровна рассказывает, сколько страданий выпало на долю ее родителей, в каких только тюрьмах не сидел ее отец, куда только не носила ему передачи мать! В 1911 году был организован побег Таратуты из очередной ссылки в Париж. Через год к нему приезжает Агния. В те годы русских революционеров-подпольщиков в Европе было, возможно, больше, чем в России, во всяком случае, самые активные деятели вели свою борьбу кто из Женевы,

кто из Лондона, кто из Парижа в ожидании момента, чтобы вернуться в революционную Россию.

Таратута в Париже встречался со многими видными революционерами, в том числе и с Лениным, что сыграло в его жизни трагическую роль: в 1937 году он был уничтожен вместе со многими соратниками Ленина. Я слушаю рассказ Евгении Александровны, затаив дыхание — настоящие революционные подпольщики, водили дружбу с самим Лениным, и это ее семья! То, что Евгения Александровна родилась в Париже, я узнала много позже: родиться за границей было почти преступлением, такие тайны тщательно скрывались. После гибели отца мать с двумя детьми сослала. Я жду продолжения увлекательной истории, но рассказчица замолкает и таинственным шопотом говорит, что у Шехерезады сказка прерывалась на самом интересном. Надо набраться терпения до нашей следующей встречи. «Тем более, — добавляет Евгения Александровна, — что моя сказка не имеет счастливого конца.»

Уже поздно, больница затихает и погружается в сон. Тишину время от времени нарушают стоны, всхлипывания, бормотание — сны возвращают нас в прошлое и не дают отдохнуть даже ночью.

Мое «образование», иными словами, постижение неписаных законов лагерной жизни продолжалось и в больнице. То, что в нынешнем обществе известно всем, мне приходилось узнавать с большим опозданием и в самых неблагоприятных условиях. Подруги-украинки, студентки из Львова, предупредили меня, что с соседкой по нарам я должна вести себя осторожно. Симпатичная, стриженная под мальчика молодая женщина относилась ко мне с большой симпатией, шутила, поддразнивала меня, стараясь завести возню на нарах. Мне было невдомек, что наши отношения могут быть чем-то другим, чем обыкновенная дружба, пока Анычка Иваницка не объяснила мне, что в лагере некоторые женщины живут парами, составляя как бы семью и что Данута известна среди заключенных как лесбиянка. Надзорки отслеживают таких женщин, отправляют их в карцер или переводят в разные лагеря. Сколько мне пришлось потом наблюдать таких трагедий, ведь разлука могла быть навсегда.

Дружба с Евгенией Александровной, разумеется, не носила никакого сексуального характера, но я определенно была влюблена в моего старшего друга. Как иначе можно было назвать бушевавшие меня чувства? С нетерпением я ждала ее прихода, чувствовала ее появление в бараке до того, как видела ее, меня бросало в жар, сердце начинало усиленно биться и радости моей не было предела, когда улыбающаяся Евгения Александровна усаживалась в ногах на моей койке. Разве это не влюбленность? Так влюбляются девочки в своих учителей, независимо от их пола. Преследуют их, засыпают подарками и ничего не требуют взамен. Мы когда-то всем классом влюбились в учительницу математики Нину Сергеевну, не знавшую, куда деваться от тридцати двух пар глаз, устремленных на нее и полных обожания.

Между мной и моим новым другом была огромная разница в возрасте, лет двадцать. Ко времени нашего знакомства ей было, наверное, сорок. Мне, как обычно бывает в молодости, она казалась пожилой. Несмотря на такую разницу, Евгения Александровна долгое время обращалась ко мне на Вы. Такое обращение, как мне

казалось, отдаляет нас друг от друга, и однажды я попросила говорить мне «ты», на что Евгения Александровна мягко заметила: «А это надо заслужить.» Несколько растерявшись, я все же не стала уточнять, что же я должна сделать для этого.

Вечером, в плохо освещенном бараке, куда она приходила ко мне, мы сидели, прижавшись друг к другу, и вели разговор почти шепотом, чтобы не посвящать других в наши дела. Я уже рассказала Евгении Александровне все о нашей недолгой подпольной деятельности. Ну, и, конечно, о следствии, о жуткой одиночке и вообще обо всех событиях моей не слишком длинной жизни. В ответ Евгения Александровна не спешила посвящать меня в свои тайны, о деле своем она не говорила, но заметила, что оно было выдумано от первой до последней строчки. Рассказывала, каким тяжелым было следствие: следователь оскорблял ее и даже бил.

Тяжко было слушать о тех унижениях, через которые она прошла. Я видела перед собой эту мягкую интеллигентную женщину, не способную даже громко говорить, и представляла, как бьет ее мерзавец следователь. Она писала жалобы в прокуратуру, письма Секретарю Союза писателей Фадееву, с которым была лично знакома, писала, как пишут художественные произведения, пытаюсь поразить своим рассказом, вызвать негодование у тех, с чьего благословения совершались все беззакония, так страстно ею описываемые. Фадеев ей не ответил ни разу, а прокуратура отвечала, что дело пересмотру не подлежит, что осуждена Таратута на законном основании.

Как анекдот, звучал рассказ Евгении Александровны, как следователь записал в протокол, что она за свою шпионскую деятельность получила вознаграждение в виде золотых очков. С горькой улыбкой показывала она свои очки в золотистой амальгамированной оправе, которые у нее даже не отобрали как вещественное доказательство. Я рассматривала фотографии дочери, оставшейся на попечении бабушки. Об отце девочки Евгения Александровна не упоминала. Таня, тогда ей было лет шесть, носила отчество своего деда — так было записано в метрике. По каким-то намекам я сделала заключение, что отцом девочки и был тот друг, с которым Таратута проходила по одному делу. Я уже усвоила лагерный этикет — расспрашивать не полагалось, и не задавала лишних вопросов. На последние гроши мать Евгении Александровны отправляла дочери редкие посылки.

Я знала из писем, какое это было трудное дело: в Москве посылки в лагеря не принимались, надо было ехать за город с тяжелой ношей. Но закаленная революционерка, Агния Дмитриевна носила передачи в тюрьмы, сначала в царские — брату и мужу, а теперь, в советские, дочери. Немного помогали друзья, по секрету от властей, конечно. Обласканный властями детский писатель Лев Кассиль присылал свои недавно вышедшие книги. Евгения Александровна узнавала по знакомому тонкому запаху духов, кто отправитель.

Все, о чем бы ни рассказывала Евгения Александровна, было освещено ее острым умом и наблюдательностью. Слабая физически, она обладала необыкновенной волей и оптимизмом. К ней тянулись люди, желая завязать дружбу, но приближала она к себе только избранных, по одной ей известной мерке.

Наконец, почти через полгода, меня выписали из больницы. Заключение врачи часто старались правдами и неправдами задержать выздоравливающих, чтобы ослабевшие люди не сразу попадали на тяжелые работы. Так было и со мной — я успела окрепнуть, обзавестись друзьями и уже не так опасалась общих работ, тяжесть которых еще не представляла. Но так как работ вне лагеря было мало, то большинство заключенных использовалось для обслуживания нужд лагеря. Все работающие в зоне на лагерном жаргоне назывались «придурками», что означало — пристроившиеся на легкую работу. Легкая она была только по сравнению с работами за зоной, где люди больше всего страдали от холода.

Среди придурков были люди, принадлежавшие к лагерной «элите»: заключенные начальники, работники кухни, столовой, бани. Были профессии и менее почетные, но и они часто бывали предметом мечты для тех, кто мерз на морозе по много часов. К таким относились лагерные ассенизаторы — золотари. Огромная бочка на колесах с запряженной низкорослой лошадкой совершала свой ежедневный объезд отхожих мест. За ней медленно двигались работники с длинными ковшом на плечах. Вот в такой бригаде поначалу работала и Таратута, считая свою новую профессию большой удачей: к середине дня она была уже свободна и после тщательного умывания уютно устраивалась на нарах с рукоделием.

Меня судьба тоже баловала — после больницы я попала в бригаду, собирающую золу из печек всех лагерных помещений. Назвать эту работу «непыльной,» как называли любую легкую работу, было при всем желании невозможно, так как мы таскали полные ящики золы, были покрыты слоем пыли с ног до головы. Мы возили золу на телеге, но лошади нам не полагалось, ее роль мы выполняли сами. Трое впрягались спереди и трое толкали телегу сзади. Переходя от барака к бараку, мы встречались с ассенизаторской повозкой и впряженной в нее лошадью. С трудом скрывая зависть к их тягловой силе, мы обменивались с Евгенией Александровной улыбками.

Шла зима 1953 года. Полярная ночь почти не прерывалась дневным светом. После ночи сразу наступали сумерки, а за ними снова ночь. Заваленный снегом лагерь всегда был светлее неба над головой. Иногда оно озарялось северным сиянием. Прозрачные зеленоватые столбы света, переливаясь, соединяли небо с землей, будто хотели утешить нас, копошащихся в постоянных сумерках или во тьме, как бы говоря, что есть еще свет в небесах, не вечно будет полярная ночь. Морозы доходили до 50° ниже нуля. В такие дни заключенных за зону не выводили, люди могли отдохнуть. А бригады, как наша, должны были работать в любой мороз — печки надо было очищать еще чаще.

Вечером, то есть, вернее, в конце дня, т.к. вечер начинался уже в 3 часа, до ударов о рельсу, оповещавших отбой, когда всякое движение по зоне запрещалось, я шла в барак десятилетников, где жила Евгения Александровна. По какой-то случайности там оказалось средоточие москвичек — как мы шутили, «московский бонтон». Большинство молодых женщин осуждены были за «связь с иностранцами». Под такой рубрикой проходили те, кто был просто знаком, случайно встретился где-то, или долго дружил, или состоял в законном браке с иностранцем. Под одну гребенку им давали по десятке без суда. Называлось это беззаконие ОСО (осуждены особым совещанием). Рыжеволосая красавица Галя Уоллес официально вышла замуж за англичанина,

служащего английского посольства, кажется. Когда ему надо было уехать из Союза, беременную жену не выпустили, а вскоре после родов арестовали. Новорожденная дочка осталась у родителей Гали. Маргарита Вернер, необыкновенно яркая и живая, похожая на мальчика, виновата была только в том, что родилась в Америке. О странной на вид Ире Цигарели ходили слухи, что редакторскую работу в журнале она совмещала со службой в КГБ — своих сотрудников они тоже сажали. И еще много, много лиц оживает в моей памяти, где они остались навсегда такими, как были почти полвека назад.

Наконец мы вместе с Евгенией Александровной, я ждала этого момента целый день! Полумрак создает иллюзию нашей обособленности от всего населения барака. Евгения Александровна тихо читает мне письмо из дома. Я слушаю внимательно, но глаза мои невольно прикованы к неизвестной мне женщине в дальнем углу барака. Миниатюрная фигура закутана в облезлую котиковую шубу — странное попустительство при строгом режиме, — черные смоляные волосы и небольшие, очень яркие глаза. Я с любопытством разглядываю незнакомку, она похожа на залетевшую из южных стран больную птицу. Вся поза ее полна страдания: опущенная голова, беспомощно свисающие руки, сгорбленное тело. Я не могу оторвать от нее глаз, понимаю, что пялиться так неприлично, но моего пристального взгляда женщина не замечает, мысли ее, видимо, в прошлом.

Увидев, на кого я смотрю, Евгения Александровна отвечает на мой молчаливый вопрос: «Это новенькая у нас в бараке, зовут ее Лина Ивановна, она жена композитора Сергея Прокофьева. По национальности она испанка.» Так недаром весь ее облик напомнил мне южную птицу. Много позднее я узнала, что Прокофьев в счастливые времена их совместной жизни называл жену «птаха». Но это счастливое прошлое давно было отравлено годами разлада и отчуждения. В 1936 году, после многолетней жизни за границей, Прокофьев с молодой женой и двумя детьми приехали в Советскую Россию навсегда. Новые условия жизни в чужой стране были, наверное, очень трудны для Лины Ивановны, а вскоре после приезда жизнь с мужем совсем разладилась. Ко времени ее ареста Прокофьев давно жил отдельно.

Сыновья Святослав и Олег были уже взрослыми. Лина Ивановна оказалась одна в чужой стране. Теперь на нее свалилось новое испытание. За что ее посадили, Таратута не знала, возможно, хотели насолить знаменитому композитору, который, хотя и был послушен властям, мог, тем не менее, взбрыкнуть. Так вот для отстрастки пусть посидит в лагере мать его сыновей. А может быть, она просто попала в новую волну репрессий. Говорили, что Лина Ивановна встречалась с иностранцами. Так ведь и она сама была иностранкой, занесенной в Россию злым ветром. Я узнала, что арестовали ее в 48-ом году и обвинили в шпионаже. Арест, наверное, не случайно совпал с кампанией против самых крупных советских композиторов Прокофьева и Шостаковича. До замужества ее звали Лина Любера (Lina Llubera). Когда-то, в молодости, она была камерной певицей и часто первой исполнительницей многих вокальных произведений Прокофьева. Они поженились в 1923 в Париже, с большим успехом гастролировали в Америке, Италии и в 27-м в советской России.

Ко времени моей встречи с Линой Ивановной она уже была за решеткой четвертый год. В каких лагерях успела она побывать за эти годы, мне не известно, но в Абези появилась, видимо, недавно. В тот вечер, когда я увидела Прокофьеву впервые, нас не познакомили. Знакомство произошло через пару недель, когда наша бригада пополнилась новой работницей. Одета она была совершенно невероятно: из-под заплатанного, не по росту большого бушлата выглядывала изношенная котиковая шуба, лицо до половины закрывал платок и только сверкали угольки глаз. Новенькая представилась: «Меня зовут Лина Ивановна», — слабым голосом сказала она. И тут я узнала так заинтересовавшую меня незнакомку и вспомнила рассказ Евгении Александровны о ней.

Встретили новую бригадницу очень приветливо, больше народу — легче работать. А я рада была тому, что со мной будет работать москвичка, интеллигентная дама. Но очень скоро оказалось, что Лина Ивановна в работе была совершенно бесполезна. У нее не хватало сил поднять ящик с золой, она не могла тащить или толкать повозку. Слабым голосом она что-то говорила в свое оправдание. Немного слезящиеся глаза делали ее лицо плачущим. Нам было жаль ее, мы, конечно, вовсе не сердились и очень часто отсылали ее обратно в барак. «Справимся и без вас, а если надзорка спросит, почему не на работе, скажите, что больны,» — напутствовали мы Лину Ивановну. Она улыбалась жалкой улыбкой и уходила, с трудом передвигая ноги в огромных ботинках.

Моя жизнь в лагере стала намного веселее, когда с новым этапом прибыла моя одноделка Катя Панфилова. До того мы почти не знали друг друга, впервые увиделись во время суда. С Анной Ивановной, матерью Кати, мы встретились в другом лагере и к тому времени были очень близки. Теперь у нас образовалась почти что семья, мы очень подружились с Катюшей, были, как две сестры. Катя и я жили в бараке для двадцатилетников, а Анна Ивановна — в соседнем, для десятилетников. Мы работали в разных бригадах, и перед сном, сидя на верхних нарах, делились впечатлениями дня. Катю в это время определили на подсобный хозяйственный двор. Работы там были разные, и потрудней и полегче.

Кто-то выдавал лопаты и прочее снаряжение, кто-то заведовал складом, кто-то чинил повозки и тачки. Ей, как самой молодой, доставалась тяжелая пилка и колка дров. Глядя на ее крепкую фигуру, яркий румянец во всю щеку, белозубую улыбку, никто не мог подумать, что Катя больна туберкулезом, который в тюрьме каким-то чудом был залечен, но мог в любой момент вспыхнуть опять. Она никогда не жаловалась на усталость, но я видела, как она уставала — проваливалась в сон, едва коснувшись головой набитой стружками жесткой подушки. Прислушиваясь к ее дыханию, я тоже засыпала.

Однажды, в самом конце февраля 1953 года, перед тем, как уснуть, мы с Катей по обыкновению шепотом о чем-то разговаривали. Барак погрузился в полумрак, обычный многоголосый шум затих, но то тут, то там слышен был шепот или тихая беседа. Последний громкий звук — поворот ключа в огромном замке, запирающем барак на ночь: спите спокойно, ничто, кроме неволи вам, двадцатипятилетникам, не угрожает. Как-то особенно тяжело было в этот вечер. Днем, в работе, в движении некогда было особенно задумываться. А тут, в спертom воздухе, среди притиснутых

друг к другу тел, лежащих, как бревна, штабелями, мы лежали запертые до утра, так что случись пожару — никто живым не выйдет из этой братской могилы. Вот именно сейчас, в эту минуту, нам с Катей нужна была хотя бы тень надежды, ниточка, по которой мы когда-нибудь выберемся из беспросветной мглы.

Неужели 25 лет, таких лет, таких ночей и дней! Что может нас спасти? Что-нибудь невероятное, например, если бы разразилась третья мировая война, в которой Советский Союз потерпел поражение. Не помню, кто из нас первый заговорил о войне, но мы тут же эту возможность отбросили — сколько жертв ради нашего спасения! Ну, что же еще? В голове у каждой из нас промелькнула мысль, которой в этот момент мы не осмелились поделиться: если бы умер Сталин! Ведь он стар и... не вечен. Мы даже не промолвили ни одного слова, мысль прошелестела и только отразилась в наших глазах. Разве можно желать смерти Божеству, жестокому, пожирающему своих детей, но обожаемому миллионами ослепленных подданных! С наших глаз завеса уже упала, мы прозрели, а другие... Неродившиеся слова застряли в горле, с ними мы уснули.

Утром была наша очередь выносить «парашу» — огромную используемую всем населением барака вместо уборной. Это удовольствие доставалось каждому не часто, так как в бараке жило больше ста заключенных. Услышав гонг, возвещающий подъем, мы скатились с верхних нар — надо было спешить, чтобы не опоздать на завтрак. С большим трудом водрузив бадью с расплескивающимся содержимым на повозку, мы потащили ее к выходу. Дверь была уже открыта, нас обдало морозным, свежим воздухом. После ночи в бараке мы всегда особенно остро чувствовали эту свежесть и пили ее, как воду. Откатив парашу в положенное место, мы с усилием опрокинули ее. Удивительно, как легко мы относились к нашим не слишком приятным обязанностям: мы смеялись, когда не могли сдвинуть лохань с места, от смеха теряя последние силы, весело отпрыгивали, чтобы отвратительная жижа не обрызгала нас, в общем вели себя, как все юные существа, независимо от усталости и обстоятельств.

Март начался с метелей. Воздух сильно потеплел и снег валил стеной. Всех «придурков» снабдили лопатами, и мы без конца чистили от снега проходы между бараками. Казалось, конца не будет снегопаду. Мы заходили в барак погреться и снова принимались пересыпать легкую вату. В один из перерывов мы услышали необычно взволнованный голос диктора. Передавали бюллетень о состоянии внезапно заболевшего Сталина. Я затаила дыхание — неужели наша немая мольба услышана?! Сталин никогда не болел, это твердо знали все его подданные. Если передают по радио о его болезни, значит что-то серьезное.

То, что его, возможно, уже нет в живых и растерянные сатрапы просто собираются с силами, чтобы объявить народу о постигшем его несчастье, не приходило в голову. Каждые два-три часа прекращались радиопередачи и снова звучал голос диктора: температура, пульс, дыхание. Выбрав свободную минуту, я помчалась на хоздвор, где работала Катя — я знала, что она не слышит сообщений по радио. Влетев на площадку, где Катя накладывала уголь в тачку, я бросилась к ней, обняла сзади и прошептала на ухо: Сталин тяжело болен. Несколько минут мы стояли, обнявшись, вокруг никого не было и никто не видел наших сияющих лиц.

Через два дня, 5 марта, весь лагерь, от последнего доходяги-заклученного до самого главного начальника, потрясенный слушал сообщение о смерти любимого вождя, и весь день лилась из репродуктора траурная музыка. Конечно, не все заключенные воспринимали смерть Сталина, как личное горе: западные украинцы, прибалты, иностранцы, не успевшие пройти идеологическую муштру, никаких эмоций внешне не проявляли. Возможно, многие в душе радовались, но почти все опасались еще больших репрессий, еще более строгого режима.

В лагерях вообще боялись перемен, опыт показывал, что все перемены вели к худшему. Но в своей массе люди, как на воле, так и в заключении, оплакивали смерть тирана, предполагая, что как и «добрый царь», он не знал о беззакониях, творимых за его спиной. Никогда не забуду двух старых женщин, рыдавших под звуки похоронных маршей. Это были революционерки, как их называли «ленинского призыва», говорили, что их обвиняли в троцкизме. Считанные старые большевики, чудом уцелевшие после многочисленных чисток, уже отсидевшие по 20 лет, оплакивали убийцу своих товарищей по партии, своих мужей, родственников до седьмого колена. Надо было быть совершенно слепыми — такими они и были. И сквозь слезы повторяли: Вот теперь мы совсем пропали!

Еще через несколько дней в местной газете Коми АССР мы с Катюшей случайно наткнулись на заметку о прошедшем в Канаде вечере памяти Сергея Прокофьева, умершего 5 марта, в тот же день, когда сообщили о смерти Сталина. Ну, конечно, кто мог заметить такое мелкое событие, как смерть гениального композитора! С этой газетой мы побежали в барак, где располагалась так называемая «культурно-воспитательная часть», или сокращенно КВЧ. Был воскресный день, когда там занимался самодеятельный хор.

В нем принимала участие Лина Ивановна Прокофьева. Без всякой подготовки, не слишком заботясь о впечатлении, которое на нее произведет наша новость, мы сразу показали ей газету. Теперь об этом стыдно вспомнить. Прочитав заметку, она подняла на нас какие-то непонимающие глаза, потом прочла еще раз и заплакала, закрыв лицо руками. Стоя в растерянности и не зная, что сказать, мы думали тогда, что Лина Ивановна плачет о смерти любимого человека. Теперь, зная трагическую историю ее жизни, я понимаю, что, может быть, в большей мере она оплакивала свою жестокую судьбу.

Через несколько лет, выйдя на свободу, я встретила в Консерватории элегантную, необыкновенно изящную, красиво одетую даму. Узнала я ее не сразу. Моя приятельница еще со времен лагеря, с которой я была на концерте, Ирина Николаевна Угримова, подвела меня к даме: — «Лина Ивановна, узнаете ли Вы эту молодую девицу?» — «О, yes!» — воскликнула Прокофьева и заговорила со мной по-английски. Она меня не узнала, и напоминать ей о ящиках с золой мне не захотелось.

Весна в Абези не спешила одарить нас теплом. Но зато света было хоть отбавляй, и в солнечные дни и лагерные будни не казались такими унылыми. Началась обычная перетасовка лагерей. Комиссия, с врачами, заключенными и вольными, отбирала «рабочую скотину» — куда кого послать. Часто совсем нездоровые люди из

инвалидных лагерей попадали в лагеря с тяжелыми, непосильными работами. Промучившись там недолгое время, они полуживые возвращались в Абезь. Первой увезли Катю. Расставание было очень грустным, она прощалась и с матерью, и со мной. Но скоро и меня признали годной для Интинских лагерей с тяжелыми работами. Радовало нас только то, что оказались мы южнее, где-то уже в лесотундре. Вместе со мной туда же уехала Таратута.

Интинский поселок в пятидесятые годы постепенно приобретал черты города, который рос вместе с ростом лагерей. Заключение работали в угольных шахтах, на стройке дорог и домов, на лесоповале. Даровая рабочая сила была неэффективна, но без конца пополняемая армия заключенных все же развивала этот северный край. Мне довелось испробовать множество профессий, так как на рабочих объектах бригады все время менялись. Мы то рыли котлованы для строительства домов, то корчевали пни в жиденьких лесах по берегам Черной речки, то засыпали дымящимся шлаком дороги, то набивали летом силосные ямы для скота. Мои руки, не знавшие физической работы, огрубели, появились мозоли.

Иногда объекты, на которых работали женщины, были недалеко от работавших заключенных мужчин. И если попадался не очень строгий конвой, мы перекидывались шутками, заводили знакомства на расстоянии. Однако такие отступления от режима бывали редко: конвоир за это мог жестоко поплатиться. Особенно мне запомнился один из объектов, где мы корчевали пни вдоль реки, куда нашу бригаду приводили в течение многих дней. Поодаль рубили и пилили деревья заключенные из соседнего мужского лагеря. Для них работа была не слишком тяжелой, так как деревья в лесотундре, как правило, тонкоствольные. Нам же корчевание пней доставалось с трудом. Но больше всего мы все, и мужчины, и женщины страдали от мошки. Гнус, так назывались крошечные мушки-кровососы, просто заедал нас. Не спасали ни накомарники, ни плотная одежда, укусы доводили до иступления. Отдохнуть от них мы могли только у костров, куда готовы были влезть с опасностью для жизни.

Среди мужчин, лагерная одежда которых делала их неотличимыми друг от друга, выделялся один молодой парень, работавший всегда голым до пояса. Сначала мы подумали, что он странно одет, но приглядевшись, поняли, что это была не одежда, а облепившая голое тело мошка. Трудно было поверить, что такую пытку можно вынести! Но изо дня в день он появлялся на объекте в том же виде. Говорили, что и зимой видели этого человека полуголым. Никто не понимал, почему он так безжалостен к себе, пока не пронесся слух, что из мужского лагеря совершен побег, и среди бежавших был тот самый человек, удивлявший всех своим поведением.

Тогда мы поняли, что закаляя себя таким жестоким способом, он готовился к побегу. В те времена побег заключенных случались крайне редко, а успешных почти и не было. Беглецов, как правило, выдавали властям местные жители. Старая русская гуманная традиция оставлять съестные припасы в заброшенных хижинах для бежавших с царской каторги или из ссылки давно исчезла. Теперь с помощью населения побег кончался гибелью смельчака. Так случилось и на этот раз. Через несколько дней в лагере объявили о поимке бежавших и, конечно, об их расстреле.

Долго еще потом мы вспоминали этого бесстрашного человека, так трагически закончившего свою жизнь.

Трижды за эти годы ко мне приезжала на свидания моя мать. Первое свидание было очень тяжелым и для нее, и для меня. В лагерях еще держался строгий режим, после смерти Сталина послабления начались не сразу. Мама впервые увидела колонны заключенных, шагающих под конвоем с автоматами, охраняемых огромными овчарками. Зрелище было не из приятных. Я была в зоне, когда за мной прибежали звать на вахту. По ту сторону колючей проволоки стояла мама, осунувшаяся, с седыми висками и с такой горькой улыбкой, которой я никогда у нее не видела. На вахте же и проходила наша первая встреча. Надзорка стояла поодаль и не сводила с нас глаз.

Тут же нам объявили, что свидание разрешено на три часа. Половину этого времени я проплакала. О деле нашем говорить запрещалось, о жизни в лагере тоже. Говорили о Москве, о родных и знакомых, об отце, о брате, который из мальчика за эти годы превратился в подростка. Мне было тяжело думать, что по моей вине испорчено его детство, что приходится ему жить двойной жизнью, скрывая позорное пятно: сестра — «враг народа». А что его могло ждать в будущем!? Таких, как он, не принимали в институты, опасность ареста висела над ними всю жизнь. Но касаться этой темы в разговоре с мамой я не могла. Следующие две встречи были уже в хрущевскую «оттепель» и не оставили такого гнетущего впечатления. В последний мамин приезд я даже могла выйти с пропуском в город и мы сфотографировались в городском фотоателье. Эта фотография сейчас смотрит на меня со стены...

Последним рабочим объектом, на котором я работала до того, как попала в артистическую бригаду, была строительная площадка для возведения дома. Мы рыли котлован для фундамента. Снег уже стаял, но земля оставалась замерзшей. Мы с трудом врезались в грунт и по кусочку откалывали глинистую землю. Не помню, почему, каждая бригадница выкапывала свою яму, отдельную от других. Уже неделю мы долбили мокрую глину. Моя яма была мне по пояс. Я явно отставала от других — их головы едва высовывались над поверхностью земли. Нам в это время стали платить какие-то гроши за работу.

От каждого зависело, сколько получит вся бригада. Поэтому я изо всех сил старалась не отставать от других. Чем глубже становилась моя яма, тем труднее было выбрасывать землю. Наконец наступил такой момент, когда я была уже не в силах забросить лопатой выкопанный пласт глины и она валилась мне на голову. Без всякой надежды снова и снова я забрасывала глину и все больше покрывалась мокрыми комьями. Моя одежда, ботинки, лицо, волосы — все стало липким и мокрым. Движения мои походили на бессмысленную работу робота, у которого испортилась часть программы.

В момент полного изнеможения, когда я готова была сесть на дно ямы, кто-то сверху окликнул меня: мне протягивала руку Олеся. — «Будет с тебя, вылезь!» Никакого упрека в ее голосе не было. Схватившись за руку моей спасительницы, я с трудом выкарабкалась из ямы, ботинки с налипшей глиной весили пуд. Олеся прыгнула вниз и полетели комья глины, лопата за лопатой. Через короткое время необходимая

глубина была выкопана. Олеся, милая украинка с западной Украины, первая запевала в бригаде, все свободные минуты вышивала крестиком рубаху для своего жениха, находившегося в соседнем лагере! Как я ее благодарила, даже не помню, может быть, и никак — в таком состоянии я была. А сейчас, через сорок пять лет, я не могу вспомнить ее фамилию, хоть душа моя переполнена благодарностью!

На этом закончилась моя карьера землекопа и началась карьера заключенной актрисы. Но ненадолго. Время сталинских лагерей подходило к концу, правда, их потом заменили хрущевские, а за ними брежневские, но это были уже и другие лагеря, и другие заключенные.

В 1955 году я провожала на волю одну за другой моих приятельниц. Попрощалась и с Евгенией Александровной. Она обещала навестить в Москве мою семью. После освобождения мы еще долго дружили, встречались нечасто, но обязательно звонили друг другу. О литературной деятельности Евгении Александровны я знала немного. С большим воодушевлением она рассказывала мне, что работает над биографией Этель Лилиан Войнич, автора знаменитого в Советском Союзе романа «Овод». На примере героя романа Артура, известного в революционном движении по кличке Овод, негибаемого борца за свободу Италии, воспитывались многие поколения советских пионеров и комсомольцев. Опубликованный в 1897 году в Нью-Йорке и Лондоне, роман не получил признания среди широкого круга читателей, но стал настольной книгой революционеров и радикально настроенной молодежи конца века.

В советское время он обрел вторую жизнь: книга переиздавалась бесчисленными тиражами, на ее основе были поставлены спектакли, снят фильм (с замечательной музыкой Шостаковича). В романе было все, что необходимо для образа романтического борца-революционера — все штампы, вся сентиментальность, одетая в трагические одежды, мелодрама, любовь и предательство, отступничество от веры, было все, но не было живого человека, была схема.

После смерти Сталина, когда многие советские идеалы стали тускнеть, интерес к роману постепенно угасал. Именно тогда Евгения Александровна начала работать над своей книгой. Уже в одном этом можно было увидеть типичный советский парадокс — вчерашняя заключенная сталинского Гулага, отсидевшая пять лет ни за что, но оставшаяся верной идеям революции, работает над книгой, предназначенной стать еще одним орудием советской пропаганды!

Пройдя положенный ей тернистый путь в советское время: арест и расстрел отца, ссылку с матерью и маленьким братом, некоторую передышку и, наконец, ее собственный арест, тюрьму, тяжелейшее следствие и лагерь, Евгения Александровна продолжала верить, что ее судьбу и судьбы узников Гулага определила не коммунистическая система как таковая, а отдельные личности, искажившие хорошую идею. Даже в старости, описывая историю жизни отца, она с гордостью говорила о его заслугах в «индустриализации сельского хозяйства», т.е. насильственном создании совхозов и колхозов, в процессе которого были уничтожены миллионы крестьян и полностью разрушено сельское хозяйство. Я всегда испытывала неловкость, когда заходила речь о литературной деятельности Евгении Александровны. Уважая ее

доброту, искренность и честность, я не могла разделить с ней ее политические иллюзии, и мы практически никогда на эти темы не говорили.

Уже в Канаду Евгения Александровна прислала мне свои книги с нежными автографами. Одна из них была посвящена известному русскому народнику, основателю партии Народная воля Сергею Степняку-Кравчинскому, революционеру-террористу, заколовшему кинжалом в 1878 году в Петербурге шефа жандармов Мезенцева. Скрывшись за границей, Степняк-Кравчинский избежал неминуемой казни и всегда показывал друзьям знаменитый кинжал, нарезая им хлеб к обеду. Таратута знала, что Степняк был одним из прототипов героя романа «Овод», но одна любопытнейшая деталь ей была не известна: среди других прототипов Овода был Сидней Рейли.

В юности Рейли как-то соприкасался с русскими революционерами и был знаком с Войнич, которая использовала эпизоды его биографии для некоторых деталей жизни своего героя. Символична и иронична — с точки зрения судеб героя романа и его прототипа — дальнейшая история Рейли. Разочаровавшись в идеях революции, он стал ярким антикоммунистом, прославился своей работой на английскую разведку, участвовал в подготовке покушения на советских представителей Красина и Чичерина на Генуэзской конференции 1922 года и погиб от рук... ЧК. Вот, оказывается, как на самом деле сложилась жизнь одного из прототипов героя Войнич, бесстрашного революционера Овода. Сама я узнала о жизни и смерти Рейли и его связи с образом Овода уже в Канаде и не посмела написать об этом Евгении Александровне.

Я сохранила самые теплые чувства к моему старому другу, и мне больно думать о ее судьбе, полной трагических потрясений и испытаний. Вспоминаю наши долгие разговоры в темном бараке, и меня не покидает мысль, что ее жизнь и наивная вера в хорошего Ленина и прекрасное коммунистическое будущее всего человечества находятся в таком поразительном конфликте с реальностью. В этом смысле Евгения Александровна не одинока. Сколько подобных ей я видела в лагерях и на воле, людей, оставшихся верными идеям своей молодости вопреки всему, что им пришлось видеть и пережить.

* * *

В начале января 1956 года и я покинула Инту. Навсегда! Через много лет, уже во времена перестройки и гласности, в Канаду пришло письмо брата с вырезкой из газеты. Заметка называлась «Узницам ГУЛАГА»: «В Инте (Коми АССР), в бывшем поселении ГУЛАГа, открыт памятник женщинам, репрессированным и сосланным сюда в годы сталинского террора. Скромный монумент из камня, рядом с уцелевшим лагерным бараком.»

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Шел 1956 год. Но для нас он не шел — он то неся галопом, преодолевая расстояние в тысячи километров, переноса нас из Заполярья, тундры, Тайшета, Мордовии в родную, совсем недавно недосыгаемую Москву. То время останавливалось, даже отбрасывало нас вспять — в далекий 1951-й — год нашего ареста, ведь мы снова были распаханы по московским тюрьмам, многие из нас опять оказались в одиночках. Наконец нас собрали из разных лагерей и привезли на переследствие. Долго обивали пороги официальных учреждений наши родители, пока добились решения прокуратуры о пересмотре дела «молодежной антисоветской организации».

Обалделые органы, недавно осиротевшие после расстрела своих руководители, были завалены потоком заявлений о пересмотре дел, где не было и тени состава преступлений. А уж нам, с нашей действительно существовавшей организацией, надо было дожидаться своей очереди. В лагеря выезжали комиссии и освобождали на местах тысячи заключенных, или уже почти отбывших свою «десятку», или, по внутренней логике «Внутренних органов», подлежащих освобождению без детального изучения материалов следствия.

Поезда из всех углов страны шли переполненные похожими друг на друга людьми в телогрейках, бушлатах, на которых еще сохранились темные пятна от споротых номеров. Но даже если бы одеты они были в обычную, не бросающуюся в глаза одежду, выражение лиц чем-то их объединяло. Было что-то растерянное во взгляде, и в то же время глаза светились трудно скрываемой радостью. Люди эти жаждали рассказать о себе, заговаривали с попутчиками, стараясь заглянуть тем в глаза и убедиться, что их слушают с участием и доверием. Но чаще всего незнакомые пассажиры пугались и старались поскорей отделаться от назойливых рассказчиков.

В отличие от бывших эков, получивших счастливую возможность передвигаться самостоятельно, меня везли в вагонзаке под конвоем. Прошло почти четыре года с тех пор, как на московском вокзале, где-то на безлюдном перроне, меня впервые затолкали в переполненное до отказа купе «Столыпина». Тогда в камере-купе были сплошные нары и люди вповалку лежали почти друг на друге. Направление движения было одно — центробежное, от больших городов к периферии страны. Теперь все двигалось в обратном потоке.

И обстановка была совсем иная: в купе, хоть и с решетками, я была одна. Сопровождал меня молодой конвоир, который все время пытался со мной разговаривать, хотел понять, за что я сижу. И я сама была уже не та, которая начинала свой первый этап весной 1952 года. Из напуганной, почти прозрачной от бледности девушки я превратилась в закаленную лагерницу с пятилетним опытом тюрьмы, пересылок, этапов, лагерей. Я была не та, и времена были не те! Наступила эпоха, так остроумно кем-то названная «эпохой позднего реабилитанса».

Везли меня быстро, без обычных пересылок, напрямик в Москву. На маленьких станциях и полустанках, где останавливался поезд, конвоир разрешал мне постоять в проходе у открытого окна. Через решетку я могла видеть грязную землю и серое

небо. Было начало января, но снега выпало мало. Он даже не покрывал плотно землю, и черно-ржавые пристанционные постройки торчали там и тут в неприбранном, не освеженном снегом виде. На путях работали женщины. В темной, бесформенной одежде они мало отличались от окружающего мусора. На моем вагоне крупными печатными буквами было выведено: «ПОЧТА», но дорожные работяги хорошо знали, кого вместо почты возят в таких вагонах. Однажды на такой вот маленькой станции к окну, за которым я стояла, подошли молодые работницы. В недавние сталинские времена люди боялись смотреть в сторону заключенных, опускали глаза, отворачивались, а эти девушки с интересом меня разглядывали.

Несмотря на окрик конвоя: «А ну, давай, проходи! Не положено!» — и прочий набор команд в небогатом его запасе, любопытные не расходились. Одна девушка подошла совсем близко к окну и начала меня расспрашивать, за что сижу, куда везут. «Ты ведь не уголовница», — полувопросительно сказала она. А когда я ответила, что осуждена по политической статье, ее глаза округлились, и, повернувшись к товаркам, она громко сказала: «Политическая девчонка!» Я вся напряглась, ожидая услышать привычное «фашистка», но вместо этого до меня донеслись сочувствующие возгласы: «Такая молоденькая! Зачем жизнь свою сгубила?» А кто-то еще добавил:

«Наверное, ошибка!» Такой реакции я не ожидала и была растрогана почти до слез. Узнав, что везут меня на переследствие, девушки обрадовались и пожелали скорого освобождения. Этот короткий разговор я особенно хорошо запомнила, потому что в 52-м году он ни в коем случае не мог бы состояться. Да, я чувствовала запах свежего ветра, наполнявшего меня радостью и надеждой.

В другом месте рабочие, опершись на заступы, затеяли веселую перебранку с моим незлобивым стражем. «Да отпусти ты ее, солдат, ей еще в школу ходить надо! Дай девчонке погулять, не сбежит!» — кричали парни наперебой. Конвоир для порядка гнал моих заступников, но вдруг от команд перешел на человеческий язык: «Вот доставлю ее на место, там разберутся и отпустят на все четыре стороны». А потом тихо добавил только для меня: «Я знаю точно». Поверила ли я? Нет, конечно! Что мог знать этот добрый парень? Но как он мне помог! Под стук колес я мечтала о скорой свободе.

С каждой минутой приближалась Москва, а мое недавнее прошлое становилось нереальным. Наконец конвоир предупредил, что пора собираться, следующая остановка — Москва. От этого сообщения у меня перехватило дыхание. Через несколько минут состоится моя встреча с любимым городом, мое возвращение в прошлое.

Но не пришлось мне увидеть город, даже издали. Снова «черный ворон» у самого вагона — один шаг по московской земле и карабкайся в знакомую темноту металлического брюха «ворона». Болезненно воскрешались во мне давние ощущения. Первый год заключения... Это был самый тяжелый период. Я потеряла свободу, почти потеряла себя. Потом, в лагере, как ни было плохо, всегда было легче, чем в тюрьме. А последний год уж и вовсе жизнь изменилась до

неузнаваемости: концертная бригада, поездки без конвоя, выход за зону, в город по пропускам. Я уже чувствовала себя одной ногой на свободе. И вот как будто ничего не было — тянется мой кошмарный 1951 год! Я снова не человек, ко мне обращены не слова, а окрики, команды. Нет лиц вокруг, нет глаз, нет людей, есть охрана — серая, злобная. А я по-прежнему зэка Э-881 со всеми бесконечными пунктами кодекса. Меня передают с рук на руки, как вещь, ценную именно благодаря этим статьям и пунктам.

Принимает московская тюрьма по всем правилам. Монотонно бубню: фамилия, имя-отчество, год рождения, статья 58-я, пункты 1а, 10, 11, 8. Ну разве возможно, чтобы с таким «хвостом» нас освободили! Переступаю порог тюрьмы с чувством полной безнадежности. Уж лучше было остаться в лагере! Снова из угла в угол мечусь по одиночке, мало чем отличающейся от камеры Лефортовской тюрьмы. На этот раз я знаю, что нахожусь в знаменитых Бутырьках. Надо было, видно, дополнить мое тюремное образование и этой старинной тюрьмой!

О том, что привезли меня в Бутырки, я узнала из разговора двух уроков, когда сидела в приемном боксе. Рядом в таком же шкафу громко беседовали старые приятели, вернувшиеся из недолгой отлучки с воли. Я с любопытством прислушивалась к их разговору. На красочном воровском жаргоне, пересыпанном изощренным матом, воры делились своими приключениями за короткую передышку от одной посадки до другой. Каждый из них был на воле немногим больше года, но погулять успели на славу. Совершили еще несколько преступлений и вот вернулись в родной дом, тюрьму. Ни сожаления, ни горечи!

Наоборот, были рады встрече, наперебой называли имена знакомых, говорили, кто где сидит, какие дела были за последнее время. Если бы не мой лагерно-этапный опыт, я бы и половины не поняла из их беседы. И не только из-за чудовищного жаргона; я не поняла бы их психологии, их представлений о справедливости, о добре и зле — их морали. Чужой, страшный мир искалеченных людей! И вот я снова с ними рядом, в Бутырской тюрьме, где уголовников большинство, и надо молить судьбу, чтобы посадили в одиночку.

Мольба услышана — я снова в одиночке. Но радости от этого мало, прежний опыт не помогает, я не научилась легко переносить одиночество. Режим в Бутырьках ничем особенно не отличается от Лефортова, разве что слышна перебранка уголовников с тюремщиками. Тут и мат с обеих сторон, и прибаутки с двойным смыслом. «Давай, выходи! — кричит надзиратель. — Давай, поворачивайся! Давай, не задерживай!» Слово «давай» повторяется без конца. В ответ женские голоса задорно подхватывают: «Эх, давай, давай, давай, да не задерживай! Эх, даю, даю, даю, да не задерживаю!» С надзирателями грубо заигрывают или ругают последними словами. Те привыкли, огрызаются, но беззлобно, для порядка. Тюрьма гудит, живет — в Лефортовской обычно стояла мрачная тишина.

Я недолго находилась в Бутырской тюрьме. Там меня, кажется, ни разу не вызвали на допрос. Наше переследствие началось в самой шикарной московской тюрьме — на Лубянке. Было бы непростительно не побывать и в этом всемирно известном

застенке! Но я попала туда в вегетарианские времена, когда Лубянку уже негоже было именовать застенком. Там в это время в основном происходили разбирательства, кончавшиеся для подсудимых выходом на свободу. Да, уж воистину началась новая эра, по крайней мере в сравнении с 51-м годом. На допросы вызывали только днем. Заключение расписывалось в специальном журнале, где отмечалось время начала и конца допроса. Беседы со следователем мне почти не запомнились, но вся обстановка их носила спокойный и даже мягкий характер. Меня просили рассказать, как велось следствие после ареста, что, я считаю, не соответствует действительности в моем личном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 1956 года гор. Москва

Военный прокурор Отдела Главной военной прокуратуры подполковник юстиции Онишко, рассмотрев материалы архивно-следственного дела № М-4727 по обвинению РЕЙФ А.Е., осужденной 13 февраля 1952 года Военной коллегией Верховного Суда СССР по ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР к 25 годам ИТЛ,

НАШЕЛ:

Во время ареста и обыска в 1951 году у РЕЙФ был обнаружен и изъят рукописный текст стихотворения, начинающийся словами «Сколько от Египта до России...» (т. 34, л.д. 174).

Хранение и распространение этих стихов инкриминировалось ей одним из пунктов обвинения по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР.

В процессе дополнительного расследования по данному делу установлено, что это стихотворение является отрывком из поэмы М. Алигер «Твоя победа», с некоторыми изменениями и дополнениями.

Учитывая, что для правильной оценки изъятых у РЕЙФ рукописи стихотворения необходимо сопоставление ее с авторским текстом поэмы «Твоя победа»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приобщить к делу М-4727 по обвинению РЕЙФ выписку — отрывок из поэмы М. Алигер «Твоя победа», напечатанной в книге «Избранное», 1947 г., начинающийся словами: «Мама, мама, ни слезы, ни слова...»

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

(ОНИШКО)

Выписка из поэмы М. Алигер

ТВОЯ ПОБЕДА

Мама, мама, ни слезы, ни слова,
Не помогут слезы и слова.
В старости лишившаяся крова,
Чем же ты довольна и жива?
Ты жила, надеялась, сехала
И хозяйство ладное вела,
Доброю хозяйкою сидела
У большого круглого стола.
Но удар безжалостного грома
Уничтожил твой надежный лад.
У тебя отныне нету дома,
Над тобою зарева горят.
Затемнив покой и благородство,
Проступило через тыщи лет
Дикое обугленное сходство
С теми, у кого отчизны нет.
Чью узрев невинность в приговоре
Злого и неправого суда,
Содрогнулась черная вода,
Ахнуло и расступилось море.
Для кого опресноки сухие
Божье солнце щедро напекло...
Сколько от Египта до России

Верст, веков и судеб пролегло?
Мама, мама, в вечности туманной,
Станным, непроторенным путем,
Сколько до земли обетованной
Ты брела под солнцем и дождем?
Ты в ночи узнала эту землю
И, припав к святому рубежу,
Прошептала плача: «Все приемлю,
Силы и любви не пощажу,
Дай мне лишь дымок оседлой жизни,
Душу согревающий очаг».
Мама, мама, ты в своей отчизне,
Но в ее пределы вторгся враг.
Бой гремит, война ревет и стонет,
И, как легкий высохший листок,
Из родного дома ветром гонит
Мать мою с заката на восток.
Вот каков он, городок на Каме...
Надолго ль он стал твоей судьбой?
Что же это гонится за нами?
Кто же мы такие, я с тобой?
Разжигая печь и руки грея,
Заново устраиваясь жить,
Мать моя сказала: «Мы — евреи,

Как ты смела это позабыть?»

Да, я смела, понимаешь, смела.

Было так безоблачно вокруг,

Я об этом вспомнить не успела,

С детства было как-то недосуг.

Родины себе не выбирают.

Начиная видеть и дышать,

Родину на свете получают

Непреложно, как отца и мать.

Дни стояли сизые, косые,

Непогода улицы мела...

Родилась я осенью в России,

И меня Россия приняла.

Совершенно не помню лица следователя, был ли он один, или меня допрашивали разные люди. Одно лицо мне запомнилось, но встреча состоялась не в кабинете, а в моей одиночной камере. Даже и здесь мне положено было пребывать в одиночке. Но что это была за камера! Теплая, почти красивая, с паркетным полом. А библиотека — о такой можно было только мечтать. Я выбирала для себя книги из огромного списка. Разбегались глаза:

Рабле, Гомер, Вольтер... Я держала в руках великолепные дореволюционные издания — на воле редко такие встретишь. Мое самообразование изрядно пострадало бы без книгохранилища Лубянки, наполненного сотнями конфискованных у арестантов книг.

Однажды в первой половине дня, когда обычно меня не вызывали на допросы и я могла с головой погрузиться в сложные перипетии «Илиады», дверь камеры открылась и я увидела нескольких военных. Они вошли и остановились на пороге. Я встала с койки и со страхом разглядывала гостей. Один из них приблизился ко мне и протянул руку. Я совершенно обомлела — пять лет я не пожимала руки вольного человека, да еще военного. «Здравствуйте, — сказал офицер. — Я прокурор по надзору, моя фамилия Терехов. Есть ли у вас какие-нибудь жалобы или просьбы?» Просьба у меня была одна — свидание с родителями. И жалоба нашлась — не хватит ли мне сидеть в одиночках.

«Получите свидание, переведем из одиночки», — коротко сказал военный. «А что читаете?» — кивнул он на раскрытую книгу на койке. Услышав, что это «Илиада», он улыбнулся и сказал, что, наверное, я собираюсь стать филологом. Я что-то промямлила в ответ. Когда дверь за необычными посетителями захлопнулась, я еще несколько минут в ошеломенности не двигалась. И вдруг простая и невероятная мысль пришла мне в голову: этот человек особым, доступным ему способом только что сообщил, что нас собираются освободить. После визита полковника Терехова я больше не сомневалась в скорой свободе.

Уже по возвращении домой я узнала от мамы, что Терехов был, кажется, единственный, кто говорил с хлопотавшими о пересмотре дела родителями с сочувствием. Она не могла забыть одной фразы, которую Терехов однажды обронил: «Вам я могу смотреть в глаза, а как мне разговаривать с теми родителями, чьих детей нет в живых!» Моя мать ушла потрясенная, разучились люди оценивать нормальные человеческие чувства как само собой разумеющееся. Я не знаю, как складывалась карьера полковника Терехова, но дослужиться до его ранга и так или иначе не участвовать в преступлениях было почти невозможно. А можно ли было сохранить живой совесть? Кому-то удалось...

Оказывается, и в тюрьме можно жить совсем неплохо — посыпались на меня передачи из дома. Чего только мама мне не присылала, таких яств я и не помнила! А вскоре начали приходить и письма, на которые я могла отвечать. Карандаш, бумага в камере! Да такого я и не видывала! Скоро начали сбываться и обещания Терехова. Утром приказали одеться, но не упомянули о прогулке. Значит, куда-то повезут. О свидании и мысли не было, так как оно, по моим представлениям, должно было быть здесь же, на Лубянке. Но тюремные законы имеют свою логику.

Везли меня по Москве довольно долго, и я готовилась к встрече с очередным гражданином начальником. Выйдя из «воронка», я, конечно, не узнала, куда прибыла. Повели по длинному коридору со множеством дверей. Одну из них открыл передо мной конвоир, и я вошла в узкую комнату с длинным пустым столом посередине. Только здесь мне объявили, что сейчас у меня будет свидание. С кем — не сказали, зато строго предупредили о соблюдении правил свиданий в тюрьме: никаких объятий, ничего не передавать друг другу, не говорить о деле, о режиме в тюрьме — разговор разрешается только о домашних делах. При нарушении порядка свидание немедленно прекращается. Я слушала наставления вполуха — ученая, уже все знаю.

Сердце замирало от предстоящей встречи. Я не сомневалась, что приехала ко мне мама. Сейчас будет четвертая наша встреча за пять лет заключения. Первые три — у Полярного круга, а эта — рядом с домом. Я не отрываясь смотрела на дверь. Несколько бесконечных минут ожидания, и вот на пороге появилась мама в зимнем пальто и меховой шапке. Она сделала шаг, и вдруг за ее спиной я увидела отца. Это была неожиданность! Я знала, как он боялся, да и вся семья тоже; первый, кто мог пострадать из-за меня, был он. И хоть все годы он писал мне, в хлопотах, в хождении по инстанциям, в отправке посылок он участия не принимал. Не думаю, что это помогло, но каким-то чудом его не тронули. Отец продолжал все эти годы

работать на сравнительно ответственной должности в главке одного из министерств. О приезде его в лагерь я и не мечтала. И вот он здесь. Пять лет я не видела его лица даже на фотографии. Вглядываюсь в дорогие лица — каждая новая морщинка, седина — моя вина...

Родители садятся за стол напротив меня. Не выдержав, я вскакиваю и целую их. Надзиратель молчит, боковым зрением вижу, как он нарочно повернулся к нам боком, мол, не видел нарушения. Но этим слушания не кончились, мама тут же тихо сказала, что у них много хороших новостей и одна из них — скоро нас освободят. Радостное было свидание, мне все время хотелось смеяться, хоть ни о чем смешном мы не говорили. Отец пошутил, что я мало изменилась — осталась пустосмешкой, хоть и стала совсем взрослой.

Даже возвращение в тюрьму после свидания не было тягостным. В памяти перебирала все новости. Родители упомянули о каком-то небывалом съезде партии. Что же делается на воле, какие перемены?! Я все скоро узнаю, надо немного потерпеть. А пока перемены происходили в моей тюремной жизни. Неожиданно приказали собраться с вещами и с постелью. Понятно — переводят в другую камеру, исполняется второе обещание Терехова. Тащу свои немногочисленные пожитки по коридору. Стоп. Надзиратель поворачивает ключ в замке. Я была готова к встрече с незнакомым человеком и заранее радовалась, как свиданию с родным. Когда же дверь распахнулась, я не поверила своим глазам: передо мной стояла Таня! Бросив все на пол, я кинулась к ней на шею. Лучшего подарка «добрый прокурор» не мог мне сделать.

Моя дружба с Таней складывалась непросто. По характеру мы были очень разные, я открытая и, в общем, поверхностная, Таня — замкнутая и очень глубокая натура. Прежняя жизнь, до ареста, у нас тоже была разная, моя — беззаботная и легкая, ее — с тяжелыми потрясениями, болезнью, отчужденностью от общества, где религия презиралась, а веру надо было скрывать. Но, несмотря на множество различий, мы подружились и полюбили друг друга. В лагерях нас не раз разлучали, и мы тосковали. Потом случай соединял нас снова. И вот еще одна счастливая неожиданность.

Долго мы не могли наговориться, делились новостями: у Тани тоже было свидание с матерью. Вечером мы устроили настоящий пир из соединенных вместе домашних невиданных лакомств. С момента нашего воссоединения мы все время находились в состоянии эйфории. Смеялись по поводу и без повода, боролись, не зная, куда девать энергию, болтали без умолку, даже на чтение времени не хватало. Нас совсем перестали вызывать к следователям, и мы каждый день ждали освобождения.

Но прошло еще несколько дней, и вместо ожидаемой свободы нас перевели в большую камеру, где стояли три койки. Скоро в камеру ввели Галю Смирнову. Мы ее, конечно, сразу узнали, хоть знакомство наше было недолгим: во время суда сидели рядом. Длинные косы, детское круглое лицо — как будто и не прошли годы. Мы с радостью приняли ее в нашу компанию. Кажется, от Гали мы узнали впервые, что на партийном съезде говорили о преступлениях Сталина. Трудно было в это поверить.

Газет нам не давали, и мы, сгорая от любопытства, решились спросить об этом надзирателя. Выбрали наиболее симпатичного, и я, как самая смелая, с трудом подбирая слова, спросила, правда ли, что на съезде критиковали Сталина («преступления Сталина» выговорить я не могла). Парень криво улыбнулся и ответил уклончиво, что не положено нам разговаривать, но мы сами скоро все узнаем. Такой ответ говорил о многом.

Незаметно наступила тюремная весна — весна света. Прогулочные дворики располагались на крыше. Бетонные клетки с небом над головой. От долетавшего шума города щемило в груди. Где-то внизу была настоящая весна, апрель приближался к концу. Веселое наше настроение сменилось нетерпением, уже неумоготу было ждать. Каждый день мы встречали с надеждой, затухавшей к середине дня, а уж вечер тянулся без конца. Утро 25 апреля началось как обычно: зарядка, завтрак, уборка камеры. Совершив положенное, мы уселись на койки в ожидании прогулки. Но вместо привычного: «Приготовьтесь на прогулку» — мы услышали: «Приготовьтесь с вещами».

Сколько ни живи в ожидании свободы, когда она приходит, в нее трудно поверить. В тюрьме привыкаешь опасаться перемен, старое, притерпевшееся лучше... И вот «приготовьтесь с вещами»! Столько раз сочетание этих слов повергало в страх перед грядущей неизвестностью. А что теперь скрывается за этими двумя словами?

Конечно, мы наперебой загалдели: «Куда нас, на свободу?!» Раньше бы не решились задавать вопросы! Но мы быстро привыкли к новым временам и осмелели. Тюремные стражи чуть-чуть улыбаются, мы вглядываемся в их лица — нет сомнения, нас освобождают.

Все, что было потом, я плохо помню. По одному завели нас в комнату, где дали расписаться, кажется, на двух бумажках. Буквы прыгали, смысл ускользал: что-то о неразглашении и что-то о пересмотре нашего дела. Уже дома я поняла, что нас амнистировали, то есть простили. Обвинение изменили, оставив пункты 10 и 11 (антисоветская агитация и организация), остальные пункты изъяли. За эти преступления нам дали пять лет. А так как мы их уже отсидели, то великодушные органы разрешили нам снова жить в Москве и даже не упоминать в анкетах о нашем постыдном прошлом (на нас распространялась недавняя амнистия). С трудом уяснила я, что расстрелянным нашим ребятам расстрел заменен на десять лет лишения свободы. То есть я не то чтобы уяснила эту немыслимую ситуацию, я притерпелась к кафкианской действительности...

По делу осужденных 13 февраля 1952 года:

Военной коллегией Верховного Суда СССР по ст.ст. 58-1 «а», 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР -

В основу обвинения СЛУЦКОГО, ГУРЕВИЧА, ФУРМАНА, ПЕЧУРО, МЕЛЬНИКОВА и других судом положены их показания, данные на предварительном следствии и в

суде, и вещественные доказательства — документы антисоветского содержания, изъятые у осужденных во время арестов и обысков.

После осуждения ПЕЧУРО, МЕЛЬНИКОВ и другие в своих жалобах и заявлениях стали утверждать о том, что они никакой изменнической и террористической деятельности не вели, что объем их вины на предварительном следствии и в суде значительно преувеличен в результате применения к ним незаконных методов следствия.

В связи с поступлением указанных жалоб Главной Военной Прокуратурой по делу произведена дополнительная проверка, по материалам которой устанавливается, что СЛУЦКИЙ, ФУРМАН, ГУРЕВИЧ, МЕЛЬНИКОВ, ПЕЧУРО и другие по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР осуждены необоснованно, поэтому в заключении ставится вопрос об отмене приговора в этой части и прекращении дела производством по следующим основаниям:

На допросах во время дополнительной проверки МЕЛЬНИКОВ, ПЕЧУРО и другие осужденные отказались от показаний, данных ими на предварительном следствии и в суде, о том, что организация «СДР» и отдельные ее участники имели изменнические или террористические намерения, заявив, что такие показания от них получены под принуждением или иным незаконным влиянием следователей.

Заявления осужденных о необъективном ведении предварительного следствия по данному делу находят свое подтверждение.

Проверкой установлено, что в процессе предварительного следствия действительно имели место нарушения законности и что в отношении осужденных по настоящему делу применялись меры принуждения, выразившиеся в систематических и длительных ночных допросах арестованных, чем они лишались нормального сна и отдыха, в лишении передач, в лишении права пользоваться ларьком и т.п. Показания арестованных записывались необъективно, многие вызовы на допросы протоколами не оформлялись, практиковалось составление протоколов допроса в отсутствие арестованных, составлялись так называемые «обобщенные протоколы допросов».

Допрошенные во время дополнительной проверки быв. следователи по данному делу ОВЧИННИКОВ и СМЕЛОВ подтвердили факты нарушения закона и пояснили, что это делалось по указанию бывшего руководства следственной частью при МГБ СССР ЛИХАЧЕВА и ПУТИНЦЕВА (оба осуждены за фальсификацию следственных дел).

ОВЧИННИКОВ показал, что СЛУЦКОМУ, ГУРЕВИЧУ и другим в начале предварительного следствия не предъявлялось обвинение в террористических намерениях. Тогда на одном из оперативных совещаний ЛИХАЧЕВ упрекнул следователей в том, что они не получили показаний о террористических намерениях участников «СДР», хотя у одного из них было изъято оружие. ОВЧИННИКОВ далее показал: «ЛИХАЧЕВ предложил восполнить это в следующих протоколах допросов».

ОВЧИННИКОВ также показал, что во время предварительного следствия составлялись обобщенные протоколы допросов, которые тщательно

корректировались ШВАРЦМАНОМ (осужден за фальсификацию следственных дел) и только после этого давались на подпись арестованным...

Что касается изъятого у ГУРЕВИЧА револьвера, то следует учесть, что он являлся неисправным и, как показал МЕЛЬНИКОВ во время дополнительной проверки, был передан ГУРЕВИЧУ без каких-либо преступных целей.

Осужденные ГУРЕВИЧ, СЛУЦКИЙ и ФУРМАН ввиду их смерти во время дополнительной проверки не допрашивались, однако их показания на предварительном следствии и в суде в части террористических намерений «СДР» и отдельных ее участников являются весьма противоречивыми, а поэтому и не могут быть признаны за доказательство виновности как СЛУЦКОГО, ГУРЕВИЧА и ФУРМАНА, так и других лиц, осужденных по настоящему делу.

При таких обстоятельствах... нет оснований считать «СДР» террористической организацией в целом и вменять в вину ее участникам ст. 58-8 УК РСФСР.

По материалам дела и материалам дополнительной проверки также устанавливается, что в действиях СЛУЦКОГО, ФУРМАНА, ГУРЕВИЧА и других осужденных отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 58-1 «а» УК РСФСР.

На основании изложенного Военная коллегия Верховного Суда СССР, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 6 — 13 февраля 1952 года в части обвинения СЛУЦКОГО, ФУРМАНА, ГУРЕВИЧА, МЕЛЬНИКОВА, ПЕЧУРО и других осужденных по ст.ст. 58-1 «а», 58-8 УК РСФСР по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело в этой части прекратить на основании ст.4 п.5 УПК РСФСР.

Считать осужденными по настоящему делу СЛУЦКОГО, ФУРМАНА, ГУРЕВИЧА, МЕЛЬНИКОВА, ПЕЧУРО... УЛАНОВСКУЮ, РЕЙФ и СМЕРНОВУ по ст.ст. 58-10 ч.1, 58-11 УК РСФСР.

По ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР СЛУЦКОМУ Б.В., ФУРМАНУ В.Л. и ГУРЕВИЧУ Е.З. назначить лишение свободы в ИТЛ сроком на десять (10) лет каждому.

По ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР снизить меру наказания МЕЛЬНИКОВУ В.З., ПЕЧУРО С.С. ... УЛАНОВСКОЙ М.А. и РЕЙФ А.Е. до пяти лет лишения свободы в ИТЛ каждому с поражением в правах на два года и СМЕРНОВОЙ Г.А. — до трех лет лишения свободы в ИТЛ без поражения в правах.

В отношении всех осужденных по настоящему делу исключить из приговора указание о конфискации лично им принадлежащего имущества и за отбытием назначенного наказания МЕЛЬНИКОВА, ПЕЧУРО... УЛАНОВСКУЮ, РЕЙФ, СМЕРНОВУ из-под стражи освободить.

На основании ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» снять с них поражение в правах и считать их не имеющими судимости.

Подлинное за надлежащими подписями

Печать С подлинным верно:

Судебный секретарь Военной коллегии

старший лейтенант (МАРКОВ)

Но здравые размышления были потом, а сейчас с нами творились чудеса. После исполнения положенных формальностей нас подвели к огромным, тяжелым дверям и распахнули их перед нами. Первый шаг из тюрьмы, такой важный и неповторимый, я не помню. Наверное, его мало кто запомнил. Но я и сейчас вижу сияющие физиономии моих спутниц. Мы медленно двинулись по еле узнаваемой улице вниз, к центру города. Была середина дня. Густая толпа красиво одетых людей текла вдоль улицы. На нас никто не оглядывался, хоть мы выглядели довольно странно: с котомками, Таня в ватнике, я в старомодном пальто с небольшим потертым чемоданом в руке. Рядом не было ни одного вокзала, чтобы объяснить наше появление.

Потом я поняла, что в этом районе часто появлялись подобные нам люди, окружающие старались их не замечать. Зато мы глазели по сторонам. Мне показалось, что толпа состоит из одних иностранцев — так необычно были люди одеты. Прислушалась, нет — говорят по-русски. Значит, за пять лет все так переменялось, другая мода, другие краски, другое выражение лиц. Наверное, дело было не столько в пяти годах нашего отсутствия, сколько в трех годах без Сталина. Изменились не только люди, дома стали другими, многие нам казались постаревшими, уменьшившимися. А вот тут что-то снесли и строится огромное здание.

Над строительной площадкой большими буквами написано: «ДЕТСКИЙ МИР». У Театральной площади мы попрощались с Галей, она пошла к метро. Нам с Таней все еще было по пути. Мы шли мимо Александровского сада, и тут кому-то из нас пришла мысль свернуть на Красную площадь. Один взгляд на мавзолей — и мы многое узнаем. Пустынная площадь показалась нам совсем не такой огромной, какой казалась когда-то.

Совсем недавно я проходила здесь с праздничной демонстрацией. Людское море колыхалось знаменами, портретами вождей, разноцветными воздушными шарами. Огромное усатое лицо Сталина, повторенное сотни раз, плыло над гудящей толпой. Много раз вместе со школой я шла мимо трибуны мавзолея. Уже издали мы вглядывались, выискивая среди стоящих на трибуне знакомую фуражку. Спрашивали впереди идущих в колонне, стоит ли на мавзолее Сталин. Чаще всего нас ждало разочарование.

Но один раз мне все же посчастливилось: обожаемый вождь махал нам рукой. Он был не нарисованный, живой, во плоти — трудно было поверить в такое счастье! Мы орали до хрипоты: «Да здравствует! Слава! Под водительством!» и так далее. Когда это было? В памяти так ясно сохранилась картина ликования народа и моя гордость — я со всеми!

Меня теперешнюю и меня тогдашнюю разделяло не время — между нами была бездонная пропасть. Мы с Таней приблизились к приземистому ступенчатому мавзолею. В этот день он был закрыт для посетителей и казался особенно мрачным, отрешенным от мира живых. Неподвижные стражи выглядели так же мертво, как и мраморный склеп цвета запекшейся крови. Подойти совсем близко мы не решились, всегда около этого места было страшновато, но уже издали смогли прочесть два имени над входом: ЛЕНИН, СТАЛИН.

Ну что ж — что-то мы недопоняли или переоценили... Настроение наше не могло испортиться. Продолжая свой путь к дому, на углу Манежной площади и улицы Герцена мы купили по букетику весенних фиалок, используя не пригодившиеся на транспорт деньги. Вот тут, на этом углу, нам с Танюшей надо было расстаться: ее путь шел мимо Библиотеки Ленина к Арбату, а мой — по улице Герцена к Никитским воротам на улицу Качалова.

Я шла и уже не смотрела по сторонам. Пальто давило на плечи, чемодан вдруг показался очень тяжелым. Наконец я дотащилась до знакомой, как родной дом, церкви, где венчался Пушкин. А за ней показался и дом Горького, напротив него посольский особняк. Вот и старинная усадьба, где была когда-то моя школа. Вдали высится какой-то незнакомый шпиль, видно, на площади Восстания построено высотное здание, мама упоминала о нем. Наконец и мой дом. Раньше он был больше, новее, красивее. Но сейчас в нем воплотился весь свет, вся моя жизнь. Я возвращалась сюда в мечтах, в своих снах, хотя чаще во сне меня увозили из дома. Миновав темную подворотню, я вхожу во двор.

Какой же он маленький! А ведь на велосипеде было так просторно по нему гонять, и столько закоулков в нем, чтобы прятаться. Дети бегают по дорожкам сада в центре двора, на скамейках сидят мамы, няньки. Сейчас меня кто-нибудь узнает, окликнет. Быстрее дойти до своего девятого подъезда. Лифта не вызываю, иду пешком на третий этаж. Дверь. Звонок. На пороге открытой двери красивый высокий юноша с копной черных волос — мой маленький брат. Так вот, значит, сколько лет прошло, каким долгим был мой путь домой!

ШАГ ВПРАВО. ШАГ ВЛЕВО.

(Рассказ со счастливым концом)

На середине лабораторного стола, привязанный за все четыре лапы, лежал большой серый кролик. Он был совершенно неподвижен и казался мертвым. Остекленелые выпученные глаза, не прикрытые веками и наполненные влагой, устремлены в никуда. И только живот, нежный, незащищенный, покрытый беловатым пушистым мехом, еле-еле вздрагивал и колыхался. Выбритая средняя линия на брюшке вытянулась в ожидании ножа. Над зверьком склонились две головы — взъерошенная, с первой проседью, и кудрявая, коротко стриженная.

Старший научный сотрудник Арон Евсеевич чувствовал себя на пороге мирового открытия. Он себя чувствовал так всегда, приступая к очередному опыту. Большого счастья в жизни для него не было. И сейчас, собираясь убить несчастного кролика, он не мучился совестью, не видел его — перед ним была неразгаданная тайна жизни, тайна синтеза белка. Умертвить чужое творение и создать свое — то, что смертному еще не удалось! Арон был в экстазе.

Мелкие капли пота покрывали его лоб. Глухим, напряженным голосом он отдавал распоряжения: «Зажимы, скальпель, пробирки». Я механически выполняла свою роль помощницы, не испытывая и тени тех чувств, которые переполняли ученого. Меня подташнивало, и немного кружилась голова. От кролика шел теплый, не слишком приятный запах. Но это был запах жизни, живого тела, и я уже успела привыкнуть к звериному духу.

Три месяца назад началась для меня новая жизнь. Я пришла в биохимическую лабораторию, ничего не зная о биохимии, ничего не умея. Маленький коллектив лаборатории встретил меня необыкновенно тепло. Все знали мою историю, правда, очень приблизительно: сидела, вернулась со всем потоком реабилитированных. В ту пору таких, как я, было много, в стране благоухала весна, оттаивали мысли и сердца после тридцати лет ледникового периода. И я начинала жить сначала, то есть с того момента, как оборвалась моя будничная жизнь ночным арестом. Правда, на пять лет старше — тогда 18, сейчас 23, но это не так важно. Можно все наверстать. Я уже начала хлопоты о восстановлении в институте на биофаке, где успела проучиться всего полгода. А пока началась работа в лаборатории большого научного института.

Главное теперь — постараться забыть все, что произошло, — годы тюрем, пересылок, лагерей. Еще мучают кошмары ночью, но уже реже, без тех подробностей, которые превращают страшный сон в явь, и утром не веришь, что все приснилось. Так гнетет, давит что-то неопределенное, чему и названия нет. В лучах утреннего солнца, заливавшего комнату, видения прошлого исчезали, стоило только открыть глаза. А потом наступал рабочий день — как у всех. Весенняя Москва, толкотня в автобусах, людской поток вдоль улиц. И вот уже со всеми сотрудниками я иду по старому парку, где за огромными деревьями прячется здание института. Это было необыкновенное чувство.

Я шла на работу не в колонне заключенных, а как все обыкновенные люди. Должность моя называлась «младший лаборант», и хоть зарплата была мизерной, я

была довольна своим обретенным положением. Медленно приходило ощущение прочности жизни. Самое главное — быть как все, ничем не выделяться, раствориться в людской массе. Судьба уже отметила меня, и отметина эта стала крестной мукой для всей семьи пять бесконечных лет. Теперь надо все забыть. Это же так просто — не было ничего, никогда не было.

Приказать себе не думать, не вспоминать. Недавнее комсомольское прошлое учило подчинять разуму все свои чувства. Человек в силах сделать все, если захочет. А жизнь проста и прекрасна в своей простоте. Даже желать-то особенно нечего, если самые обыкновенные вещи доставляют радость. Вот так просто идти по улице, прямо, прямо, никуда не сворачивая. Недавно это было неосуществимой мечтой; шагая из угла в угол по Лефортовской одиночке или до головокружения двигаясь по кругу в тюремном двореке, я готова была кричать, так хотелось, чтобы исчезла преграда на пути, чтобы увидеть никогда не приближающийся горизонт и идти по направлению к нему не останавливаясь. Теперь в толпе я чувствовала себя самой счастливой — ну кто из них, этих молодых и старых людей, получает такое несказанное удовольствие от передвижения в пространстве? Шаг, еще шаг, сто шагов — и нет ни единой преграды, ни каменной стены, холодной и сырой, ни глухого забора.

Работа в лаборатории тоже приносила удовольствие, каждый день что-то новое. Арон Евсеевич, подготавливая все для очередного опыта, всегда был в приподнятом настроении. «Сейчас, Аллочка, в ожидании ответа на поставленный в опыте вопрос самое время радоваться. Сомневаться и огорчаться мы всегда успеем», — говорил он, потирая руки от удовольствия и хитро поглядывая в мою сторону. Его крепкие, толстые пальцы проделывали тончайшую работу с прозрачными, хрупкими приборами, с микроскопическими количествами всевозможных химикатов, которые он взвешивал на крошечных весах. Завороженным взглядом следила я за его движениями, поражаясь ловкости и точности своего шефа.

Наши отношения сложились сразу, я восхищалась его умом, знаниями, изобретательностью, поглощенностью наукой, он — моей молодостью, любопытством ко всему новому и необычным для такой юной девушки прошлым. Не скрывая, Арон радовался моему присутствию и очень огорчался, когда я должна была ассистировать другим научным сотрудникам лаборатории. Иногда, боясь задеть своим любопытством, он осторожно расспрашивал меня об аресте, как бы невзначай и незаметно подводя разговор к этой теме. У меня не было сомнений в симпатии Арона и в его сочувствии к тому делу, за которое я сидела.

Поэтому легко и подробно рассказывала я и о молодежной организации, решившей бороться с несправедливой властью, и о том, как нас схватили, словно цыплят, и какой страшный год провела в одиночке. Арон слушал и думал, что вполне мог оказаться на моем месте, в такой вот группе мальчишек и девчонок, потому что давным-давно понял всю ложь, опутавшую нашу жизнь. Прозрел он, как и многие, вернувшись с войны, и совсем другими глазами увидел мир вокруг себя. Он удивлялся той простоте и легкости, с которой я рассказывала о трагических событиях. Мог бы он сам сохранить себя, не обозлиться, не потерять легкомыслия,

присущего молодости, испытал все, что выпало этой девушке? Чувствуя отношение к себе своего ученого шефа, я работала с особенным удовольствием.

Одно нарушало гармонию новой жизни: я не могла спокойно видеть, как умирают подопытные животные. У маленьких симпатичных зверюшек — морских свинок, кроликов, белых юрких мышей и вполне приятных белых красноглазых крыс — отнимали жизнь, чтобы продлить жизнь человека. Не помогали спасительные объяснения, железная логика, с которой Арон оправдывал непреложные законы жизни и в природе, и в человеческом обществе — смерть одних дает жизнь другим. Что я могла возразить против этого?!

Но как только перед моими глазами возникала тоненькая нить, отделяющая жизнь от смерти, и мне самой надо было разъединить волокна этой нити, нарушить ее непрерывность, своею волей превратить теплое, живое существо в застывшую окаменелость, меня пронизывала такая жалость, что требовалось усилие, чтобы не разреветься и продолжать опыт. В этот момент Арон был неприятен, его обычно добрые серые глаза казались холодными, руки, орудующие над зверьком, походили на руки мясника. Особенно уродливы были большие пальцы с короткими ногтями. Я даже слышала где-то, что это якобы признак дегенерации. Милый Арон превращался в злобного вампира.

Я торопила время, чтобы скорее кончилась эта пытка и для меня и для кролика. Вот уже обнажилась пульсирующая артерия каротис. Оттягивающие ткань зажимы открывают красную глубину раны. Легкий надрез на сосуде. «Канюлю!» — командует Арон. «Стаканы!» — через стеклянную трубочку в толстые центрифужные стаканы вливается тяжелая темно-красная кровь. Я меняю стаканы, подставляя их так, чтобы не пролилась ни одна капля. Один, два, три — выстраиваются стаканы в штативе. Последние секунды, поток крови замедляется, сейчас иссякнет. В этот момент жизнь покидает кролика, и он издает отчаянный предсмертный крик. В ожидании этого томительного звука у меня сжимается сердце. Хочется закрыть уши, но я стараюсь не показывать своих терзаний, а Арон делает вид, что не замечает их, — пройдет, ведь и он привык не сразу.

Первая часть опыта закончена. Мертвые глаза кролика все так же устремлены в потолок. Стараясь не смотреть на операционный стол, ставлю кровь в центрифугу. Сейчас будет обеденный перерыв, можно отдохнуть, расслабиться. Но неожиданно в дверь просовывается голова «мальчика на побегушках», курьера из дирекции: «Алла Евгеньевна Рейф, вас просят зайти в отдел кадров». Давно меня не величали таким полным именем — что-то кольнуло в груди. Отдел кадров — неприятное место для всех, даже для тех, у кого в прошлом нет пятен. В окутанном тайной отделе всевластные кадровики держат в руках нити жизней всех сотрудников. Кого уволить, кого повысить — все в их руках. Но сами кадровики тоже на ниточках. Держат эти нити уже в иных, «высоких» сферах. Оттуда в отделы кадров и испускаются все распоряжения.

Попросив Арона поставить в холодильник отцентрифугированную кровь, я пошла вниз по лестнице на первый этаж. Зинаида Павловна, начальник отдела, была

малозаметной личностью, она нечасто попадалась на глаза, и я плохо помнила ее внешность. В ответ на стук в дверь раздался голос Зинаиды Павловны, приглашающий войти. На пороге я остановилась в изумлении — на мой стук ответил женский голос, а за большим письменным столом вместо кадровицы сидел незнакомый мужчина. Напротив него лицом к двери сидел другой, как две капли воды похожий на первого. «Кто же говорил голосом Зинаиды Павловны?» — подумала я, разглядывая двух незнакомцев. В этот момент откуда-то сбоку появилась хозяйка кабинета.

— Так вот, Алла, я вас оставляю с товарищами, они хотят с вами побеседовать, — как бы продолжая давно начатый разговор, сказала Зинаида Павловна и боком проскользнула в дверь, осторожно закрыв ее за собой.

— Садитесь, Алла Евгеньевна, — обратился ко мне тот, что восседал за столом. Несколько секунд я не могла двинуться с места. Мысли метались в голове:

«Это арест! Но меня только что освободили! Я ведь ничего не сделала предосудительного. Хотя сажают без всякой вины, только потому, например, что ты уже побывала в их лапах! Значит, снова тюрьма? Какой короткой была свобода».

В том, что предо мной гебисты, у меня не было сомнений. Эти двое были неотличимы и от моих следователей, и от тех троих, что пришли за мной ночью пять лет назад. Я медленно опустилась на стул. Знакомая дрожь, так мучившая в кабинетах следователей, вцепилась в колени. Я встретила пристальный взгляд сидящего напротив мужчины. Рыжие глаза в крапинку, белесые брови и ресницы. Точно такие же были у последнего следователя в Лефортовской тюрьме, полковника Шиловского. Он так же впивался глазами, подходя вплотную к маленькому столику в дальнем углу кабинета, за которым я всегда сидела.

Рыжие глаза приближаются к самому моему лицу, останавливаются на несколько секунд, потом начинают шевелиться губы и слышится какое-то злобное шипение. Этот нечленораздельный звук постепенно приобретает смысл, и я начинаю понимать слова: «Когда, где и как ты хотела убить члена правительства Берию? Вот бумага, напиши все подробно, нарисуй план дома Берии». Губы еще шевелятся, но я перестаю различать слова. Почему меня опять спрашивают о Берии, ведь он разоблачен как враг народа и шпион западных разведок! Да и нет его в живых, давно расстрелян.

Я вглядываюсь в лицо рыжего мужчины, но он молчит, не шевелится. С трудом поворачиваю голову к сидящему за столом и с удивлением встречаю его улыбку. Приподнявшись, он протягивает мне руку: «Алла Евгеньевна, рад с вами познакомиться. Меня зовут Петр Сергеевич, а это наш сотрудник Иван Иванович».

Яжимаю руку и стараюсь улыбнуться в ответ. Действительно, все в порядке, никто не собирается меня арестовывать, зачем паниковать. Просто пришли познакомиться.

— Мы — работники КГБ и по долгу службы интересуемся жизнью тех людей, кто так или иначе был с нами связан, — все еще улыбаясь, мягко говорит Петр Сергеевич. — Мы знаем вашу историю и рады, что вы раскаялись, поняли свои ошибки и теперь живете как все советские люди. — Я уже овладела собой, колени перестали дрожать.

— Что же вас интересует в моей сегодняшней жизни? — спрашиваю я, стараясь казаться безразличной.

— Нас интересует абсолютно все, — начинает быстро говорить Петр Сергеевич. — Кто ваши друзья, о чем вы беседуете, что говорят сотрудники на работе, какие анекдоты рассказывают в компаниях. Мы бы хотели, чтобы вы нам обо всем сообщали. — Выйдя из-за стола, он мерно шагает по комнате — от окна к двери, от двери к окну. Шаги его сопровождаются мягким поскрипыванием, и мне кажется, что это слова, скрипя, выползают из его губ. — Мы беспокоимся за ваше будущее. Один раз вы уже совершили непоправимую ошибку, поверили плохим людям, выбрали плохих друзей. Теперь мы поможем вам не ошибиться.

Вы будете рассказывать о своих знакомых, а мы разъясним вам, кто хороший, а кто плохой. — На полпути к окну он неожиданно по-военному поворачивается кругом и быстро подходит ко мне. — Не нам нужна ваша помощь, Алла Евгеньевна, это мы хотим помочь вам! — последние слова он произносит каким-то высоким, лающим голосом.

Так вот что им нужно: эти двое гебистов хотят завербовать меня в сексоты, в стукачи. У меня есть секунды на размышления. Что ответить, не навредив себе? Был в моей жизни похожий момент, когда в лагере оперуполномоченный пытался соблазнить досрочным освобождением. Тогда я наотрез отказалась. Никакие угрозы не испугали. Да и что могло быть хуже моего приговора — 25 лет лагерей были мне обеспечены. Раз и навсегда отстал опер, понял — не на ту попал... А сейчас, если не согласиться, начнут мстить, загонят в ловушку. В лагере я слышала много подобных историй.

Но откуда появилось слово «если»? Тогда его не было — нечего было терять. А теперь? Надо сейчас, в эту минуту, придумать что-то, что поможет уйти из капкана. Казалось, прошла вечность, прежде чем я услышала свой ответ: «Я не могу сотрудничать с вами, потому что до смерти боюсь вас». И сама удивилась своему изменившемуся, сдавленному голосу. Вместе со стулом ко мне придвинулся второй, рыжеватый, не проронивший до сих пор ни слова. И снова на меня смотрели глаза полковника Шиловского. Сейчас он стукнет кулаком по шаткому столику:

«Встать! Хватит выкручиваться! Все вы змееныши, еврейские националисты!» Голова моя сама собой ушла в плечи, а коленки стали мелко подпрыгивать.

Но Иван Иванович не закричал, а, наоборот, подавшись всем корпусом вперед и излучая доброту, начал тихо объяснять, что бояться их не надо, что теперь я буду не против них, а с ними.

— Наши органы будут защищать вас от опасности, — он говорил как с больной или с ребенком, и мне показалось, что я выбрала правильное поведение — они поверили в мой страх как в основную и единственную причину нежелания стать доносчицей. Это ведь им больше всего понятно: из-за страха делают подлости, из-за страха их не делают. Нет другой мотивации у человека, уж им-то это известно! Я сказала о своей боязни так искренне потому, что это была святая правда — леденящий ужас охватывал меня при воспоминании о следствии, суде, приговорившем трех почти мальчиков к расстрелу, а всех остальных к невероятному сроку — 25 лет лагерей. Чудом вырвавшись, навсегда остаешься с ощущением петли на шее.

— Я не могу побороть страх, это выше моих сил, он врос в меня и стал моим вторым «я». Толку от меня вам не будет. Лучше оставьте меня в покое, и я сама буду оберегать себя от ошибок, от опасных знакомств. — Я говорила все громче и уверенней, как будто нащупала твердую почву под ногами, тропинку на вязком болоте, по которой можно выбраться. — В лагере я встретила многих, кто помогал вам, вашим органам — доносил на правых и виноватых. И что же — все равно вы своих верных стукачей посадили! — Куда меня несет, я называю их сотрудников презрительной кличкой! Щеки мои пылали, я слышала, как звенит мой голос, готовый вот-вот сорваться. Только бы выдержали нервы, не дай Бог разреветься перед подонками.

— Успокойтесь, Алла Евгеньевна, не надо так волноваться. Вы сами должны решить для себя, как доказать Родине, что вас не напрасно освободили, простили тяжкую вину, — снова в наступление пошел Петр Сергеевич. Его бубнящий, скрипучий голос не доносил слов, я следила только за его движением от двери к окну, от окна к двери. Сколько часов я сама, как маятник, металась по одиночке, ведя бесконечный, безысходный диалог сама с собой. Кто же прав? Мальчики со своей критикой режима или следователь, так легко разрушавший их доводы? Тогда я еще могла сомневаться... Скрипучие шаги замерли у окна, на минуту в комнате воцарилась напряженная тишина. Молчание прервал рыжеватый.

— Так что же будем делать, Алла Евгеньевна, время идет, а мы все на том же месте, — в голосе его слышались металлические нотки. — Хватит изображать из себя этукую испуганную девочку. Чего вы боитесь? Это враги должны нас избегать, а настоящие советские люди никогда не отказываются помогать, когда им предлагают. Такая работа в нашей стране считается почетной. Что вы тут глупости рассказываете, будто мы сажаем своих сотрудников. Чушь все это! Конечно, если они в сговоре с врагом — другое дело. А ваше поведение подозрительно. Не рано ли вам дали право жить в Москве, работать вот в таком прекрасном научном институте?

Опустив глаза, слушаю его бесцветные злобные слова. Сейчас он прочтет в моем взгляде, как я их всех ненавижу. Пусть лучше думает, что боюсь. А если все же догадаются? Тогда... «Мы вас растопчем, как тараканов!» — брызгая слюной, кричал один из следователей, кажется, тот, что был потом расстрелян вместе с министром Абакумовым после смерти Сталина.

— Разве вам не хочется жить в Москве? — услышала я последние слова гебешника. Надо было как-то реагировать, что-то отвечать. Но что? Ужасно хотелось спросить прямо, что будет, если я откажусь сотрудничать с ними, что они со мной сделают, опять арестуют? На что намекает рыжий? На ссылку? Но это полбеда. А если упрячут в «закрытку», во Владимир, о котором рассказывали так много страшного!

От промелькнувшей мысли о тюрьме стало так жаль себя, своей уже навсегда загубленной жизни, что я разрыдалась. Голова упала на стол, плечи вздрагивали. Кусая губы, я старалась подавить вырывавшиеся из горла звуки, но вместо этого плакала все громче.

Такой поворот явно не входил в программу гебистов — здесь это ни к чему, в коридоре могут услышать странные звуки из отдела кадров. Рыжий налил стакан воды, но я не поднимала головы. Петр Сергеевич заговорил мягко и вкрадчиво:

— Алла, вы разрешите называть вас просто по имени? Я ведь вам в отцы гожусь. Послушайте, что я скажу. Мы вам не угрожаем, не заставляем, мы хотим, чтобы вы добровольно согласились с нами сотрудничать. Вам будет от этого прямая польза — никто больше не сможет свернуть вас с правильного пути. — Я не отвечала, содрогаясь от рыданий. Вот что у них называется правильным путем!..

Как кричала та женщина, когда ее душили на нарах. Я услышала сдавленный животный крик где-то в углу комнаты. Как тогда ночью, заткнула уши руками. Теперь не слышно было голоса гебешника, но крик убиваемой стукачки лишь усилился.

...Уже с вечера в бараке все шептались о чем-то, что должно было произойти ночью. К нам на верхние нары, где мы с Таней стелили свои жалкие постели на узких матрасах, набитых стружкой, залезла разбитная блатняжка Верка. Воровато оглядываясь, она поманила нас к себе и, придвинув свое круглое красное лицо, забасила прокуренным голосом:

— Чтоб ночью не шевелились. Вы ничего не знаете, ничего не слышите. Хватит этой легавой всех закладывать. Пришьют падлу сегодня. Вы, красючки, от меня ничего не слышали, а меня и не было тут. Поняли?

Верка сползла вниз и исчезла. Ночная расправа была короткой. Но никогда я не могла забыть того, что произошло, будто сама принимала участие в убийстве.

Стараясь болью заслонить воспоминание, я закусила пальцы. Нельзя беречь память. Неосторожно коснешься прошлого, и оно засосет, закрутит. Усилием воли подавила слезы и подняла голову. Ну что я перед этими двумя раскисла? Не они решают мою судьбу. Да, наверное, все уже предрешено. Сейчас нужно одно — побыстрее от них освободиться, выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух. Я выпила залпом стакан воды и поднялась со стула.

— Мне кажется, мы обо всем поговорили. Я объяснила вам мой отказ как могла. Больше мне добавить нечего. — Я отвернулась, чтобы не были видны мои заплаканные глаза. — Уже поздно, мне надо идти домой, родители будут волноваться. — Петр Сергеевич протянул лист бумаги:

— Вот, кстати о родителях. Вы им не рассказывайте о нашем разговоре. Ну, и не только им, вообще никому. Распишитесь здесь о неразглашении.

Прочитав бланк, я поставила свою подпись. Однажды я расписалась при выходе из тюрьмы, что не буду разглашать тайны КГБ, и тут же, не задумываясь о строгом предупреждении и угрозе наказания, стала рассказывать всем, кто интересовался, и о своем деле, и о жизни в тюрьмах и лагерях.

— Ну теперь я уже могу идти? — В их воле было все: сейчас арестуют. Перед глазами на секунду всплыла картина ночного ареста пять лет назад. Разбросанные вещи, сдвинутая со своих мест мебель. На обеденном столе в столовой, рядом с вазочкой печенья — ордер на арест. Сейчас один из них вытащит из кармана такую же бумажку...

Несколько секунд, пока заговорил рыжий, показались бесконечными.

— Мы вам сами скажем, когда вы сможете уйти. Речь идет о государственном деле, и мы вправе распоряжаться вашим временем. Пожалуйста, сядьте! — он пальцем указал на стул, и я покорно заняла свое прежнее место. Боль разламывала голову, трудно стало дышать, мысли путались. Будет ли конец этой пытке? Почему мне так тяжело, ведь пытаются не меня, а кролика. А я могу встать и уйти из комнаты. Это у кролика привязаны лапы и глаза, полные страха, устремлены в потолок. Сейчас появится Арон и спасет кролика. Я повернула голову на стук в дверь. Но вместо Арона на пороге появилась кадровица. «Я пришла спросить товарищей, не принести ли чаю?» — елеиным голосом пропела Зинаида Павловна. При помощи этой уловки она решила вызволить свои вещи из кабинета, чтобы наконец уйти домой. Институт уже был пуст. «Товарищи» как по команде поднялись.

— Хорошо, что вы к нам заглянули, Зинаида Павловна, а то мы заговорились с Аллой Евгеньевной и не заметили, как прошло время.

Гости надевали плащи, превращаясь в двух неразличимых близнецов. Они по очереди пожали женщинам руки. В дверях Петр Сергеевич, или это был Иван Иванович, я уже не могла разобрать, обернулся и выстрелил в меня последнюю фразу:

— Так до скорой встречи, Алла Евгеньевна! Я ухватилась за спинку стула. Вслед за гебистами ушла и кадровица. Несколько минут просидела я в оцепенении — никаких чувств, никаких мыслей. Сколько прошло времени с тех пор, как я вошла в эту комнату? Часы над столом показывали пять. Значит, рабочий день кончился. А вызвали меня в обеденный перерыв, в два часа. Арифметика простая — меня терзали три часа. И это не конец. «До скорой встречи!» — вспомнила я последние

слова гебиста. До скорой встречи где?! В Лефортовской, самой строгой военной тюрьме, которая была моим домом пятнадцать месяцев, или в Бутырьках, где мне тоже пришлось сидеть в одиночке «по дороге на свободу», в ожидании пересмотра дела?

А может, в «комфортабельной» Лубянке, откуда всего четыре месяца назад нас выпустили на шумную улицу Москвы, в людской водоворот? И не было тогда для меня более счастливой минуты! Все беды остались за тяжелыми дверьми, хлопнувшими за моей спиной навсегда. Тогда это было ясно, как светлый апрельский день, встретивший нас всех, повзрослевших, поумневших, но, в общем, мало изменившихся. Сегодня я поняла, что тюремные двери не закрываются плотно за спиной тех, кто там побывал. Да и вообще, «от тюрьмы да от сумы не зарекайся» — нет на Руси более мудрой пословицы.

По пустым полутемным коридорам пошла я к себе в лабораторию. Кое-где из-под дверей виден был свет — особенно усердные сотрудники работали до позднего вечера. «А что, если Арон еще не ушел? — Эта мысль заставила остановиться. — Что ему сказать, как объяснить такое долгое отсутствие?! Соврать невозможно — ему надо рассказать все, как было, и от его сочувствия сразу станет легче». Мне даже захотелось побежать по лестнице, чтобы быстрее увидеть своего мудрого, доброго шефа. Но, сделав несколько быстрых шагов, я вновь остановилась: а вдруг он испугается, не поверит, что отказалась, или поймет, что КГБ не оставило меня в покое, а с такими лучше не иметь дела.

В коридоре, куда выходили двери лаборатории, оказалось совсем темно. Я даже пригнулась, чтобы убедиться, что ни одна щель под дверью не светится. «Слава Богу!» — сказала я самой себе. Где-то в глубине старого здания мне ответило слабое эхо.

Открыв кабинет Арона, я ощутила знакомый кроличий запах. Но кролика на столе не было. «Освободился, бедняга! Кролик умер, и никто больше до него не доберется. Счастливый, он умер! Он свободен!» — я вдруг поняла, что разговариваю вслух.

Боже мой, так ведь можно сойти с ума. Быстрее на улицу! Стаскивая с себя лабораторный халат и надевая дождевик, я вспомнила, что надо позвонить домой, иначе там будет паника. «Мама, я задерживаюсь, опыт еще не закончился, пообедайте без меня», — пытаюсь придать бодрость своему голосу, я, кажется, перестаралась. Что, если дома мне не удастся скрыть своего состояния? Мама с меня глаз не сводит — дождалась дочку! Я вспомнила, как подсчитывала мама, сколько лет ей будет, когда дочь отсидит срок, 50 плюс 25—75 лет! Доживет ли она, выживет ли дочь?

Сейчас прошло уже четыре месяца ничем не омраченного счастья. Как же можно рассказать дома о случившемся! Поселить постоянный страх.

На улице накрапывал мелкий теплый дождик. Глядя под ноги и не замечая луж, я шла по Пироговской улице вдоль бульварной изгороди. Навстречу или перегоняя спешили люди, иногда задевая тяжелой сумкой, портфелем, плечом. Никто не

извинялся — на узком тротуаре было тесно, а я шла медленно, не попадая в общий ритм. Мой путь лежал прямо по Пироговке, потом по Кропоткинской, потом вдоль Гоголевского бульвара до Арбатской площади. Можно, конечно, сесть в троллейбус, как обычно и делала, доезжая до дома за полчаса. Но сейчас хотелось долго-долго идти по знакомым улицам, вдоль любимых с детства бульваров. Вот я иду, как мечтала недавно, прямо, прямо, можно так идти весь вечер, всю ночь, пока не решу повернуть к дому, к своему дому.

У Никитских ворот неожиданно для себя не свернула на свою улицу, а пошла по Тверскому бульвару, особенно напоминавшему детство. Он вывел меня на шумную и многолюдную улицу Горького.

Оказавшись в тесной толпе, я почувствовала, что идти дальше нет сил. Но вернуться домой было страшно. Вот оно, одиночество в толпе! До меня долетали обрывки разговоров, возгласы, шум машин. Какое-то знакомое ощущение было во всем теле. Трудно переставлять тяжелые ноги, спину ломит от усталости. Сколько еще километров до лагеря? Идут пятерки женщин, соединенные под руку друг с другом. На огромных ботинках комья прилипшей грязи. Пудовый бушлат давит на плечи. Над колонной в воздухе гул — это шум шагов, вплетенный в приглушенный говор. Громко разговаривать во время движения запрещается.

Перейти из одной пятерки в другую нельзя, конвоиры с автоматами и огромные овчарки следуют вдоль колонны. Напутствие начальника конвоя перед началом марша всегда одно и то же. Оно заканчивается словами: «Шаг вправо, шаг влево считаю побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения!» Эту «молитву» конвоя я слышала дважды в день — на пути к объекту работы и перед возвращением в лагерь. К словам привыкли, они перестали пугать, хотя в тяжелые сталинские времена нередко «применяли оружие без предупреждения». Потом сообщали для острастки: «Убит при попытке к бегству». Я иду, не замечая дороги. Мысли мои в далекой Москве.

Вдруг от сильного толчка я остановилась — кто-то налетел на меня в спешке и пробежал мимо. Озираясь вокруг и пытаясь вернуться в «сейчас», я тряхнула головой, протерла глаза. Какой нарядный Елисейевский гастроном! Толпа втекает и вытекает из его широких дверей. Людской поток обходит меня, как вода камень на своем пути.

Надо бы зайти в магазин и купить что-нибудь вкусное, подумала я, но не сдвинулась с места. Боже мой! Как вырваться из прошлого? В мыслях оно реальнее настоящего. А может быть, ничего и не надо разделять? Одно переходит в другое и возвращается вспять. Люди вокруг спешат в свое завтра, волнуются, суетятся. А их прошлое наступает им на пятки. Скольких из них, кажущихся такими свободными в эту минуту, судьба уже связала с тюрьмой, сами сидели, родные, друзья сидели или еще сидят... Ведь заключенных были миллионы! Значит, все повязаны одной веревкой — тюрьма подступает к самому порогу твоего дома, дверь в дверь.

Сегодня утром было так хорошо и легко идти на работу. Я шла прямо, вот так же, как сейчас. Бездна пролегла между сегодняшним солнечным утром и этими дождливыми сумерками. Да разве была я хоть на минуту свободна!

...Колонна заключенных готова к маршу. Бегут вдоль серых рядов солдаты — последняя проверка, подсчет. Щерятся злобные овчарки. Далеко в голове колонны раздается знакомая команда: «Приготовиться! Шаг вправо, шаг влево считаю побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения!»

Эпилог: первая часть

В ясный и холодный апрельский день 1990 года с далекой моей родины прибыл мне с оказией пакет. Справку, выданную Военной коллегией Верховного Суда СССР, о моей полной реабилитации переслали на мой адрес из Москвы с первыми советскими туристами, отважившимися (а то было время еще редких, «пробных» таких поездок) навестить своих родственников в Канаде. Вот он, этот знаменательный документ, привожу его здесь дословно.

Со смешанным чувством вчитывалась я в строки этого стандартного, по всей видимости, текста. Ведь справки такого рода выдавались в те дни тысячами, если не десятками тысяч. Да, с одной стороны, вроде был повод порадоваться, вздохнуть наконец с облегчением: разве можно было помыслить хотя бы в том же 56-м году, что придет день, когда с нас полностью снимут те страшные обвинения. Но с другой...

Ведь справки были выписаны на всех членов организации — и живых, и мертвых. Так что же получается, будто организации как бы не было вовсе, что она возникла в воспаленном воображении наших следователей? И вправе ли одно государство отпускать нам грехи перед совсем другим, более уже не существующим? Да, мы не были «врагами народа», но врагами той власти, того режима, наверное, все-таки были. Могушественная карательная машина позволила кому-то из нас выскользнуть из-под своих чугунных жерновов лишь в силу случайности. Ведь расправились примерно в то же самое время с куда более значительными, а главное, всемирно известными людьми из Еврейского антифашистского комитета — Михоэлсом, Маркишем, Квитко, Зускиным... И не побоялись, и рука не дрогнула, подписывая фальшивое заключение, подводящее безвинных под статью расстрела. С Михоэлсом, правда, расправились и без статьи...

И еще задаюсь я одним вопросом: а как бы отнеслись к этой индульгенции трое наших погибших ребят? Обрадовались? Или, может, лишь криво усмехнулись? Кто знает... Вопросать об этом впору теперь только воздух, небо и землю, в которых они растворились, не оставив после себя даже могилы. Да, они были детьми своего времени и действовали в соответствии с впитанными с детства представлениями. О существовании других путей они просто не знали, да и не могли знать. Свет иного знания не проникал тогда сквозь глухие створки железного занавеса. Но ведь

миллионы, десятки миллионов куда более зрелых и умудренных жизнью людей послушно выходили на праздничные демонстрации, отсиживали положенные часы на торжественных собраниях, бурно, до изнеможения, аплодировали при упоминании «великого имени», а если что и видели, чего-то не принимали, отмалчивались про себя, исповедуя древнюю, как мир, истину: «Плетью обуха не перешибешь».

И вот если бы кто-то, всезнающий и прозорливый, обратился тогда к нашим мальчикам со словами: «Ничего не надо делать, потому что все равно ничего нельзя изменить, а нужно просто ждать: сначала два года ждать смерти Сталина, потом XX съезда и хрущевской «оттепели», а потом еще 30 лет — горбачевской перестройки», согласились бы они с этим ясновидцем? Такую мудрость можно еще принять в пятьдесят, ну, в сорок лет, но тем, кому девятнадцать... Представьте: всю свою жизнь, единственную и неповторимую, потратить на это бесконечное иссушающее ожидание, чтобы в шестьдесят вдохнуть наконец усталой грудью желанный воздух свободы. Нет, для людей с такого типа социальным темпераментом подобная перспектива была, наверное, выше их сил. Для них, вступивших в свой сознательный возраст уже после войны, окончательно обнажившей бесчеловечное лицо режима, жизнь в этом застойном, отравленном воздухе была невыносима. Поэтому они и выбрали путь действия, путь, приведший их к гибели.

Нам же, остальным, прошедшим лагеря и этапы, досталась жизнь. И прожили мы ее все по-разному, а в общем, в чем-то схоже. Почти все, за малым исключением, обжегшись однажды в молодости, впоследствии сторонились политики. Жили семьей, работой, к власти, как говорят, находились в скрытой оппозиции. Но каждый год 25 апреля, в годовщину нашего «второго рождения», собирались обязательно, а собравшись, поминали погибших. И даже когда с годами узы нашего тюремно-лагерного братства Ослабели, а многих к тому же разметало по свету, эта дата осталась в душе святой и неприкосновенной и празднуется каждым хотя бы в кругу семьи. Впрочем, праздник горький.

Говорят, время лечит любые раны. Вот и мне все реже снятся обжигающая картина моего ареста, мучительные ночные допросы в Лефортовской тюрьме. Все эти пять тюремно-лагерных лет словно подернулись дымкой, и кажется иногда, что было это не со мной, а с кем-то другим, кого мне довелось наблюдать со стороны. И только всплывшая в памяти финальная сцена суда со словами страшного приговора порой стиснет сердце. Видимо, трудно смириться ему с этой роковой непоправимостью, хотя и прошла с тех пор без малого целая жизнь.

Как мы прожили ее — известно. А вот как могли бы ее прожить те трое, выделенные статьей неумолимого приговора? Что потеряло общество с их безвременной насильственной смертью? А в том, что потеряло, нет двух мнений. Много ли нам известно случаев сопротивления сталинскому режиму? Считанные единицы. На миллионы аплодировавших или согласно молчавших. Не случайно ведь дважды в месяц о ходе этого следствия докладывали самому Сталину. Без сомнения, он лично и санкционировал приговор, послушно проштампованный судьями. Выходит, всего-то год не дожили они до рассвета...

Когда-то Александр Герцен, для которого вечной болью на всю жизнь стала трагедия 14 декабря 1825 года, писал о том, как страшно опошлилось так называемое образованное сословие, как катастрофически упала общественная температура, после того как, расправившись с восставшими, Николай насильственно отторг, «вывел из обращения» бессрочной ссылкой и каторгой сотни лучших, достойнейших сынов Отечества. Советская власть не знала своих декабристов, и никакие аналогии тут неуместны. Однако выбивали ведь тоже лучших, тех, кто чем-то выделялся из общего ряда, кто успел заявить о себе как о самостоятельной, независимой личности. И эта, по существу, спланированная акция продолжалась не год, не два — десятки лет. Какие там сотни сынов Отечества — тысячи, сотни тысяч, миллионы... Так, может быть, здесь источник, первопричина множества нынешних неразрешимых российских бед?

Я рассказала в этой книге всего об одном маленьком, в масштабах страны, эпизоде войны тоталитарного государства со своим народом. Рассказала о том, чему была свидетелем, через что прошла сама. Тема эта необъятна и неисчерпаема, как неисчерпаемы страдания и горе миллионов людей, попавших под державную колесницу. Но если в трагическую мозаику прошлого мне удалось вписать какую-то неизвестную страницу, значит, мои усилия были не напрасны. Хотя понимаю: сколько ни дополняй, эта летопись все равно останется неоконченной. Она никогда не будет дописана до конца.

Эпилог: вторая часть

В этом году (1999) зима была совершенно особенная. Столько снега навалило, что город, казалось, был накрыт белой пуховой периной. Улицы, дома, деревья — все в белом одеянии. Снег поглощал все звуки, и тишина нарушалась только скрипом снега под сапогами. Мы идем вдоль оврага — я и Саша, а впереди бежит Тимоша, рыжий Golden Retriever. Мы так гуляем каждый день и не можем налюбоваться всем, что нас окружает. Ели протягивают к нам отяжелевшие под снегом лапы, кроны деревьев, убеленные снежными иголками, склоняются к дороге и время от времени на нас сыплется снег, встревоженный прыгающими по деревьям белками. Иногда вдали мы видим длинноухого белого зайца, встречаем и одиноких койотов, исчезающих как призраки, при виде нас. И все это в двух шагах от дома, в десяти минутах езды на машине от университета или от центра Эдмонта. Мы живем в этом городе на западе Канады уже 17 лет, и всякий раз, приезжая из дальних путешествий, особенно переживаем радость возвращения домой. Возвращение домой в этот чудный город почему-то часто вызывает воспоминания о прошлом. Мой арест в 1951-м, одиночка, лагерь. Освобождение в 1956-м. Теперь со времени освобождения прошло 43 года!!!

Не так давно мы отмечали большой праздник — двадцатипятилетие нашей эмиграции из Советского Союза. 21 марта 1974 года, в пасмурный, дождливый день, мы втроем — Саша, я и двенадцатилетний Владик стояли, уже пройдя таможню, на втором этаже Шереметьевского аэропорта. Внизу, отделенные от нас невидимой стеклянной стеной, махали нам на прощанье наши близкие — мама, отец, жена брата

Зоя. Я не могла сдержать слез: ведь мы уезжали навсегда, надежды на встречу почти не было. Мы не просто уезжали, мы бежали, мы спасали себя и нашего сына от той двойной жизни, которой мы уже давно жили, и от антисемитизма. Эмиграция из Советского Союза только начиналась.

Под давлением Конгресса Соединенных Штатов, сенатора Джексона и переговоров Генри Киссинджера о детанте начался невиданный дотоле исход евреев на свою "историческую родину". Это распространялось также на немцев Поволжья и армян; последние после войны репатриировались с Ближнего Востока в Советскую Армению и рвались теперь обратно на свою не историческую родину. Железный занавес дал трещину, и надо было успеть проскочить, пока лаз не будет снова заделан. Так, кстати, и было: время от времени эмиграция почти полностью прекращалась на длительные периоды.

Решиться на эмиграцию было нелегко, особенно мне — я оставляла своих престарелых родителей и больного брата. Мое сердце разрывалось между чувством долга перед родными и эгоистическим желанием вырваться на свободу. Катализатором послужил один эпизод. Среди потока запретной литературы, "самиздата" и "тамиздата", перетекавшей из рук в руки и открывавшей нам глаза на многие события, о которых мы не знали ("Воспоминания" Надежды Мандельштам, книга о преступлениях Лысенко Жореса Медведева, "Доктор Живаго" Пастернака и т.п.), к нам попали воспоминания моей одноделки Майи Улановской.

Принес их мой брат, который, переняв у старшей сестры эстафету, был тесно связан с диссидентскими кругами. Через него Майя передала свое предложение написать каждому из нашей группы свои воспоминания и издать их одной книгой. Так воссоздастся более полная картина всей истории. Очень разумное предложение, но от одной мысли, что я снова окажусь в опасности, в подполье, подвергну опасности мою семью, мороз пробежал по спине. Воспоминания Майи — тоненькая тетрадка напечатанного на машинке текста была о суде над нами. Саша читал этот сдержанный, без особых эмоций отчет ночью, так казалось безопаснее. Сцена суда, описанная Майей, сопровождалась небольшим схематическим рисунком, вернее, планом зала суда, расчерченного на квадратики: где кто из нас сидел. В каждом квадратике стояли буквы — инициалы всех участников.

Дойдя до последнего ряда, где в одной клеточка были инициалы А.Р. (Алла Рейф), Саша вдруг осознал, что сейчас, в эту минуту, где-то в ярко освещенном кабинете в КГБ кто-то, может быть, читает то же, что читает он. О нем больше не могло быть речи. Без всякой логики пришла мысль о возможности повторного ареста. Хотя какая-то "советская" логика все же присутствовала в этом страхе. Ведь многие, отсидев свой срок и выйдя на свободу, вскоре оказывались снова за решеткой или ссылались. На другое утро Саша объявил мне: пока не поздно, мы должны уехать. Куда? Куда угодно, только вон из этой страны. Сейчас можно в Израиль — значит, мы едем туда. Неважно, что мы русифицированы до такой степени, что ощущаем себя евреями только благодаря постоянным антисемитским уколам, что существование Израиля, радуя нас, никогда не вызывало желания там поселиться. Сейчас нельзя терять ни одного дня.

Я понимала, что Саша прав. Обстановка в Союзе явно накалялась. Свежо в памяти было выступление горстки смельчаков на Красной площади с плакатами, осуждавшими вторжение в Чехословакию. Мы знали, как с ними расправились. В газетах шла травля “подписантов”, деятелей науки и искусства, которые подписывали открытые письма в защиту диссидентов, подвергавшихся шельмованию на собраниях и в печати. Недавно состоялся процесс над известными диссидентами Красиным и Петром Якиром, сыном расстрелянного в 1937 году генерала. Арестовали разжалованного генерала-бунтаря Петра Григоренко. Его отправили вскоре в психиатрическую больницу (читай — в самую страшную тюрьму). Мой брат Игорь Рейф стал его постоянным корреспондентом и выполнял в семье опального генерала роль домашнего врача. Брат опасался ареста и все свои бумаги отдал нам на хранение. Среди них была копия романа Солженицына “В круге первом”, выполненная на фотобумаге. “Делайте с этим, что хотите”, — сказал Игорь. Так у нас в доме оказалась “бомба”, и от нее, после прочтения, нужно было срочно избавиться.

Перед нами стояла нелегкая задача: книга в виде фотографий каждой страницы размером 14х22 см представляла собой устрашающее зрелище: на столе возвышалась гора плотной фотографической бумаги. Следуя традиции подпольщиков, уходящей в далекое прошлое, мы решили опасную книгу сжечь. Но не тут-то было — фотобумага не горела, а плавилась, издавая удушливый смрад, который через короткое время привлек бы внимание соседей по дому. Тогда пришла другая, столь же нелепая идея: разорвав фотографии на мелкие кусочки, спустить все в канализацию. Начали крошить листы, резали ножницами, рвали, готовы были кусать зубами. Для постороннего наблюдателя вся ситуация выглядела, наверное, смешно, но нам было не до смеха.

Между тем, стопка страниц медленно уменьшалась, зато вокруг нас росла гора обрывков, и по объему эта гора была во много раз больше самой книги. Время уже за полночь, мы пытаемся спустить небольшую горку обрывков в унитаз и тут же убеждаемся, что даже маленькая доля этого мусора моментально засорит канализацию. Тут же мы ясно представили себе, как приглашенный слесарь, выловив обрывки, немедленно донесет на нас, куда следует. Что же нам делать с нашим опасным мусором? Ведь каждый клочок, на котором можно прочесть несколько слов — улика.

Наконец пришло единственное решение: сделать несколько небольших пакетов и бросить их в мусорные ящики в разных районах Москвы, но, конечно, только не в нашем. С упаковкой было покончено на рассвете. В соседней комнате спал сын, не подозревая об опасности, вплотную подступившей к нашей семье. Утром мы с Сашей загрузили пакеты, каждый в свою сумку, и поехали на работу на автобусах в разных направлениях. Я помнила, что большие мусорные контейнеры стоят недалеко от моей работы во дворе какого-то дома. Быстро прошмыгнув в подворотню и проверив, что никого поблизости нет, я бросила часть ноши. Проехав еще одну остановку на автобусе и разыскав другой контейнер, я наконец освободилась от опасного груза и с облегченным сердцем пошла на работу, не подозревая, что сашина миссия оказалась не такой простой, как моя. Вечером Саша рассказал мне, что произошло.

На площади у Таганского метро, на противоположной стороне от его выхода (это был Сашин путь в Ипполитовское музыкальное училище, где он преподавал уже два года), стояло несколько огромных, почти в человеческий рост, мусорных ящиков. Площадь у метро, как всегда, была людной, но Саша спешил на работу и решил другого места не искать. Быстрым шагом он приблизился к ящику, опустил руку в портфель и два пакета полетели в черное чрево. По тому, какой раздался стук, стало ясно, что ящик был пуст. Дело сделано. Теперь можно забыть все происшествие и вернуться к нормальной жизни. В первую очередь нужно позвонить одному из студентов. У метро стояли телефоны-автоматы. Подойдя к одному из них, Саша стал шарить в портфеле в поисках записной книжки, но ее там не оказалось.

Первая мысль, пришедшая в голову, была самая страшная — выбросил книжку вместе с пакетом. Теперь на дне мусорного ящика лежит “удостоверение личности” государственного преступника, читавшего антисоветскую книгу, наверное, дававшего читать ее своим друзьям и пытавшегося скрыть следы своего преступления. В полной панике Саша побежал обратно, но, подойдя вплотную к огромным ящикам, убедился, что не может даже заглянуть как следует внутрь, не привлекая к себе всеобщего внимания. Некоторое время он стоял, не зная, что предпринять. Один вид его мог вызвать подозрение — хорошо одетый гражданин топчется у помойки. Вдруг пришла обнадеживающая мысль: что, если записная книжка осталась дома? Он снова кинулся к автомату. Спокойный голос Владика сообщил, что книжка лежит на столе у телефона. Саша перевел дух.

Этот эпизод хорошо демонстрирует, в каком нервном напряжении мы жили. Пройдя первый круг ада читая Солженицына, мы продолжали движение по следующим кругам, кругам страха и паники, так знакомым советским людям. Да, теперь мы можем посмеяться над беспомощностью, нелогичностью наших поступков. Тогда было совсем не смешно. Мы уже давно жили двойной жизнью: посещая обязательные собрания (политчасы) на работе, держали рот на замке; мы хорошо знали, что можно сказать на работе или в компании, какой анекдот, как мы шутили, стоит 25 лет тюрьмы, а какой только 10; мы мучительно переживали открытый суд над Синявским и Даниэлем, посмеявшись опубликовать свои произведения за границей.

А перед этим — измывательства над Пастернаком, ссылка молодого поэта Иосифа Бродского. Как и при Сталине, народ молчаливо одобрял все, что исходило от власти. Газеты, как в старые времена террора, захлебывались в истерической лжи. Хрущевская оттепель, вселившая столько надежд на демократизацию режима, давно отошла в прошлое. Поговаривали о реабилитации Сталина. Последним событием была насильственная высылка Солженицына на Запад. Несмотря на постоянное глушение, мы регулярно слушали западные радиостанции, ведущие передачи на русском языке, вылавливая сквозь грохот какую-то долю информации.

Странную картину постоянно наблюдал наш сын: папа, прижавши ухо к динамику радио, слушает неразборчивую речь сквозь свист, гул и ведьминское завывание. Он приткнулся к радио так, как будто пытается в него влезть с головой. При этом Владика приказано не мешать и вообще уйти из комнаты. До поры, до времени

мальчик не задавал “трудных” вопросов. Но пришел момент, когда вопросы эти посыпались на нас, как из рога изобилия. Мы поняли, что наш сын вырос.

Теперь перед нами стояла дилемма: говорить ему правду о том, как мы относимся к Советской власти, предупреждая держать язык за зубами, значило, что двенадцатилетний мальчик начинает нелегкую двойную жизнь, которую ведут его родители. Ему сразу надо научиться лгать — говорить одно, а думать другое, и тогда он вырастет нашим другом. Если же мы решим оставить его в неведении о наших убеждениях, то он будет в ладу с окружающей его действительностью, но возможно, вырастет чужим для нас человеком, если не прозреет в свое время сам.

Уже произошел неприятный инцидент, когда я порвала на его глазах книжонку о знаменитом герое-пионере Павлике Морозове, донесшем на своего отца и погубившем всю семью. История эта была известна всем от мала до велика. Настоящей правды о Павлике в те времена никто не знал, она выплыла совсем недавно, уже при перестройке. Во время коллективизации в 30-е годы, когда происходило раскулачивание, государство отнимало у крестьян все запасы зерна, обрекая людей на голод и смерть. За укрытие продуктов, подлежавших сдаче, крестьяне жестоко наказывались, целые семьи с малолетними детьми и стариками ссылались в Сибирь. Многих расстреливали. Павлику Морозову было 12 лет, когда он, поссорившись с отцом, решил ему отомстить и донес, что отец укрывает зерно. Отца арестовали, а разъяренные родственники расправились с мальчиком.

Павлик был убит и тут же воскрес как герой-мученик за дело социализма, как пример для подражания. Именем его называли улицы, пионерские отряды, парки, где возвышались в мраморе и бронзе статуи героя-доносчика. Распространение этой истории приняло невиданные масштабы, писались книги, слагались песни, изучение “подвига” Павлика Морозова стало неотъемлемой частью школьных программ. Так был создан пример для подражания, и доноительство детей на своих родителей, братьев и сестер, как и всех граждан друг на друга, стало не только нормой, но и обязанностью. Нетрудно представить себе, как относились в нашей семье к подобного рода “подвигу.” Но как объяснить Владику нашу точку зрения, не вступая в конфликт с тем, что говорят учителя в школе? Выхода не было — мы решили говорить сыну правду, много раз повторяя при этом, что можно и чего нельзя произносить за стенами нашей квартиры.

Доставалось Владику и из-за усилившегося в те годы антисемитизма, вирус которого живет в обществе всегда, но его наибольшая активность обнаруживается в период кризисных ситуаций. Власти решили раз и навсегда покончить с диссидентским движением. Среди диссидентов было много евреев, и это использовалось чинившими расправу гебистами, журналистами и партийными функционерами, всеми, кто был заинтересован в нерушимости режима. “Неукоренившиеся отщепенцы”, “антисоветские элементы”... вспоминалась кампания “борьбы с космополитизмом” пятидесятых годов! Дети подхватывали настроение взрослых и с присущей им часто жестокостью начинали по мелочам отравлять жизнь своих мало чем отличающихся от них сверстников. Владик приходил из школы подавленный. Как они узнают, что я еврей? Ведь лица у всех одинаковые? — спрашивал он. Не спасала русская фамилия.

В классном журнале, в определенной графе, четко были выведены национальности учеников.

Антисемитизм проявлялся на всех ступенях общества. В Институте акушерства и гинекологии, где я работала в клинической лаборатории, уволили почти всех врачей-евреев. Н.А. Вербова, декан вокального факультета Гнесинского института, который кончал Саша, в личном разговоре с ним конфиденциально сказала, что у него нет никакой надежды попасть в аспирантуру, потому что он еврей. Ситуация ухудшилась с началом эмиграции. Евреев боялись брать на работу, как потенциальных эмигрантов. Подавая документы на отъезд, люди обрушивали поток проклятий на голову своего начальства, которое в таких случаях обвинялось в "плохой постановке идеологической работы". На общих собраниях, где должны были присутствовать все работники, несчастного, осмелившегося предпочесть враждебный сионистский Израиль, с которым были порваны дипломатические отношения, "самой счастливой стране на свете", смешивались с грязью. Некоторые не могли решиться на отъезд, зная, какие унижения нужно пройти.

И вот в результате всех этих событий и наших раздумий мы пришли к решению эмигрировать. Надо было получить благословение моих родителей (сашина мама умерла за год до нашей женитьбы, а отец, когда Саша был ребенком). Мне предстоял тяжелый разговор: мама была уже несколько лет больна, поэтому я решила поговорить с отцом. На кухне, вполголоса я спросила его, как он относится к нашему решению. "Одно твоё слово "нет", — и мы не поедём". — сказала я. Он обнял меня и сказал фразу, которую я никогда не забуду: "Будь я на двадцать лет моложе, пешком бы ушел." И это говорил человек, который всю жизнь занимал ответственные посты, никогда не нуждался, внешне подчинялся режиму, давая выход своему недовольству шепотом, только в кругу семьи, но, видимо, бесконечно уставший от роли "винтика" в государственной машине и вечной лжи. Мама тоже одобрила наше решение.

Итак, благословение получено. Нам уже давно прислали приглашение родственники, уехавшие полтора года назад в Израиль. Мы подали документы в ОВИР (Отдел виз и разрешений), предварительно уйдя с работы, чтобы избежать издевательств на уже упомянутых собраниях, которым подвергались "отъезжанты". У нас вскоре появились новые знакомые, ожидавшие, как и мы, разрешения на выезд, и мы перешли в новую категорию "ожидающих". От них мы узнали, что вовсе не обязаны ехать в Израиль. Есть несколько стран, принимавших беженцев, и хотя мы эмигрировали официально, на нас распространялся статус беженцев. Из писем друзей, выехавших раньше нас и ожидавших своих въездных виз в Италии, мы черпали последние сведения: первая наша остановка будет в Вене, где мы сможем заявить о своем желании ехать в одну из четырех стран — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию.

После некоторых раздумий мы выбрали Канаду. Нельзя сказать, что мы много о ней знали. Названия трех самых крупных городов, хоккейные успехи, монреальские Олимпийские игры, климат и растительность напоминают Россию. Но как ни смешно, главное, что определило выбор, было знакомство с несколькими канадскими музыкантами. Мой муж, профессиональный певец, последние десять лет работавший

в знаменитом московском ансамбле Мадригал, еще будучи студентом Гнесинского института познакомился с искусством канадской певицы Лоис Маршалл, которая в течение нескольких сезонов гастролировала в Советском Союзе. Ее выступления были триумфальными, и Саша, покоренный искусством Маршалл, решил свою дипломную работу писать о ней. Он работал в это время внештатным корреспондентом журнала Советская музыка и предложил редакции статью о замечательной певице. Последовал ряд встреч и интервью с Маршалл и ее аккомпаниатором Уэлдоном Килберном, и завязалось личное знакомство. После Маршалл в Москву приехал другой певец из Канады, Доналд Белл, о котором Саша тоже писал, а перед этим москвичи были потрясены выступлениями Гленна Гульда и Морин Форрестер. Нам, не избалованным обилием гастролеров из Северной Америки, казалось, что Канада и есть центр музыкальной культуры. Позже, после приезда в Торонто в 1974 году, мы поняли, что наши ожидания оказались, мягко говоря, несколько преувеличенными. Были, конечно, и более основательные причины выбора между Соединенными Штатами и Канадой. Мы слышали, что в последней значительно меньше социальных проблем, чем в Штатах. Ну, а Австралия и Новая Зеландия нами даже не рассматривались — слишком далеко.

Последние дни перед отъездом прошли, как в тумане. Мы прощались с родными, ходили к друзьям, где собирались знакомые и незнакомые, чтобы посмотреть на решивших, на посмевающих. На нас смотрели с любопытством, удивлением, завистью. Уже установилась традиция: в квартире “отъезжантов” устраивался день открытых дверей. С утра до вечера мы принимали провожающих. Все считали своим долгом что-то подарить на прощанье, но некоторые не могли решиться, казалось бы, на простой шаг — прийти проститься. За квартирой подавших на эмиграцию неусыпно следили. Соседи рассказывали нам, что к ним приходил милиционер, расспрашивал о нас, много ли народу у нас бывает, живем ли мы в роскоши, есть ли у нас драгоценности, золото, брильянты.

Соседка ответила, что ничего подозрительного за нами не замечала. Каждый, кто отважился прийти к нам в этот день, мог оказаться в черном списке. Но большинство превозмогло страх, а те, кто не смог, звонили нам по телефону. Поздно вечером, под прикрытием темноты пришли последние, до смерти напуганные, но гордые своим героическим поступком старые друзья.

В один из последних дней перед отъездом мы решили одеть сына на “заграничный лад” и втроем отправились в магазин Детский мир на площади Дзержинского, названной в честь первого чекиста, “железного Феликса”. Его памятник возвышался посредине площади на фоне знаменитой Лубянки — здания КГБ и тюрьмы, мрачная слава которых была известна всем, в том числе и за пределами Союза. Отсюда, из одного подъезда, 18 лет назад я вышла на свободу. Обычно, проходя мимо этого места, я чувствовала себя неуютно, как будто, угроза снова нависала над головой. Я отворачивалась и спешила пройти побыстрее. Но тут мы сознательно остановились, и Саша, указав на здание, попросил Владика хорошо запомнить это место. Владик удивился: “Что в нем особенного? Дом как дом”. — “Я сейчас не могу тебе сказать, а вот когда мы уедем, ты все узнаешь”. Владик задумался на минуту и вдруг радостно сообщил, что он догадался: “Здесь нам выдали визы на эмиграцию!”

— “Ты почти угадал, сказал Саша, — и все же что-то, чего ты не знаешь, мы тебе расскажем потом.” Только по приезду в Вену мы рассказали сыну о том, что пришлось пережить его маме в юности.

И вот настал день отъезда. В назначенное время утром к дому подъехало такси. Последний взгляд на дом, на выросшие деревья, посаженные шесть лет назад, когда мы поселились в новом районе Давыдково, знаменитом тем, что здесь когда-то была дача Сталина, загородная крепость, где он умер. Мы посмотрели друг на друга. Каждый думал о своем, но одна мысль была общая: у нас был дом и, несмотря на Советскую власть, или, скорее вопреки ей, мы были в нем счастливы. Теперь, в эту минуту, переступив порог, мы стали бездомными и беспаспортными (наши паспорта отобрали, выдав взамен розовые бумажки выездных виз, где было указано: “не имеющие подданства”). На душе было тоскливо. Мы сели в машину налегке, вещи были отправлены заранее. У меня на руках сидела собака — белый с черной мордой фокстерьер по имени Лада.

Ей не сообщили, что она покидает родину навсегда, и уютно пристроившись на моих коленях, Лада ни о чем не волновалась. “В какой аэропорт везти, спросил шофер, — в социалистический или капиталистический?” — “В капиталистический, — закричали мы и поехали в Шереметьево, откуда полеты были только в “капстраны”, как называли их в отличие от стран социалистического блока. Вот и кончилось мучительное прощание с родителями. Последние улыбки, последнее прости. Мы летим в Вену.

Полет продолжался коротко, и мне показалось, что слезы у меня на глазах не успели высохнуть. Перед моим внутренним взором еще стояли лица родителей, измененное болезнью лицо мамы, ее я уж точно никогда больше не увижу. Мысли тянули меня назад, не давали расслабиться. В какой-то момент я поняла, что впервые в жизни пересекла границу Советского Союза, воздушную границу, но это не важно — я впервые за границей. А ведь всю жизнь из-за моего прошлого я была “невыездная”, меня саже в социалистическую страну в качестве туриста никогда бы не пустили. Да я и не пыталась, результат был заранее известен.

Самолет приземлился, и мы вышли на залитый солнцем аэродром. Контраст был поразительный — два часа назад нас провожал серый дождливый день, Москва расставалась с нами без улыбки, запах весны с трудом улавливался в воздухе. По прихоти случая, здесь, в Вене, на расстоянии двухчасового полета, сияло солнце и пахло весной. А может быть, так оглушительно пахла свобода! На аэродроме кипела жизнь: в разных направлениях сновали маленькие машины, перевозящие грузы. Они были окрашены в яркие цвета, комбинезоны рабочих тоже сверкали веселыми тонами, ничего подобного я не видела раньше. В этом празднике света и цвета как-то незаметно для меня душевная тяжесть уступила место переполняющей радости. Рубикон перейден, самое трудное позади!

В здании аэропорта нас встречали представители трех организаций, с помощью которых осуществлялась эмиграция евреев из Советского Союза — Сохнута, Джойнта и Хиаса. Все было замечательно организовано с первой минуты. Группа вновь

прибывших бывших советских граждан сразу разделилась на две части: одна изъявила желание ехать в Израиль и поступила в ведение Сохнута, другая, к которой принадлежали мы, объявила о своем намерении использовать другие возможности (у нас был выбор!), эта группа оказалась под опекой Хиаса и Джойнта. Было очень странно видеть охраняющих нас солдат с автоматами: боялись террористических актов. "Израильтяне" в специальном автобусе отправились к замку Шонау, где им предстояло ждать отправки в Израиль, опять же под охраной австрийской полиции. Остальных развезли по нескольким гостиницам Вены. Неделя, проведенная Вене была подарком!

Но вот мы снова в дороге. На этот раз на поезде едем в Италию, в вечный Рим. Не отрываясь смотрим в окно: Альпы со снежными вершинами, зеленые долины, иногда, как в сказке, возникает замок на горе, так же неожиданно исчезает, и мы оказываемся в пасти длинного туннеля. От радостного возбуждения ночью я не сомкнула глаз. Утром мы прибыли в Рим. Весна встретила нас в своем пышном одеянии — деревья в розовой пене цветения и необыкновенное синее небо над головой. Первое незабываемое впечатление — пасхальный день на площади Св. Петра, величие самого собора, но главное это толпа людей, свободно празднующих Пасху. Нет враждебной полиции, нет соглядатаев, донесущих, куда надо, о твоём поведении. Веселые лица вокруг, молодые, старые, дети — кто пришел, как мы, из любопытства, кто из духовной потребности, каждый волен думать и поступать по своему желанию. Как-то особенно восприняли мы благословение Папы. Его голос разносили по площади динамики, сила голоса не соответствовала маленькой фигурке в окне высоко над толпой. Казалось, что нас благословляет небо.

Не буду рассказывать подробно о незабываемых четырех месяцах, проведенных в Италии в ожидании въездной визы в Канаду. Мы называли это время "Римскими каникулами" и навсегда остались благодарны Италии за приют.

Незадолго до отъезда в Канаду меня и Сашу пригласили в Канадское посольство: с нами хотел познакомиться консул. Саша мог немного изъясняться по-английски, иногда на помощь приходила переводчица. Консул, довольно молодой человек с симпатичным, открытым лицом, расспрашивал о причинах отъезда, о нашем образовании, специальностях. Потом разговор как-то повернулся к моему прошлому, и консул начал расспрашивать меня, что я пережила во время ареста. Его интересовали подробности режима в тюрьме, лагере. Английского языка я не знала, и разговор шел через переводчицу и Сашу. Меня несколько удивляли его вопросы — уже был опубликован *Архипелаг Гулаг*, мог бы и прочесть. Все выяснилось, когда в конце беседы консул неожиданно заключил: "Так значит, все, что пишет Солженицын, правда?" Вот какие сомнения мучили этого симпатичного человека, да, наверное, и не только его.

Римские каникулы, как и полагается каникулам, пролетели слишком быстро. На тридцатое июля назначен наш полет в Канаду. Мы летим в Торонто — таков наш выбор. Название этого города, наравне с Монреалем, мы знали еще в Москве. Англоязычная Канада была выбрана в основном из-за того, что Саша в какой-то минимальной степени владел английским. Мне же было все равно, т.к. в школе и институте я изучала

только немецкий. Девятичасовой полет через океан мы перенесли прекрасно. Страдала только наша бедная Лада, проведшая все эти часы в грузовом отделении самолета. С нами летело еще несколько семей русских эмигрантов. 30 июля 1974 года еще одна историческая дата в нашей семье — мы ступили на землю Канады!

Выйдя из прохладного кондиционированного здания аэровокзала, мы неожиданно окунулись в жаркий и какой-то необычно влажный воздух, как будто, попали на курорт Кавказа у Черного моря. Для первого знакомства Торонто припас для нас свою знаменитую влажную жару (heat wave). Температуру выше 35° по Цельсию с трудом переносили даже "аборигены." Но не успев растаять от жара, мы нырнули в приготовленный для нашей группы автобус с кондиционированным воздухом, доставивший нас в привокзальную гостиницу в центре Торонто. Отсюда, с вокзальной площади (Union Station), началось наше знакомство с городом. В семьдесят четвертом году это было не самое красивое место в Торонто — грязноватые улицы, убогие витрины, маленькие пыльные магазинчики представляли разительный контраст по сравнению с тем, что мы всего несколько часов назад покинули в Риме. Теперь этот район преобразился так, что его совершенно невозможно узнать. А тогда... мы бродили по улицам, не решаясь отойти далеко от гостиницы, и на душе было беспокойно: а вдруг это ошибка, и ехать надо было в Новую Зеландию? Мы не делились своими сомнениями, чтобы не огорчать друг друга, но шутили вслух, что теперь у нас ностальгия... по Риму.

Все сомнения как рукой сняло, когда началась наша активная жизнь. Канада удивляла на каждом шагу. Первый поход в какие-то запасники еврейских организаций, где нам предложили все самое необходимое для начала жизни — постельное белье, посуду и.т.п. В официальных учреждениях всюду с нами разговаривали приветливо, улыбаясь, старались помочь. Такое радушное отношение, мы вскоре поняли, было нормой. Очень скоро был предоставлен пятимесячный курс английского языка для эмигрантов в George Brown College. Там мы впервые увидели многонациональную мозаику населения Канады: поляки, финны, китайцы, вьетнамцы, венгры, русские — кого только не было в моем классе! Мы все были начинающими и почти в равной степени не владели английским, но он был единственным возможным языком общения и мы... заговорили, не так, чтобы выступать в парламенте, но понять друг друга мы могли. В течение всего периода наших занятий нам платили стипендию, достаточную, чтобы снять квартиру и вполне прилично жить. Учебный год на этот раз начался одновременно у нас и у Владика. Вечером, придя домой, мы делились впечатлениями.

Владик сразу отметил разницу в отношениях между учителями и учениками: в советской школе была четкая субординация — учитель приказывал, ученик подчинялся. Некоторые преподаватели требовали, чтобы ученики стояли перед ними чуть ли не по стойке смирно. Постоянные окрики, наказания. На переменах дети должны были чинно ходить по коридору (на двор в советских школах не выходят, да и нет подобных просторов вокруг школ, какие, как правило, есть в Канаде). Здесь, говорил Владик, чувствуешь, что учитель относится к тебе с уважением. Ему очень нравилась атмосфера на уроках. Все было бы прекрасно, если бы мы скоро не начали замечать, что школьные занятия уже в шестом классе больше похожи на

временное сопровождение в детском саду. Уроков на дом не задавали, программа и требования были слишком легкие. В советской школе надо было по-настоящему работать, чтобы получить хорошую оценку. "Take it easy! Have fun!" — таков был канадский девиз, на котором строилась учеба в школе сына. Позже мы узнали, что это типично для большинства начальных школ.

В Москве Владик учился в специальной французской школе и к шестому классу неплохо владел языком. Здесь же с первых шагов стало ясно, что французский преподают плохо. И это в стране, провозглашающей себя двуязычной! Все, с кем бы мы ни делились своими наблюдениями, подтверждали, что в большинстве школ обучение стоит на низком уровне. Значительно лучшее положение, говорили нам, в частной школе. Но как мы могли это осилить? На помощь пришла еврейская община: за первые два года обучения в частной, не религиозного направления еврейской школе им. Бялика с нас не брали платы за обучение.

Само по себе существование еврейских школ было для нас невероятным событием. В Советском Союзе, везде, кроме, возможно, Биробиджана, не осталось ни одной еврейской школы — все были закрыты, заодно с еврейскими театрами. Да и кто из родителей хотел бы отдать своих детей в такие школы? Русификация с одной стороны и антисемитизм с другой делали свое дело — еврейская национальная культура исчезала вместе с еврейским языком и закрытием синагог. Мы были поражены обилием синагог в Торонто, которые представляли все направления иудаизма: ортодоксальные, консервативные, реформистские. В многомиллионной Москве с достаточно большим еврейским населением была одна(!), да и ту мы обходили стороной, там часто бывали стычки с милицией, и шпики крутились в толпе посетителей. Не ирония ли судьбы, что первой в моей жизни синагогой, куда ступила моя нога, была синагога в... Риме!

Саша получил неожиданное приглашение петь во время еврейских новогодних праздников (High Holidays) в одной из консервативных синагог. В великолепном голубом одеянии и голубой кипе, расшитой золотом, он пел впервые на незнакомом ему иврите незнакомую дотоле музыку. Трудно представить себе удивление наших близких в Москве, когда они получили фотографии новоиспеченного кантора. Мы ходили в синагогу с особым чувством — никого не интересует, куда мы идем, люди не скрывают ни национальности, ни убеждений. Нарядные, веселые, они отмечают свой праздник. И хотя по воспитанию мы были далеки от еврейских традиций и религии, праздничное настроение не покидало и нас: мы в стране, где равенство национальностей и свобода религии не только вписаны в конституцию, как в Советском Союзе, но и осуществляются на деле.

Когда мы делились своими впечатлениями с канадцами, нам рассказывали, что не так давно национальная дискриминация была распространенным явлением и в Канаде. "Не смотрите на все через розовые очки, умерьте свои восторги, здесь тоже много серьезных проблем", — предупреждали нас новые знакомые. "Да, — соглашались мы, — но ваше общество может обновляться к лучшему! Мы приехали из страны вечной мерзлоты, опрессивный режим не способен меняться. У нас разные точки отсчета: антисемитизм, расизм и прочие "прелести" на частном уровне это одно,

когда же все исходит от государства, от властей, вот тут вы чувствуете себя беспомощными, униженными, раздавленными”.

Много велось на эту тему разговоров, споров. Мы познакомились с довольно большой группой людей, все еще глядевших на социалистическую державу, как на пример для подражания. Состарившись, они оставались наивными коммунистами, верными идеям своей юности, и побывав в “стране победившего социализма”, ничего не смогли понять и увидели только размалеванный фасад, скрывавший истинную картину. Нас не слушали, когда мы пытались что-то объяснить, и в доказательство своей правоты приводили одни и те же доводы: бесплатное образование и медицина, дешевое жилье и общественный транспорт. Особенно важным доказательством были две копейки за пользование телефонами-автоматами. После таких доводов мы умолкали. “У вас, — говорили нам, — без вины сажают в тюрьму. Но и у нас много случаев нарушения законов. Об этом пишут в газетах, по телевизору передают интервью с невинно осужденными людьми”. “Да, да, в этом вся разница, — почти кричим мы, — вы можете рано или поздно узнать о случившейся несправедливости, сосчитать пострадавших. У нас же миллионы без суда и следствия исчезли в ГУЛАГАХ. У нас целые народы изгонялись из родных земель и погибали в ссылках в Сибири!”

Наши оппоненты сочувственно кивают и обязательно добавляют: “А вы знаете, как несправедливо поступили с канадскими японцами во время войны!” — Да, мы знаем, этот факт широко освещался после войны на страницах канадской прессы... Милые, милые канадцы, добрые, открытые лица! Люди, готовые прийти на помощь, встать на защиту обиженного, ощущающие вину перед индейцами, как свою личную. Мы были покорены канадцами. Правда, между собой мы называли Канаду страной непуганых птиц. Многие, но не все здесь знают, как хрупка демократия, многие, но не все понимают, что защищать ее нужно каждый день. Здесь она воспринимается, как что-то неотъемлемое, естественное! А мы об этой демократии могли только мечтать.

Мы ценили каждое проявление новой для нас свободы, например, отсутствие прописки — человек волен жить в любом городе Канады, разве это не чудо! Многому учила нас наша новая страна. Каждый невольно привозит с собой свое прошлое, вот и мы привезли немало советских представлений о том, каков порядок вещей, и теперь узнавали, что порядок-то может быть совсем иной. В нашем прошлом книги всегда были идеологическим оружием. Они делились на “полезные” и “вредные”, причем, часто полезные становились вредными, и наоборот. Недаром Маяковский писал: “Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!” И приравняли... Запрещенные книги хранились в секретных запасниках. Сколько раз мы натыкались на холодный взгляд библиотекаря, принимавшего заказ: — Книга не выдается. В юношеском зале говорили более мягко: — Этот автор не рекомендуется. Нам не нужны рекомендации, — думали мы про себя, но в спор не вступали. А значило это, что автор в опале и ждет ареста или с ним уже расправились. Книги по истории переписывались в соответствии с политическим моментом и нуждами идеологии. Фамилии неугодных исторических лиц замазывались, портреты вырезались.

Однажды, через много месяцев после нашего приезда, когда Саша работал в Русской летней школе Торонтского университета, мы вместе отправились в

университетскую библиотеку Robarts Library. Мы еще ни разу не были в канадской библиотеке и могли представить себе подобное заведение только на основании нашего прежнего опыта. Войдя в прекрасное здание, мы прошли в зал с каталогами (время было еще докомпьютерное), выписали на карточки несколько русских книг и собирались отдать наш заказ библиотекарю и ждать, когда нам принесут книги. В Ленинской библиотеке в Москве такое ожидание могло продолжаться несколько часов. Но заказ отдать было некому. Мы спросили, где находится славянский отдел. Выйдя из лифта на одном из верхних этажей, мы ожидали увидеть наконец стойку с библиотекарем, который нас обслужит. Но на площадке у лифта никого не оказалось. Перед нами было три двери. В какую идти?

В русских сказках перед героем тоже бывала такая дилемма: три дороги или три двери, и все ведут к гибели, но герой все равно побеждает. С этой мыслью мы решились и вошли, как в сказке, в среднюю дверь. Первое впечатление было, что мы попали на книжный склад — рядами стояли полки с книгами, вокруг ни души. И вдруг мы поняли, что находимся в книгохранилище и между нами и книгами нет никакого посредника, **МЫ МОЖЕМ ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ КНИГУ!** После нескольких секунд замешательства нами овладела безудержная радость. Мы почти бегали между полками, брали книги, листали их, ставили снова на место, переходили от одного стеллажа к другому. Со стороны могло показаться, что мы не совсем в здравом уме. Наконец, выбрав несколько книг (таких, которые мы никогда не получили бы в Ленинской или любой другой советской библиотеке!), мы спустились на лифте и оказались перед давно ожидавшимися нами служащими. Книги зарегистрировали, мы вышли на улицу. Стоял жаркий летний день, мимо сновали люди, не обращавшие никакого внимания на нашу драгоценную ношу, а мы шли и глупо улыбались, как будто у нас был день рождения или какой-нибудь другой веселый праздник. Саша облек нашу радость в слова: сегодня мы потрогали свободу руками!

Постепенно жизнь входила в нормальное русло. После окончания английской школы я скоро нашла работу в лаборатории Красного Креста. Работа была нелегкая, с ночными сменами, но я радовалась, что даю Саше возможность искать что-то по его специальности. У него уже было много прослушиваний, были и предложения, одно из которых он принял — стал работать в небольшой оперной труппе, посвятившей себя современной авангардной опере. Потом его пригласили преподавать в Русской летней школе Торонтского университета, пригодилась первая специальность русского филолога.

Прошли самые трудные два года нашей адаптации. У детей она оказывалась и легче, и короче. Через несколько месяцев язык перестал быть для Владика проблемой. Наш сын делал первые шаги к своему первому миллиону: начал разносить газеты. Мы довольно легко распростились со своими прежними, советскими (или русскими!) представлениями, что детям давать деньги вредно, что работать ребенку ни в коем случае нельзя, что есть уважаемые всеми профессии, а есть и такие, которые для интеллигентного человека унижительны. Таково было отношение к труду в нашем недавнем прошлом. Нам нравилось, что в Канаде дети часто знают цену деньгам, рано начинают подрабатывать: чистят снег, сидят с малышами, разносят рекламы, газеты и.т.д. Студенты, как правило, летом работают, чтобы самим платить за обучение. Мы

наблюдали, как дети, даже в семьях с достатком, стремятся к самостоятельности. Владик прошел хорошую трудовую школу еще до университета: работал в ресторане MacDonald's, книжном магазине Soles, на кладбище и т.п.

Но первая "ответственная" и не очень прибыльная работа сохранилась в нашей памяти особенно ярко. После недели разноски газет в многоэтажном доме, в котором мы жили, Владик, заранее подсчитав свои "огромные доходы", готовые вот-вот посыпаться в его карман, пошел собирать с подписчиков деньги. День был воскресный, многих не оказалось дома, но те, кто были, охотно платили. Владик был в восторге. Он явился домой и тут же отложил полагающийся ему процент от собранной суммы. К вечеру он отправился на сборы снова. Все было бы хорошо, если бы будущий миллионер записал утром, у кого он получил деньги. Этого он не сделал, и теперь, забыв, кто платил, а кто нет, являлся к своим клиентам по второму разу с требованием платы. Их реакция была соответствующая, и наш бизнесмен теперь окончательно запутался.

Он пришел домой в слезах, денег оказалось меньше, чем должно было быть, и нам пришлось компенсировать недостающую сумму. Так бесславно закончился первый опыт маленького капиталиста. Мы хорошо помним реакцию московских родственников и друзей. Ребенка послали зарабатывать деньги! Какой ужас!! Видно, родители не могут сводить концы с концами! — так думали москвичи, вспоминая выученную с детства аксиому: при капитализме всегда эксплуатируется детский труд. Работа в детстве навсегда наложит отпечаток на судьбу ребенка, — писали нам. И наложила: после успешного получения степени бакалавра по французскому языку и литературе, наш сын сделал магистерскую степень по русско-французско-английскому переводу и вскоре защитил докторскую диссертацию по сравнительной литературе. Сейчас он работает профессором на кафедре современных языков в Лондоне, Онтарио.

Наша жизнь изменилась коренным образом, и незаметно для себя мы сами менялись и часто ловили себя на мысли — раньше мы поступили бы или думали бы иначе. Как-то после работы я зашла за Сашей в университет (к тому времени у него была уже постоянная должность на славянской кафедре). Мы встретились в просторном вестибюле большого учебного здания после последней в этот день лекции. Была пятница, и в фойе, как всегда в пятницу, шла продажа книг. На столах разложены книги на любой вкус: медицина, политика, буддизм, лечебные травники и т.п. Вдруг мы остановились, как вкопанные — перед нами на столе лежали пропагандистские книги по марксизму и издания советской пропаганды. На другом столе — "Mein Kampf" и другие книги с черной свастикой. Как и полагается людям, выросшим в тоталитарном государстве, такая свобода распространения вредных идей — а с коммунистическими и фашистскими идеями у нас были особые счеты! — нас ужасно возмутила.

Как можно? Кругом ходят молодые люди, им легко заморочить голову! Такие книги надо немедленно изъять, запретить! Мы были едины в своем негодовании и всю дорогу обсуждали, как надо наказать тех, кто распространяет идеи, подрывающие основы канадской жизни. Но кипятились мы недолго. Не успев доехать до дома, мы начали понимать, что в нас заговорил "настоящий советский человек". Кто не с нами,

тот против нас, такова была формула, вбитая в наши головы с детства. Тогда "против нас" были антикоммунисты. Теперь все получалось с обратным знаком — врагами стали коммунисты. Значит, те, кто против нас, это диссиденты, инакомыслящие! Но ведь запретить инакомыслие это превратить Канаду в Советский Союз. В Советском Союзе меня приговорили к 25 годам в лагерях за "вредные" идеи, одним из моих преступлений было то, что я переписала запрещенные стихи. Чтение книг с вражеской идеологией могло привести к уничтожению человека, а лозунг "Если враг не сдается, его уничтожают" был формулой для борьбы с идеями. Неужели мы хотим этого же в Канаде? Это был прекрасный урок, преподнесенный нам нашей новой жизнью.

Еще один важный аспект психологии западного человека обратил на себя мое внимание — отношение к компромиссу. Здесь компромисс означает путь к миру, сосуществованию, путь к разрешению конфликтов. В современном русском языке и менталитете это слово имеет диаметрально противоположную и всегда негативную окраску. Нам внушали, что идти на компромисс позорно, это измена своим убеждениям, сдача позиций. Меня поразило наблюдение Нины Берберовой, покинувшей Россию еще до революции. Ее слова относились уже не только к постреволюционной, советской психологии. Вот, что я прочла в ее книге "Курсив мой": "Русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости". Так вот, оказывается, откуда ноги растут. Много, очень много коммунистическая Россия получила от прошлого.

С эмиграцией для нас наступило замечательное время книжных открытий, мы дорвались наконец до литературы, которая раньше была недоступна и о которой даже мечтать было немыслимо. Запоем читали писателей "первой волны", т.е. тех, кто эмигрировал во время и вскоре после революции, выплеснувшей целый слой русской интеллигенции. Мы смогли прочитать всего русского Набокова, познакомиться с литературной жизнью русского Берлина и Парижа. Весь "самиздат" и "тамиздат" был в нашем распоряжении. Доступны стали переводы западных авторов, никогда не публиковавшиеся в Советском Союзе. Да и что переводилось? Выбор того, что можно было прочесть в журнале *Иностранная литература* и других толстых журналах, всегда определялся идеологическими соображениями и политической позицией автора по отношению к Советскому Союзу и строго цензурировался. Сейчас я должна была бы читать книги на английском, чтобы постигать язык, а вместо этого глотала одну за другой книги на русском. Как многого мы не знали, какие страшные тайны открывались для нас!

Именно в это время я решила написать книгу о нашей юношеской организации. Надежд на публикацию в России не было никаких, ну что ж, напечатаю в эмигрантском журнале. Я уже прочла в журнале *Время и мы* воспоминания моей одноделки Майи Улановской. Она писала о тюрьме, лагере, обо всем, что пережила. Но у каждого из нас была своя тюрьма, свой лагерь — свой опыт. Мне надо вытащить из памяти все до мельчайших подробностей и перенести на бумагу. Когда сегодня я перечитываю вступление к книге, написанное в 1975-76, еще раз убеждаюсь, как неожиданно было для нас то, что произошло с Советским Союзом в 1991. Прочность системы казалась незыблемой, тайны в Архивах КГБ недостижимыми, империя — нерушимой. Но колосс

оказался на глиняных ногах. То, что книга все-таки была опубликована в Москве, настоящее чудо, и я всегда надеюсь, что она нашла своих русских читателей. Я бесконечно благодарна моему брату Игорю Рейфу, который, кроме огромного труда, проделанного им для издания книги в качестве моего представителя в Москве, воспользовался также коротким периодом, когда КГБ открыло часть своих архивов, и посвятил много часов изучению нашего многотомного дела. Он смог скопировать ряд документов, позже воспроизведенных в русской публикации моих мемуаров. Сейчас, через 25 лет после приезда в Канаду, я думаю, что и для читателей англоязычного мира моя книга может быть не бесполезной: ведь демократию нельзя воспринимать, как нечто само собой разумеющееся, как вечную данность, она хрупка и всегда нуждается в защите и укреплении, поэтому важно знать, как это было в Советском Союзе, и моя история для канадского читателя будет не только голосом из прошлого, но и предостережением, актуальным для настоящего и будущего.

В 1980 году к нам приехал мой восьмидесятилетний отец, приехал навсегда. Семь лет его не выпускали из страны, ссылаясь на секретность, хотя он уже 10 лет был на пенсии. Отец шутил, что работая в плановом отделе одного из министерств, он знал единственный большой секрет: все советские пятилетние планы были липой. Он прожил с нами 17 лет, и все эти годы, кроме последних четырех, отравленных болезнью, был счастлив и благодарил и нас, и Канаду, давшую ему приют.

Мы жили интересной, полнокровной жизнью. Саша преподавал в Йоркском университете и Колледже Сенеки курсы вокального ансамбля и старинной оперы. Были ученики и сольные концерты, записи и трансляции по радио. Но по мере того, как мы постигали какие-то закономерности новой жизни, становилось ясно, что для развития сольной карьеры нужно было, по крайней мере, лет десять. У него их не было.

Шел 1981, восьмой год нашей жизни в Торонто. Нам нравился город, мы уже знали его вдоль и поперек, образовался круг друзей и знакомых. И как когда-то в прошлом мы не могли себе представить переезд из Москвы в другой город, так и теперь нам казалось, что мы осели здесь навсегда. Саша поступил в докторантуру на педагогическое отделение для аспирантов Торонтского университета. И тут, в самый разгар работы на славянской кафедре и занятий в университете, вдруг ему посоветовали подать документы на открывшийся конкурс в Университет Альберты в Эдмонтоне. Должность в Эдмонтоне была более привлекательной, чем в Торонто, и Саша решил подавать.

Расставаться с Торонто было трудно — как будто нам предстояла новая эмиграция в неизвестность. Мы еще не восприняли канадскую мудрость: хорошо там, где есть работа. Люди здесь снимаются с места сравнительно легко, а нам этому предстояло учиться. Все знакомые поздравляли нас, все в один голос говорили, что мы будем жить в одной из самых богатых провинций Канады, что хотя мы едем на "дикий запад", но радушия и улыбок увидим больше, чем в Онтарио. Так и было, радушия и доброжелательности было много, а особой дикости мы не заметили, разве что поразила нас дикая красота и величие Скалистых гор. Прошло уже 17 лет с тех пор, как мы живем в Эдмонтоне. Саша защитил диссертацию и получил в положенное

время звание полного профессора. Я некоторое время работала в исследовательской лаборатории. В Эдмонтоне я начала писать и на протяжении ряда лет, до и после публикации моей книги, печаталась в эмигрантских изданиях — журналах *Континент*, *Время и мы*, *Новый журнал*, газете *Новое Русское Слово*. Теперь я и Саша оба на пенсии.

Вместе с новой страной — нашим новым домом, к нам пришли новые праздники. Со старыми, советскими мы расстались давно и без сожаления. Отмечаем с удовольствием только Новый Год. Теперь с друзьями мы празднуем два новых года — календарный и еврейский. Особым смыслом наполнен для нас день Благодарения. Мы сидим за праздничным столом с обязательной индейкой и поднимаем тост за Канаду, принявшую и щедро одарившую нас, как и всех канадцев, равными правами. Наверное, наша прошлая жизнь в тоталитарном обществе позволяет нам особенно остро ценить то, что мы имеем. За двадцать пять лет мы не забыли Россию, переживающую смутное, трудное время, мы болеем ее бедами (правда, на расстоянии болеть легче) и стараемся поддерживать в себе надежду, что жизнь там изменится к лучшему.

Сегодня в нашей семье большое событие — четверть века жизни в Канаде. Весь день звонит телефон: нас поздравляют наши русские и канадские друзья, звонят из Америки, Израиля, из Европы — как разбросала всех судьба! А вот и звонок из Лондона (нашего, канадского Лондона). Семья Владика тоже, конечно, празднует. Мы слышим голоса детей и внуков. Жена сына Лариса, потомственная канадка, не знавшая ни одного русского слова до встречи с Владиком, теперь хорошо говорит по-русски. "Спасибо, — говорит она, — что вы привезли мне Владика". И шутливо добавляет: "А то, что бы мы с Аликом и Ванессой стали делать?" Алик и Ванесса наперебой рассказывают о своих делах. Мой далекий лагерный друг, предсказательница Инга, была бы рада видеть нас сейчас. Расходятся гости, мы остаемся одни, и на время каждый погружается в свои мысли. Я думаю о моих лагерных друзьях Анне Ивановне и Кате, об Инге и о далекой заснеженной Инте, где стоит каменный обелиск в память жертвам сталинского террора. В окно заглядывает полная луна. Прожит еще один день. Как хорошо, что мы все дома.